SLAVICA XXX.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

slavica

XXX.

EDITIONEM CURANTE
CSILLA KUKUCSKA

ADIUVANTE
KLÁRA AGYAGÁSI

REDIGIT
ZOLTÁN HAJNÁDY

DEBRECEN, 2000

SLAVICA XXX.

ISSN 0583-5356

Debreceni Egyetem
Felelős kiadó: Bazsa György prorektor
Felelős szerkesztő: Hajnády Zoltán
Szedés: KLTE Szláv Filológiai Intézet
Nyomás: KLTE Reprográfiai Osztály

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS

SLAVICA

XXX.

EDITIONEM CURANTE
CSILLA KUKUCSKA

ADIUVANTE
KLÁRA AGYAGÁSI

REDIGIT

ZOLTÁN HAJNÁDY

DEBRECEN, 2000

Сотрудники нашего тома

К. Адягаши
см. Славика XXVIII.
agyagasi@tigris.klte.hu

Ж. Бенчич
см. Славика XXVII.

Кс. Голуб
PhD докторант
Университет им Л. Этвеша
Венгрия, 1052 Будапешт

А.Р. Губанов
доцент
Чувашский Гос. Университет
gar@chuvsu.ru

Б. Дёрфи
PhD докторант
Университет им. Л. Кошута
Венгрия, 4010 Дебрецен

Л. Кальви
Венеция, Италия
lucalvi@libero.it

М. Капраль
см. Славика XXIX.

И. Кечкеш
профессор
Нью Йорк, США
istvank@nycap.rr.com

К.К. Ковач
PhD докторант
Университет им. Л. Кошута
Венгрия, 4010 Дебрецен

А.Й. Мати
см. Славика XXV.

С. Мельник
см. Славика XXIX.

Л.К. Надь
доцент
Университет им. Л. Кошута
Венгрия, 4010 Дебрецен
nagylk@tigris.klte.hu

М. Рышкевич
лектор
Лублин, Польша
miroslav@delfin.klte.hu

П. Сотиров
доцент
София, Болгария
sotirow@poczta.wp.pl

И. Удвари
см. Славика XXIX.

В. Федосов
см. Славика XXIX.

М. Фоналка
см. Славика XXV.

Е. Фориан
PhD докторант
Университет им. Л. Кошута
Венгрия, 4010 Дебрецен
eforian@tigris.klte.hu

З. Хайнади
см. Славика XXVIII.
hajnadyz@tigris.klte.hu

Г. Хима
см. Славика XXVIII.
himag@tigris.klte.hu

Ю. Шовари
PhD докторант
Университет им. Л. Кошута
Венгрия, 4010 Дебрецен

Е. Янг
Манчестер, Великобритания
доцент
mfzxskz1@fs1.art.man.ac.uk

OUR CONTRIBUTORS

K. Agyagási
see Slavica XXVIII.
agyagasi@tigris.klte.hu

Ž. Benčić
see Slavica XXVII.

L. Calvi
Venezia, Italy
lucalvi@libero.it

V. Fedoszov
see Slavica XXIX.

M. Fonalka
see Slavica XXV.

É. Fórián
PhD student
Kossuth L. University
4010 Debrecen, Hungary
eforian@tigris.klte.hu

X. Golub
PhD student
Eötvös L. University
1052 Budapest, Hungary

A.R. Gubanov
associate professor
Chuvash State University
gar@chuvsu.ru

B. Győrffy
PhD student
Kossuth L. University
4010 Debrecen, Hungary

Z. Hajnády
see Slavica XXVIII.
hajnadyz@tigris.klte.hu

M. Kapral
see Slavica XXIX.

G. Hima
see Slavica XXVIII.
himag@tigris.klte.hu

I. Kecskés
tenure professor
State University of New York
istvank@nycap.rr.com

K.K. Kovács
PhD student
Kossuth L. University
4010 Debrecen, Hungary

A. J. Matyi
see Slavica XXV.

S. Melnyik
see Slavica XXIX.

L.K. Nagy
associate professor
Kossuth L. University
4010 Debrecen, Hungary
nagylk@tigris.klte.hu

M. Ryszkiewicz
lecturer
Lublin, Poland
miroslav@delfin.klte.hu

J. Sóvári
PhD student
Kossuth L. University
4010 Debrecen, Hungary

P. Szotirov
Sophia, Bulgary
sotirow@poczta.wp.pl

I. Udvari
see Slavica XXVIII.

J. Young
associate professor
Manchester University, Great Britain
mfzxskz1@fs1.art.man.ac.uk

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS

SLAVICA XXX, 9-14 2000 DEBRECEN

Исследования по славяноведению на страницах 30-и томов ежегодника *Славика* (1961-2000)

Опубликование обозрения славистических исследований и истории редактирования Славики редколлегия посвящает академику Ференцу Паппу, бывшему главному редактору, отметившему в 2000 году семидесятилетие со дня рождения.

История *Славики*, ежегодника Института славянской филологии Дебреценского университета (по официальному названию *Slavica, Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae*), тесно связана с историей самого Института. Как на это было указано в прошлом году, по поводу 50-ой годовщины основания Института, славяноведение в г. Дебрецене стало возможным в организованной форме с 1949 года. В этом году началось создание институтской структуры в организационном и финансовом отношении, а также поиск преподавательских сил для осуществления поставленных целей в обучении. Поскольку при заложении фундамента не имелось нужных инфраструктуральных условий для научной деятельности, потребовалось несколько лет, чтобы появилась возможность для научных исследований, и еще больше времени для выпуска своего научного издания.

В подготовительной фазе, в 1959-ом году был учрежден Институт славянской филологии, состоящий из двух кафедр: Кафедры русской и Кафедры славянской филологии. Во главе Кафедры славянской филологии стоял проф. БЕЛА ШУЛАН, известный специалист в области исторического языкознания, а Кафедрой русской филологии руководил доцент института ЭНДРЕ ИГЛОИ, исследователь истории литературы. Рядом с ними ФЕРЕНЦ ПАПП, молодой кандидат филологических наук, основал в Венгрии новое для того времени направление исследования по современному русскому языку. На двух кафедрах работали по 15 преподавателей, которые постепенно были вовлечены и в научные исследования. Этим были сделаны первые шаги создания местной исследовательской базы по разным отраслям славистики.

Руководители двух кафедр во второй половине 50-х годов присоединились к международным и венгерским академическим исследовательским программам. Задачами венгерских славистов на международном уровне являлись сбор и научное описание славянских рукописей и первопечатных книг на территории Венгрии, а в области современного языкознания – сбор лексического материала и исследование разных славяноязычных диалектов (в первую очередь словацкого и украинского языков) в Венгрии. А в центре исследовательской программы Академии наук Венгрии стояло по славянской филологии структурно-типологическое описание современного русского языка и исследование литератур славянских народов. Задачи в обеих программах были определены на долгое время, таким образом, обосновано было стремление создания местного научного органа для опубликования результатов дебреценских исследований: в 1960 году принято было решение об издании институтского ежегодника.

В первом выпуске *Славики* печаталась вступительная статья редколлегии. В ней были зафиксированы цели и принципиальные нормы редактирования, определившие и до сих пор определяющие содержание, уровень и техническое оформление издания. Вот самые важные мысли вступительной статьи:

"Изданием ежегодника мы хотим поощрять научно-исследовательскую работу прежде всего в нашем университете. Темами для нашего сборника служит преимущественно разработка вопросов, касающихся нашей страны. В эту работу мы хотели бы привлечь и заграничных ученых, занимающихся вопросами венгеро-славянских отношений. Мы хотим вступать в контакт, устанавливать связи с заграничными учреждениями: кафедрами университетов, исследовательскими институтами и журналами. Этим же путем мы хотим ориентировать, по возможности регулярно, славянскую общественность о работе, результатах и дальнейших планах нашего Института. (...) Разумеется, мы охотно принимаем и от заграничных авторов работы, связанные с венгерско-славянскими историческими, литературными, языковыми, этнографическими и проч. отношениями. — Публикации печатаются на любом славянском языке, а также на французском, немецком или английском языках."[1]

Для осуществления поставленных целей нужно было создать постоянную редакционную коллегию. Членами редколлегии являлись главный редактор, редакторы-специалисты по различным отраслям славянской филологии и технический редактор. В истории *Славики* должность главного редактора занимали четыре ученых. Редактирование первых пяти выпусков осуществилось под руководством проф. БЕЛЫ ШУЛАНА, с шестого выпуска до 11-го главным редактором являлся кандидат филологических наук ЭНДРЕ ИГЛОИ, а с 12-го до 23-го выпуска –

[1] См. *Славика*, Том I. Debrecen, 1961, 4.

проф. Эндре Иглои и проф. Ференц Папп совместно. С 24-го до настоящего выпуска обязанности главного редактора взял на себя хабилитированный доцент института Золтан Хайнади. Так как объявленные в первом выпуске цели заключали в себе опубликование исследований, понимая в самом широком смысле понятие славянской филологии, (рядом с вопросами славянских языков и литератур работы по этнографии, фольклору, истории, археологии), необходимо было пользоваться критикой специалистов смежных наук и знаниями людей, владеющих самыми разными языками. В качестве членов редколлегии участвовали в подготовке к печати публикаций, кроме таких институтских исследователей как Эндре Андьял, Йожеф Домбровский, Пал Лили, Ласло Либер, Иштван Д. Молнар и Иштван Т. Молнар, выдающиеся специалисты Филологического факультета, историк, проф. Эмиль Нидерхаузер и представитель общей лингвистики проф. Ласло Дежё. Высокий уровень издания *Славики* заключался в уровне содержания исследований и в уровне языкового оформления на девяти языках (на французском, немецком, английском, русском, украинском, польском, словацком, болгарском и хорватском), и быстро завоевал общее признание в научных кругах. Относительно престижности издания достаточно напомнить хотя бы о том, что с 1970-го года, когда началось издание журнала Академии Наук Венгрии *Analecta Linguistica* для зарубежных стран, содержащего обозрение венгерских лингвистических периодик и аннотации монографий по языкознанию, из журналов и ежегодников, изданных не в Будапеште, только содержание *Славики* было регулярно представлено в нем.

Относительно состава авторов в первые 15 лет почти дословно выполнилось желание редколлегии, объявленное в первом выпуске. Те венгерские авторы-филологи, которые находили определенные связи между своей темой и какой-либо областью славяноведения, печатались в ежегоднике. Достойны внимания такие имена, как Лоранд Бенкё, исследователь истории венгерского языка, изучающий разные его этимологические пласты и касающийся при этом темы венгеро-славянских языковых контактов, Ласло Дежё, анализирующий типологические и синтаксические теоретические проблемы на основании славянского языкового материала, Лайош Фекете, исследователь османско-турецкого языка, который сопоставил южнославянские, турецкие и венгерские пословицы, или Юлиус Немет, издавший статью о турецких элементах болгарского диалекта окресности г. Видина. Можно также цитировать деятельность литературоведа Иштвана Фрида, который опубликовал в *Славике* ряд работ по вопросам сопоставительного изучения хорватской и венгерской литературы, или финноугроведов Белы Калмана и Магды Кёвеши, которые затрагивали проблематику языковых элементов русского происхождения мансийского и зырянского языков; Эмиль Нидерхаузер регулярно публиковал свои исследования по польско-венгерским историческим контактам, Иштван Лёкеш среди

деятелей мировой литературы анализировал творчество Крлежи на страницах *Славики*, ЭСТЕР ОЙТОЗИ издала ряд публикаций о редких славянских книгах Центральной университетской библиотеки, ЗОЛТАН УЙВАРИ рассматривал особенности словацкого фольклора.

Во вторую группу венгерских авторов входят те коллеги, которые работали в других вузах и университетах Венгрии или в академических исследовательских институтах как слависты-профессионалы. Перечислить имена всех невозможно, достаточно только обратить внимание читателя отчасти на Библиографию венгерской языковедческой славистики до 1985 г. (Под общей редакцией И. НЬОМАРКАИ), Будапешт, 1990 и указать на то, что большинство из них до сих пор остаются деятелями венгерского славяноведения, известными в научных кругах. Они в течение 40 лет публиковали свои работы по самым разнообразным темам славянской филологии. Здесь тоже значительное место занимают венгеро-славянские контакты в языковом, историческом и литературном освещении. В остальной части работ преобладают темы по русской филологии. В языкознании появляются некоторые центральные проблемы, как, например, особенности видо-временной системы славянских глаголов, они изучаются и с точки зрения исторического развития, и с точки зрения современного лексико-семантического или функционального описания. Дебреценской "особенностью" является в современном русском языкознании создание нового направления в Венгрии – разработка методов и решение проблем по компьютерной лингвистике и машинного перевода, тесно связанных с именем проф. ФЕРЕНЦА ПАППА. На страницах *Славики* прослеживаются единичные моменты продвижения вперед по новому пути, и вслед за ними открываются наиболее свежие результаты по общей и прикладной лингвистике. Компьютерная лингвистика вторглась и в методику преподавания русского языка, создавая там специальный раздел: способы применения компьютерных программ. Об опыте работы с обучающими программами регулярно рассказывается в нашем ежегоднике.

В области литературы опять же бросается в глаза большое количество работ по венгеро-славянской компаративистике, но в этой тематической группе более уравновешенным образом анализируется литературное творчество авторов всех славянских народов вокруг Венгрии в сопоставлении с определенными произведениями венгерских поэтов и писателей. С самого начала издания *Славики* развертываются основные направления литературоведческих исследований местных ученых: по вопросам древнерусской литературы – статьи проф. Э. ИГЛОИ, а по психологическому анализу произведений русских классических писателей – этюды проф. ЛАСЛО КАРАНЧИ, которые охватывают 30 лет издания периодики. Представители следующего за ними поколения – ЛАСЛО ЛИБЕР и ЗОЛТАН ХАЙНАДИ изучают творческий путь русских писателей XIX века; другие занимаются произведениями авторов советского периода. В сравнении с объявленной в первом выпуске тематикой в

литературоведении тоже появляются совсем новые темы: очерки по теории литературы – ЛАСЛО ЯГУСТИНА и ГАБРИЕЛЫ ХИМЫ; а эстетика фильма – в работах ЙОЖЕФА ВЕРЕША.

Венгерский язык и культура ввиду своего финно-угорского происхождения всегда были одиноким островом между латино-германским и славянским мирами. Венгерские ученые посредничали между Востоком и Западом. Они старались победить "финно-угорский синдром", суть которого заключается в том, что венгры одиноки в индогерманском и славянском мире, в культурные рамки которого не вписываются. Историческая миссия ученых центрально-европейской страны заключается в посредничестве между двумя разнообразными языками, культурами и миросозерцаниями. Современному филологу-слависту нельзя запереться в самосозерцании своего языкового обособления. Современная филология является многоязычной, интердисциплинарной областью науки, следовательно она должна иметь письменные и устные форумы дискуссии. Исходя из этого венгерские русиситы всегда старались публиковать свои работы и на других языках, чтобы научные результаты внести в кровообращение международных исследований. Если мы ограничимся только своим венгерским языком, мы ничего не сделаем для всеобщей культуры и создадим только "приходскую" науку. Другой формой диалога между учеными мира являются научные конференции и симпозиумы. В 1981-ом году мы организовали международную конференцию, посвященную двойному юбилею Достоевского: стошестидесятилетию со дня рождения и столетию со дня его смерти. Прочитанные доклады были включены в XXI номер *Славики.* Подобная конференция была посвящена творчеству Тургенева в 1983-ом году, в связи с столетней годовщиной со дня смерти. (См. XXIII. номер *Славики.*) На обоих форумах выступили с докладами литературоведы со всех концов мира, среди них: ЛУИ АЛЛЕН (Франция), КОНРАД ОНАШ и РОЛЬФ-ДИТЕР КЛУГЕ (Германия), МИЛИВОЕ ИОВАНОВИЧ (Сербия), ЮРИЙ ЛОТМАН и З. МИНЦ (Эстония), ЕВА КАГАН-КАНС (США), ПИТЕР ГЕНРИ (Великобритания), ИРЕНЕ ЗОГРАБ (Новая Зеландия) и др. В 1999-ом году был организован нами симпозиум в честь тысячелетия венгерского государства под названием*: Венгрия и славянский мир.* (Материалы конференции будут изданы в отдельном томе.) Благодаря удачной миссии международных конференций и *Славики* установились и укрепились наши связи с европейскими и заокеанскими славистами и русистами. Мы убеждены, что венгерская филологическая наука только таким образом может подняться до международного уровня, иначе она останется окраинноевропейской, узконациональной. Для успешных научных исследований открываются дальнейшие возможности научных контактов, установленных с венгерскими и зарубежными университетами и научно-исследовательскими институтами. Изучение русской литературы и литературоведения в отношении восточно- и западноевропейских

взаимовлияний обещает новые результаты и может привести к формированию специальной дебреценской школы, которая может стать плодотворным местом обновления литературоведческого мышления.

В отборе авторов роль играл и играет исключительно только уровень публикуемой ими работы. Редакторы с самого начала издания *Славики* обращали большое внимание на то, чтобы молодые, талантливые, стоящие на заре карьеры коллеги получили возможность публиковаться в этом журнале.

Среди зарубежных авторов участвовали, с одной стороны, те исследователи, которые в рамках международных научных исследовательских программах имели официальные контакты с Институтом: преподаватели Московского, Киевского, Братиславского, Люблинского и Шуменского университетов. Многие из них даже проработали несколько семестров в Дебрецене как лекторы. С другой стороны, преобладающее большинство зарубежных авторов появилось в *Славике* благодаря целесообразной научной дипломатии, о которой шла речь во вступительной статье первого выпуска. Выполнение этих принципов стало возможным не сразу, оно продолжается и до сегодняшнего дня. Перечень тех городов, откуда присылали рукописи в редколлегию *Славики* – без претензии на полноту – дает наглядную картину об успехах этого стремления: Берген, Блумингтон, Брно, Брюссель, Варшава, Владимир, Глазго, Ереван, Загреб, Калинин, Краков, Лилль, Ленинград, Лондон, Львов, Москва, Мурманск, Нишь, Падова, Париж, Регенсбург, София, Тарту, Ужгород и др.

В 30-и томах *Славики* в течение 40 лет было опубликовано 649 статей 283 авторов в основном в трех жанрах: сообщение, критика и библиография, хроника. В то же время за прошедшие годы и в жанровом отношении, и что касается традиционного профиля издания, объявленного в первом выпуске, происходили некоторые изменения. Эти изменения вызваны появлением новых направлений филологических исследований, изменением научного интереса авторов Венгрии и зарубежья. Редколлегия ежегодника *Славика*, сохраняя традиции первых 30 выпусков, и в будущем желает публиковать самые новые результаты высококачественных исследований по славяноведению, в то же время открыто относится к новым веяниям XXI века. В знак признания деятельности ученых-предшественников, в конце настоящего выпуска публикуем индекс авторов и их сообщений, изданных между 1961 и 2000 гг.

Выходом в свет XXX-го тома закончилась целая эпоха в истории *Славики* и начинается новая. Главный редактор периодики, из-за болезни глаз, уходит из редакционной коллегии и передает эстафету соавтору настоящего предисловия, желая новой редакции ежегодника дальнейших творческих успехов.

Клара Адягаши – Золтан Хайнади

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS

SLAVICA XXX, 15-25 2000 DEBRECEN

Second Language Acquisition Theory: How Does Russian Fit In?

I. KECSKÉS

OBJECTIVES

This article discusses the acquisition of Russian as a second or foreign language within the confines of contemporary Second Language Acquisition (SLA) theory dominated by propositions, arguments and claims developed mainly on the basis of English language data. It is argued that SLA research is basically English as a second language research and its conclusions and claims can hardly be applied to languages with complex morphology and pragmatic word order such as, for instance, Russian or Hungarian. Neither Russian grammar nor Russian vocabulary can be acquired by non-native speakers in the same way as English grammar and English vocabulary.

SLA THEORY

Mainstream SLA theories adopt perspectives developed in L1 research. A cognitive theory of L2 acquisition sees linguistic knowledge as no different in kind from other types of knowledge, and views the strategies responsible for its development as general in nature, related to and involved in other kinds of learning. In contrast, a linguistic theory of L2 acquisition treats linguistic knowledge as unique and separate from other knowledge systems. According to this approach acquisition is guided by mechanisms that are specifically linguistic in nature. This paper discusses one typical representative of each of these two theoretical approaches: Universal Grammar hypothesis as a linguistic theory and interlanguage hypothesis as a cognitive theory.

1. Universal Grammar

In recent years Universal Grammar Theory has increasingly been used to explain

how second and foreign languages are learned, mainly by those who approach second and foreign language learning from a linguistic perspective (cf. FLYNN & O'NEIL 1988; WHITE 1989; COOK 1991). UG is the system of principles, conditions, and rules that are elements or properties of all human languages (CHOMSKY 1975). According to the UG theory, learning the grammar of a foreign language is not so much learning completely new structures and rules, as *discovering how to set the parameters for the new language.* The values of the parameters are fixed by experience gained in the language learning process. Setting the values in one way or another will have deductive consequences for the rest of the grammar. Consequently, the grammar of a language can be regarded as a specification of parametric values. One of the main reasons why foreign language learners cannot start with **a** *clean slate* is that the parameters have already received a certain value in their L1. When analyzing the development of the L2 the setting of the *Configurationality Parameter* deserves special attention because this is one of the first parameters to be set, and its setting has decisive consequences for the rest of the grammar.

The Universal Grammar theory claims that the Configurationality Parameter (cf. White, 1989) has two settings: a configurational (CON) or a non-configurational(NON-CON) setting. *Configurational languages* (such as, for example, English or French) have bound word order governed by grammatical rules. *Phrase structure configurations* encode the grammatical functions, and logical relations can only be computed at a virtual level of representation. *Non-Configurational languages* (such as, for instance, Russian or Hungarian) have complex morphology and a word order that is governed by pragmatic rather than grammatical rules (WHITE 1989). Phrase structure expresses logical relations, and grammatical functions are encoded morphologically. Kiss (1987) denied the existence of CON and NON-CON categories arguing that all languages are configurational and claimed that languages differ primarily with respect to *what type of information* is encoded in the phrase structure of their sentences (KISS 1987; Berwick, 1985) Configurationality is governed by two different rule-types which play a decisive role in organizing and processing information. Language data show that word order movements in languages are governed by *grammatical or pragmatic rules.* What is called word order freedom at sentence level is conditioned by pragmatic rules that are sensitive to old versus new information, topic-comment, focus and so on. Although the grammatical word order (GWO) and pragmatical word order (PWO) feature is a scalar tendency, this dichotomy has to be maintained because it is based on essential typological differences between languages. If we want to highlight and/or emphasize something in English (which is a GWO language) or wish to sound more emotive, we need to use *a new configuration, a new structure governed by grammatical rules* (KECSKES & PAPP 2000a). For instance:

Neutral: Peter has broken the glass.
Emphatic/Emotive: It is Peter who has broken the glass.
Neutral: I know so little about you.

Emphatic/Emotive: So little do I know about you.

In PWO languages such as Hungarian or Russian, there is no need for a new configuration in the sense as in English where new configuration means not the reordering of words within the same sentence but the introduction of an entirely new structure with some new lexical items included (KECSKES & PAPP, 1991). In PWO languages a reordering of the same words within the sentence according to pragmatic rules will result in a shift in emphasis as in the Russian sentences below.

Neural:	Петр разбил стакан.
Emphatic:	Стакан разбил Петр.
	Петр стакан разбил.
	Разбил Петр стакан.
	Разбил стакан Петр.
	Стакан Петр разбил.

Referring basically to the same phenomenon Li and Thompson (1976) distinguished between *topic-prominent* and *subject-prominent* languages. English is a subject-prominent languages in which the fundamental relationship is that of *subject-predicate.* Subject-prominence requires grammatical word order (GWO) in which the position of canonical constituents (Subject=S, Verb=V, Object=O) is constrained by syntactic rules (THOMPSON 1978). Therefore, languages such as English are said to be syntactically dominant (GASS, 1987). Topic-prominent languages, on the other hand, are characterized by the relationship of *topic-comment* (positioning of old and new information). Topic-prominence usually goes together with pragmatic word order (PWO) in which mainly discourse factors determine the order of canonical constituents in the sentence. Consequently, languages with PWO such as, for instance, Finnish, Italian, Russian or Hungarian are often referred to as pragmatically dominant languages (GASS 1987).

The dichotomies such as *subject-prominent versus topic-prominent; GWO versus PWO; configurational versus non-configurational; syntactically dominant versus pragmatically dominant* basically refer to similar differences. It is important to emphasize, however, that GWO versus PWO differences can be best understood as a continuum on which languages with strong GWO dominance are positioned on the left, and languages with strong PWO dominance are placed on the right (KECSKES & PAPP 2000a). On a continuum such as this between English (leftmost) and Finnish (rightmost) we can put the following languages (from left to right): English, French, German, Japanese, Italian, Russian, Hungarian, Finnish.) How does this dichotomy affect L2 acquisition, in our case the acquisition of Russian as an L2 in particular? What generalizations can be made for the acquisition process?

A CON language as a foreign language can hardly be acquired the way as a NON-CON language. What is the difference? NON-CON languages such as

Russian allow a superset of the sentences permitted in CON languages; i.e., they allow the restricted word orders and many other word orders as well. Therefore CON must be the unmarked value of the parameter (WHITE 1989). If an American learning Russian mistakenly chooses the CON setting, this will be disconfirmed on the basis of positive evidence in the form of sentences that could not possibly fit the hierarchical structure required by the CON setting. The difference in Russian phrase structure organization results in generalizations for the learning process: Russian is difficult at the beginning of the learning process , but once the learner gets through the basic complex morphology, progress comes relatively quickly. Pragmatic word order rules are present from the very beginning, and once acquired they need less modifications. What English native speakers learning Russian have to do is to reset the parameter from CON to NON-CON. Access to UG mediated through L1 so L2 learners initially assume the L1 value of the CON parameter is correct. When students discover that Russian word-order is not free but is governed by pragmatic rather than grammatical rules they will become much more comfortable with Russian sentence-structures. The flexible word order indicates the *topic-comment structure* of the sentence, and movements are possible because grammatical endings and agreements make clear what connections exist between the words of a sentence. Consider the following:

Ира нравится Ивану.	Ivan likes Ira.
Ивану Ира нравится.	
Ивану нравится Ира.	
Ира Ивану нравится.	

Students will understand the pragmatic differences in the sentences above only if they are taught the pragmatic rules of word order (topic-comment positions) from the very beginning. They should know that the new information can usually be found at the end of a Russian sentence.

Another problem learners of Russian have to face from the very beginning is *complex morphology*. Grammatical agreement keeps the phrase structure together, and agreement is based on syncretic suffixes. American students quickly realize that the message does not go through if they use incorrect suffixes and endings:

Деньги не у меня.	(Incorrect) Денег нет у меня. (Correct)
Я хочет собака.	(Incorrect) Я хочу собаку. (Correct)

2. Interlanguage

One of the basic assumptions in SLA cognitive research is that learners create a language system known as an "interlanguage" (SELINKER 1972). This is a system of implicit L2 knowledge that L2 learners develop and systematically amend over time. It is composed of numerous elements from the L1, the L2 and

elements that do not have their origin in either the L1 or the target language and are the creations of the individual L2 learner. The learners themselves impose structures on the available linguistic data and formulate an internalized system. The interlanguage theory has been very powerful in second language acquisition research and gone through several revisions (cf. Selinker, 1992). *It is argued here, however, that the theory does not explain L2 acquisition properly for three reasons:* First, it is true that the theory treats L2 development as a continuum but it does not recognize that second language development is a dynamic process with its ups and downs on the continuum. This means that L2 development is nothing like a straight line: there are not only 'add-ups' but 'fall backs' as well. If changes occur in the socio-cultural environment of the L2 learner they will have an impact on the interlanguage development. Second, interlanguage development is expected to ideally result in native-like competence. I argued elsewhere (KECSKES 1998) that second language learners cannot be expected to develop native-like competence in an L2 because a person who speaks two languages is not two monolinguals in one body. This can be explained by multilingual development (cf. PAPP 1991; COOK 1992; KECSKES 1998) which results in a unique competence that is not the total of two monolingual competencies. A bi- or multilingual speaker develops a Common Underlying Conceptual Base which operates two (or more) language channels (KECSKES, 1998). Even if an L2 learner has very high proficiency in the L2 his production will differ to a certain extent from what is usually considered native-like. This difference is conceptual rather than linguistic: A bi- or multilingual person may be able to develop a grammatical competence that is native-like. However, the real issue here is how this native-like grammatical competence is put to use. What is not native-like is the actual use of L2. Interlanguage must not only be about the grammatical system but also about how that system is used for communicative purposes. Non-native features appear in use rather than in usage. Third, the interlanguage theory treats the second language as a newly developed system that has an interaction with the L1 but this interaction is unidirectional: the L1 affects L2 development. If the hypothesis about the Common Underlying Conceptual Base is accepted the interaction between the two (or more) language systems should be bidirectional rather than unidirectional, i.e., the L2 also affects the use of L1 (PAPP 199; KECSKES & PAPP 1995; KECSKES & PAPP 2000a). This is not an entirely new idea. Vygotsky wrote the following: "Success in learning a foreign language is contingent on a certain degree of maturity in the native language. The child can transfer to the new language the system of meanings he already possesses in his own. The reverse is also true - *a foreign language facilitates mastering the higher forms of the native tongue.* The child learns to see his language as one particular system among many, to view its phenomena under more general categories and this leads to awareness of his linguistic operations" (Vygotsky, 1962:110). Although Vygotsky referred to a possible bidirectional effect, the issue has never been thoroughly investigated until recently.

What does this have to do with the acquisition of Russian as a second

language? The revision of the interlanguage theory and the introduction of the theory of multilingual development take us to the lexico-conceptual level where the real differences between languages are, where the question "why languages are acquired differently?" can be answered, and where new approaches to second language acquisition research and theoretical linguistics meet.

THE LEXICAL APPROACH

Contemporary linguistic theory coming out of the Chomskyan tradition takes the view that syntax is invariant; languages differ in their lexicons, and that language acquisition is in essence a matter of determining lexical idiosyncrasies (CHOMSKY 1989, 1995). Chomsky's Minimalist Program claims that the process of forming structures must start from the lexicon as lexical elements will determine the content of any legitimate expression in a language.
This is very close to what the multilingual development approach emphasizes (PAPP 1991; COOK 1992; JESSNER 1997; KECSKES & PAPP T. 1995, 2000a, 2000b) but from a different perspective. In language production the thought and word interface is crucial because thought derives from the Common Underlying Conceptual Base and the lexicon where thought is embodied is a part of the language channel (system). If the central position of the lexicon in L2 acquisition is accepted as a working theory it has very serious bearings on L2 learning and teaching. The real difficulty for L2 acquisition is not in syntactic structures any more but in the lexical items and their morphological structure. Consequently, a language with complex morphology is harder to acquire than a language with simple or less complex morphology. Practice seems to support this assumption: As explained earlier English is easy for beginners. Knowing 60-70 words learners can communicate because there are no grammatical endings and suffixes to memorize. Learning Russian, however requires the use of these grammatical markers from the very beginning, which slows down the acquisition process.

Comparing the Russian and English Lexicon

As a consequence of broad social and historical changes the English language has the richest vocabulary of possibly all languages, which is largely comprised of words borrowed from other languages. In a typical 140,000-word English dictionary, 36 percent of the words are of Latin origin, 21 percent are of French origin, *14 percent are of Anglo-Saxon origin,* 4.5 percent are of Greek origin, 2 percent are of Scandinavian origin, and 2 percent are of Spanish origin; the remaining come from a sprinkling of other languages. (WILLIAMS 1975). The richness of this vocabulary, however, makes choosing the right word more complicated than in other languages because it also makes wrong choices possible. Basically there are two main problems:

1. More than 50% of the English vocabulary must be learned even by the native speakers. The Danish linguist Otto Jespersen (1954) called English an

"undemocratic language", because those who want to use English for more than casual communication have to learn a long list of separate lexical items. Indeed, serious writing - the writing of government, business and commerce, and education, - relies heavily on French and Latin imports over words of Anglo-Saxon origin for *content words*, words that convey ideas rather than grammatical meanings, as do the native function words such as *in, the, may, to, of, with, will, though, while, for* (WILLIAMS 1975:115). Therefore, if a native speaker wants to be a part of the intellectual, academic, or government communities, s/he must learn a considerably larger vocabulary than speakers of many other languages.

2. In conversational English native speakers are more comfortable with the 14 % of their vocabulary (Anglo- Saxon word stock) which, therefore has become heavily loaded with meanings. How does this affect learners of English as a foreign language? There seems to be a major difference between native and non-native speakers of English in the use of vocabulary, and this difference has not been given due attention to in ESL/EFL methodology yet (KECSKES & PAPP 1991). Native speakers are more comfortable with the 14 percent of their vocabulary (of Anglo-Saxon origin) that they use 62 percent of the time in casual conversation. Their speech is full of one-syllable, polysemantic words, as well as phrasal and prepositional verbs which have many different meanings depending on their context and the adverbial particle or preposition attached to these verbs. Native speakers prefer them to Latinate words in everyday conversation, because these words are "charged" : expressive, effective, emotional and meaningful for the native speaker. (No slang or jargon based on Latin words). Latin and French words, however, usually have less impact on the reader or listener (CHISHOLM & MILIC 1974). Somehow these words, even when they are raucous (rough-sounding, harsh) in their own languages, don't sound pungent and are more neutral in English. Non-native speakers feel the other way round. They tend to avoid the more common words in favor of more "lexical" words with recognizable, and specific meanings. For instance:

'They continued working all night' instead of 'They went on working all night'.
'They put out the fire' instead of 'They extinguished the fire'.

When students learn words they look for clues that help them remember the words. The less meanings, connotations and derivatives a word has the easier for non-native speakers to learn it. English is a language which gives students the choice of what to learn because English, perhaps more than any other language, has clusters of words that, while very different in form and not precisely synonymous, are very similar in meaning (WILLIAMS 1975:112). In most cases, we have several words referring to one and the same concept. One or two of these words in each cluster are native, and the others usually French and Latin imports:

give up, capitulate, surrender; chicken out
smart, bright, sharp, intelligent;
discharge, fire, sack, dismiss, etc.,

Each of these words covers a slightly different range of meaning. So the choice, in fact, is of stylistic nature. Consequently, the reliance of students on 'the larger, rarer, clumsier words' makes their English sound stilted and nonnative-like.

How do Russian words compare to English words?

1. Structure of Russian words is more similar to the Latin borrowings than to the Anglo-Saxon words. But while the Latin words sound rather neutral in English and have no more than one or two meanings, Russian words keep quite a lot from their original coloring and can be polysemous.

2. The more sophisticated and/or formal language in Russian is not separated from colloquial language because word structure helps speakers to unfold the meaning of a word even if they are not very familiar with it.

3. he key to Russian vocabulary development:

3.1. Understanding the structure of Russian words and how the system of derivational suffixes works. To study the so called "словообразовательное гнездо" is a must for all learners of Russian as an L2. This will help students create words even without having met them in context previously. For instance: судьба; судить; суд; обсуждать-обсудить; судебный; судилище;судья

3.2. Understanding figurative language

Languages differ from one another in their figurative use. Each language has its own metaphorical system which is not compatible with the metaphorical system of another language: Americans "make money", Russians "work for money" ("зарабатывать"), Hungarians "look for money" ("pénzt keres"). This difference in the conceptual system leads to the most frequent error of foreign language learners: wrong choice of words (KECSKES 1997; KECSKES & PAPP 2000b). Danesi (1992:493) argued that "the programming of discourse in metaphorical ways is a basic feature of native-speaker competence." Metaphorical thinking is always present both in production and comprehension. Several researchers (cf. WINNER 1982; DANESI 1992) have come to the conclusion that literal language as opposed to metaphorical language is much more restricted in use than suggested. It is metaphorical thinking that dominates our discourse activities. Second language learners have trouble with picking up the right words and phrases because although they use the appropriate configurations of the target language, they think in terms of their native conceptual system (Kecskes, forthcoming). That's why "Get out of here" will always be a "rude" way to mean "stop kidding or stop pulling my leg" for Japanese, Chinese or French speakers of English, and the Russian expression "Где ты пропадал?" will be untranslatable in most languages of the world. According to Winner (1982:253), the recent experimental literature has made it

clear that if "people were limited to strictly literal language, communication would be severely curtailed, if not terminated." The reason why foreign language learners' speech does not sound native-like is that they use literal rather than metaphorical language.

CONCLUSION

Second Language Acquisition theory needs to change if it really wants to explain how second languages are acquired and how the system of a multilingual speaker differs from that of a monolingual speaker. The following things are recommended to be done:

1. Although in theoretical linguistics the lexicon has taken its leading role in explaining what constitutes knowledge of language and how language operates, second language acquisition research is still far behind in this respect focusing mainly on issues of syntax, UG and interlanguage. The adaptation of the lexical approach in SLA as a possible theoretical framework would lead to new insights in how subsequent languages are acquired.

2. Empirical research has to pay more attention to how non-congfigurational languages such as, for instance, Russian and Hungarian are acquired as opposed to configurational languages. This will lead researchers to the investigation of the role of typological differences in SLA by analyzing bi- and multi-directional processes in the framework of the multilingual approach.

3. When multicompetence is explained and described focus has to be on the following questions: what changes does the second language make in the monolingual conceptual base?, how can the new vocabulary be adjusted to the existing lexicon?, how do these changes affect the development of the new language?, and how should language teaching methodology support the development of multicompetence? Most of these issues, however, are still waiting to be investigated.

References

BERWICK 1985: Berwick, R., *The Acquisition of Syntactic Knowledge.* Cambridge, Mass.: MIT Press.

CHISHOLM 1974: Chisholm, W. Jr. & L.T. Milic, *The English Language.* New York: David McKay Co.

CHOMSKY 1975: Chomsky, N., *Reflections on language.* New York: Pantheon.

CHOMSKY 1989: Chomsky, N., *Some notes on economy of derivation and representation.* In R. Freiden (Ed.) Principles and parameters in comparative grammar. Cambridge: CUP: 417-454.

CHOMSKY 1995: Chomsky, N., *Bare phrase structure.* In Webelhuth, G. (Ed.) Government and Binding Theory and the Minimalist Programme. Oxford: Blackwell.

COOK 1991: Cook, V., *The Poverty-of-the-Stimulus Argument and Multicompetence.* In:

Second Language Research. 7(2), 103-117.

COOK 1992: Cook, V., *Evidence for Multicompetence.* In: Language Learning. 42(4), 557-591.

DANESI 1992: Danesi, M., *Metaphorical competence in second language acquisition and second language teaching: The neglected dimension.* In: J.E. Alatis (ed.) Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics. Washington, DC: Georgetown University Press. 489-500.

FLYNN 1988: Flynn, S. & W. O'Neil (Eds.), *Linguistic theory in second language acquisition.* Dordrecht: Kluwer.

GASS 1987: Gass, S., *The resolution of conflicts among competing systems: a bidirectional perspective.* In: Applied Psycholinguistics. 8 (4): 329-350.

JESSNER 1997: Jessner, U., *Towards a dynamic view of multilingualism.* In Putz, M. (Ed.) Language choices. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins: 17-30.

JESPERSEN 1954: Jespersen, O., *Growth and structure of the English language.* Oxford: OUP.

KECSKES 1997: Kecskes, I., *A Cognitive-Pragmatic Approach to Situation-Bound Utterances.* Monthly Talk. March. Paper presented to the Chicago Linguistic Society. he University of Chicago.

KECSKES 1998: Kecskes, I., *The state of L1 knowledge in foreign languagelearners.* In: WORD, Vol. 49. No. 3. 321-341.

KECSKES 1991: Kecskes, I., *Forthcoming. A Cognitive-Pragmatic Approach to Situation-Bound Utterances.* In: Journal of Pragmatics. Vol. 36.

KECSKES – PAPP 1991: Kecskés, I. & T.Papp., *Elméleti nyelvészet, alkalmazott nyelvészet, nyelvoktatás.* Budapest: Ts-Programiroda.

KECSKES – PAPP 1995: Kecskés, I. & T. Papp., *"The Linguistic Effect of Foreign Language Learning on the Development of Mother Tongue Skills".* In: Haggstrom, M., Morgan, L. and Wieczorek, J. (eds.), The Foreign Language Classroom: Bridging Theory and Practice. New York/London: Garland. pp. 163-181.

KECSKES – PAPP 2000a: Kecskes, I. & T. Papp, *Foreign Language and Mother Tongue.* Hillsdale: Lawrence Erlbaum.

KECSKES – PAPP 2000b: Kecskes, I. & T. Papp, *Metaphorical competence in trilingual language production.* In: J. Cenoz & U. Jessner (Eds.), Acquisition of English as a Third Language. 99-120. Clevedon: Multilingual Matters.

KISS 1987: Kiss, K. E., *Configurationality in Hungarian.* Dordrecht: D.Reidel.

LI – THOMPSON 1976: Li, C. and S. Thompson., *Subject and topic: a new typology of language.* In C. Li (ed.), Subject and Topic. 158-169. New York: Academic Press.

PAPP 1991: Papp, T., *Az anyanyelvi tudás és az eredményes idegennyelv tanulás összefüggései egy többszintű longitudinális vizsgálat alapján.* Unpublished dissertation for the candidate degree of the Hungarian Academy of Sciences. Budapest.

SELINKER 1972: Selinker, L., *Interlanguage.* In: IRA*L, 10:* 209-231.

THOMPSON 1978: Thompson, S.A., *Modern English from a typological point of view: some implications of the function of word order.* In: Linguistische Berichte. 54: 19-35.

VYGOTSKY 1962: Vygotsky, L.S., *Thought and Language.* Boston: MIT Press.

WHITE 1989: White, L., *Universal Grammar and Second Language Acquisition.* Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
WILLIAMS 1975: Williams, J., *Origins of the English Language.* London: The Free Press.
WINNER 1982: Winner, E., *Invented Worlds: The Psychology of the Arts.* Cambridge, MA: Harvard University Press.

Теория овладения вторым языком и место русского языка в этой теории

Резюме

Научная статья, занимаясь вопросами овладения русским языком как иностранным, утверждает, что теории освоения английского языка как иностранного, неприемлемы по отношению к русскому языку, потому что система последнего во многом отличается от английского языка. Разница в первую очередь бросается в глаза в порядке слов и лексике.

В английском языке т. н. "грамматический порядок слов", а в русском "прагматический порядок слов". Структура английского языка в основном строится на порядке слов. Изменение порядка слов в большинстве случаев приводит к неправильному предложению. В русском языке место слов в предложении определяется прагматическими, а не грамматическими правилами, так как система суффиксов и окончаний делает возможным относительно свободное движение слов в рамках данного предложения.

По новейшим лингвистическим тенденциям главной организующей силой предложения является лексика. Грамматическая структура предложения определяется взаимоотношением слов (см. ХОМСКИЙ 1995). Исходя из этого, метод освоения слов иностранного языка имеет большее значение, чем это раньше предполагалось. С этой точки зрения важно, что слова русского языка образуют сравнительно гомогенную систему, сплоченные многообразным, в то же время монолитным методом словообразования.

Лексика английского языка характеризуется двойственносью латинского и англо-саксонского происхождения слов, отличающихся в значительной мере друг от друга как формально, так и функционально. Овладение словами латинского происхождения является труднее для говорящих на английском как на родном языке, в то время как освоение англо-саксонских слов (с особыми семантическими нагрузками) обозначают трудности для говорящих на английском как на иностранном языке.

Статья профессора Иштвана Кечкеша дает ответ на вопрос, почему нужно применять различные методы в освоении русского и английского языков как иностранных, в виду того, что их порядок слов и лексика отличаются друг от друга.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS

SLAVICA XXX, 27-40 2000 DEBRECEN

Сопоставительное изучение семантической динамики обусловленности

(на материале русского и чувашского языков)

А. Р. ГУБАНОВ

В наивной картине мира обусловленность составляет особый фрагмент, представляющий собой сложный денотат, неэлементарную ситуацию, включая отношение (R) и члены отношения (а) и (б), т. е. обусловленность представляет собой семантический дериват, образующийся от двух простых или сложных пропозиций, с помощью семантического каузального предиката-связки, который является двухместным: открывает позиции для первого пропозитивного актанта "основание" и для второго актанта "следствие/вывод". Различные базовые смыслы отношения обусловленности (каузальность, финальность, кондициональность, концессивность) по-своему ориентированы на говорящего через связь с логическими операциями по линии основной универсальной предпосылки. И поэтому динамика в семантике обусловленности имеет многогранный характер. В смысловом потенциале обусловленности, как показывает практический материал русского и чувашского языков, можно выделить три линии семантической координации:

а) информативная наполняемость;

б) смысловая модификация;

в) семантическая конкуренция.

Первый вариант семантической координации связан с информативным наполнением высказываний обусловленности, с локально-темпоральным аспектом сообщаемого. В данном случае отношения обусловленности основаны на эвристически пассивной связи. Отношения обусловленности как автономный семантический объект представляют собой двухуровневую семную модель (эквиполентная оппозиция инвариантов): инвариант "прямая обусловленность (каузальность)" – инвариант "обратная обусловленность" (инкаузальность). Вариантными реализациями инвариантной сущности обусловленностных отношений

выступают: каузальность (идея непротиворечивости), финальность (контролируемость), кондициональность (гипотетичность), концессивность (нереализованная каузальность). Противопоставление двух инвариантов отражает структурный тип обусловленностных отношений по общему значению –"принцип достаточного основания" (ЛЯПОН 1986). При выделении основного (вариантного) значения главным является его системная значимость. Условие реализации основного значения также может зависеть от контекста и речевой реализации: одна и та же форма, выражающая отношения обусловленности, в одних случаях может выражать вариантное, а в других – периферийное значение.

Смысловые отношения обусловленности в сопоставляемых языках могут выражаться развернутой пропозицией (юнкция), которая в языке оформляется таксисными структурами обусловленности (гипотаксис – соположение событий, паратаксис – соотнесение локализации событий), зависимым таксисом и нетаксисными структурами (с зависимым препозитивным компонентом, специальным предикатом). Синтаксические средства, разноструктурные конструкции выражения отношений обусловленности в русском и чувашском языках весьма разнообразны. При определении места каждого конституента, а также доминанты поля типовых значений отношений обусловленности следует основываться на следующих признаках:

1) наибольшей специализованностью для выражения отношения обусловленности;

2) способности передать отношения обусловленности наиболее однозначно;

3) систематическое использование. Если способ выражения обусловленности представить в виде полевой структуры, то центром поля , которое можно назвать полем семантических потенций способов, является гипотактичные конструкции, на периферии поля находятся конструкции с зависимыми пропозитивными компонентами.

Сложное предложение, как конституент поля обусловленности, рассматривается нами как бином, объединяющий две предикативные единицы, каждая из которых в семантическом плане представляет событие (событие есть означаемое предикативных единиц как частей сложного предложения. Следует отметить, что среди русистов и тюркологов нет единого мнения по вопросу о том, какие предложения считать сложными. Спор об объеме понятия "сложное предложение" особенно характерен для описаний конкретных языков, не имеющих сложных предложений индоевропейского типа или имеющих их в ограниченном числе случаев. Различные точки зрения, существующие по этому вопросу, в тюркологии рассматриваются Убрятовой (УБРЯТОВА 1976, 14-24). Одной из важнейших причин существующего разногласия является разное понимание причастных и деепричастных конструкций, входящих как часть в синтаксическое целое.

Не вдаваясь в детали споров вокруг понятия сложного предложения, отметим, что для типологических исследований наиболее естественным нам представляется использование понятие "таксисная конструкция" (гипотаксис и паратаксис) и "полипредикативная конструкция" (ППК). В полипредикативных конструкциях в тюркских (чувашском) языках выражаются определенные синтаксические отношения между событиями. Строительным материалом полипредикативной конструкции чувашского языка являются предикативные единицы. Полипредикативная конструкция состоит как минимум из двух предикативных единиц: главной предикативной единицы и зависимой предикативной единицы. Предикатом главной предикативной единицы является финитная глагольная форма, что же касается предиката зависимой предикативной единицы, то в тюркских языках в этой роли выступают инфинитные формы глагола (инфинитный - зависимый – предикат не может выражать самостоятельно некоторые грамматические категории, поскольку он ориентирован на соответствующие категории главного предиката). Важнейшей частью ППК является зависимая часть, где инфинитные формы глагола в ППК несут основную нагрузку и они способны принимать морфологические показатели: аффиксы падежей, показатели лица. И аффикс этой формы становится показателем связи и выполняет такую же функцию связи частей полипредикативных предложений, которую во флективных языках выполняют союзы. Показатели инфинитных форм выражают и различные смысловые отношения между зависимым и главным действием (темпоральное, причинное, целевое и др.). Зависимый предикат является конструктивным центром полипредикативной конструкции. Полипредикативные конструкции синтетического, аналитического и аналитико-синтетического типов состоят как минимум из двух предикативных единиц: главной предикативной единицы и зависимой предикативной единицы. Выступая в роли зависимого предиката, причастие в ППК синтетического типа способно принимать различные падежные аффиксы и при этом функция падежей при причастиях отлична от функции при именах, в позиции зависимого предиката падежные аффиксы становятся синтаксическим средством связи зависимого и главного предложений (ППК с зависимым предикатом бывают моносубъектными и разносубъектными):

Перехмай йĕп çинчи пек пурăннăран вăл пурнăçа лайăх анкарса илме пуçларĕ (Агаков).

К конституентам, образующим другой слой эксплицитной каузальности, относятся полипредикативные конструкции аналитико-синтетического типа – причастно-послеложные конструкции, где причастие прошедшего времени на -нă /-нĕ сочетается с послелогами и служебными именами. В аналитико-синтетических ППК способ связи получает формальное выражение в аналитических показателях

(послелогах и частицах), которые закреплены за определенными грамматическими формами:

Вăл шăл ыратнă пирки питне тутарпа туртса çыхнă. (Юхма).

В ППК аналитического типа зависимые предикативные единицы связаны между собой аналитическими показателями – союзными скрепами:

Юлташусене пахкаларах суйла: мĕншен тесен пĕтĕм ĕç вĕсенчен килет (Ухсай).

В нетаксисных структурах сопоставляемых языков модальные и временные характеристики свернуты: в таком семантическом осложненном предложении вторичным именным предикатом выступают девербативы. В основном чувашские эквиваленты-девербативы соотносительны с русскими именами ситуации, однако в чувашском языке отсутствует прямой аналог предлога: в одних случаях ему соответствует послелог-имя, в других – собственно послелог, в третьих – аффикс "причинного" падежа в качестве функционального эквивалента. Ср.:

Вăл *ывăннăран* урисем çинче аран тăрать. (Турхан).

Полные соответствия чувашских послеложных и падежных форм и русских предложно-падежных форм могут быть установлены только в каждом конкретном случае. Различия между функциональными эквивалентами – предлогами и послелогами – заключаются в конкретизации значений обусловленности и, наоборот, в обобщенном выражении оттенков. По своей степени активности каузативы в русском языке могут быть различными: одни могут входить в любую модель предложения, а другие – обслуживают только определенные модели. Вариантность различных синтаксем обусловленности неодинакова: одни синтаксемы имеют значительное количество вариантов, другие же синтаксемы в сопоставляемых языках ограничены в своих вариантах.

Каузальная ситуация предполагает развернутое выражение конституентов. Адвербиализация, как и субстантивация, снимает эту раздельность, способствует имплицированию, стиранию обусловливающей логики: специфика каузальных значений такова, что она противодействует действию механизма адвербиализации. Этим и объясняется немногочисленность наречий причины типа *оттого, потому, сгоряча*; с*пециально*, *нарочно* и др.. В чувашском языке адвербальные пропозитивные компоненты обладают почти тождественными свойствами номинативно значимых обусловливающих значений (*çавăншăн*, *çавăнпа*, *юриех* и т.д.).

Вторая и третья линии в динамике отношений обусловленности связаны с дивергентностью и конвергентностью смысла обусловленности, т.е. с соотношением доминирующего признака обуслов-

ленности и его модификацией или семантической конкуренцией с гомогенными/гетерогенными признаками. Следует отметить, что в инструментарий соответствующей лингвистической семантики следует ввести процедурно-семантические представления. Процедурная семантика в данном случае ограничивается таким процедурным концептом – процедурным преобразованием, представляющий комплекс операция над базовыми смыслами обусловленности, которые приводят к выявлению "общего значения" и распределению вариантов обусловленности, которые могут быть обеспечены только путем обращения к динамическим категориям, синтезу единой семантической структуры обусловленности в высказывании. Дискурсная дивергентность или конвергентность признаков отношений обусловленности становится возможным в силу действия различных типов процедурных преобразований.

Процедурно-градуальные компоненты актуализируют семантические компоненты обусловленности и представлены разными конструкциями. Как показывает практический материал, отношения обусловленности, маркированные градуальными компонентами, могут выражать:

а) актуальную форму градуирования (указание на порождаемую ситуацию как на важную причину);

б) виртуальную форму градуирования (указание на то, что порождаемая ситуация является слабым фактором для оправдания реализации порождающей ситуации). Варианты отношений обусловленности отличаются друг от друга структуризацией специализированных средств для выражения актуальной и виртуальной формы.

Квалификация отношений обусловленности в плане градуальности наиболее четко осуществляется эксплицитным способом, который предполагает обозначить соответствующие смысловые отношения посредством определенных экспликаторов. Их состав достаточно обширен и многообразен, все они указывают на то, что ситуация Р или ее компонент определяется говорящим как не соответствующее идеализированному представлению говорящим о мире. Варианты отношений обусловленности отличаются друг от друга структуризацией специализированных средств для выражения актуальной и виртуальной формы. Квалификация события-причины/цели/условия в плане градуальности наиболее четко осуществляется эксплицитным способом, который предполагает обозначение соответствующего признака посредством определенных кванторов градуальности. И в качестве градуаторов выступают:

а) градуаторы-лексемы (адвербиальные компоненты – гиперлексема *очень* и ее синонимы; предикаты, выраженные глаголами интенсивного подтипа результативного способа действия; частицы, имеющие трехвалентную структуру;

б) описательно-функциональные обороты;

в) синтаксические градаторы. Наиболее частотными экспликаторами соответствующей семантической модификации обусловлен-

ности выступают градуаторы-частицы типа "только", "исключительно", "лишь" и др., обладающие тремя синтаксическими валентностями. Процедурный характер отношений обусловленности, осложненных градуальным компонентом, их сильная связь с контекстом, возникновение новых смыслов в их семантической структуре можно увидеть из следующих толкований:

а) "*только P* означает, что положение вещей *P* находится на границе *x* и *больше, чем x*":

Эх, ворон, как посмотрю на тебя, по твоему росту да красоте только бы тебе царем быть (Л.Толстой).

Ку çăхан патне йăпшăнса пырать те калать: Эпĕ сан çине пăхса тăранаймастăп, ку пĕвӳ-сийӳпе, сăну-пуçупа санăн патша анчах пулмалла;

б) "положение вещей *P* рассматривается как «меньшее», чем возможности субъекта":

Но в его выражении не было заметно смущения, оно как будто говорило мне: "Да, я играю, а ты удивляешься этому только потому, что еще молод" (Л.Толстой).

Анчах, унăн сăнĕ вăл именнине палăртмасть, ку сăн çапла каланăн туйăнать: "Ийя, вылятăп, эсĕ вара картла выляканcенчен ху самрăккипе çеç тĕлĕнетĕн".

Какой же ты пролетариат, если только в кулак шепчешь, а на собрании тебя с фонарем надо разыскивать? (Шолохов).

Хăвăн сăмсу айĕнче çеç пăшăлтататăн, пухура сана хунарпа шыраса та тупма çук пулсан, мĕнле пролетариат-ха вара эсĕ;

в) "в ситуации конфликта *P* для S возможны отрицательные последствия (в центре внимания находится верхняя шкала *x*)":

Только с размаху ничего не надо делать: это только навредит общему делу (Шолохов).

Пуç тавра шухăшламасăр нимĕн те тумалла мар;

Поэтому только имей в виду, я тебя об этом не прошу (Каверин).

Çавăнпа та ĕнтĕ пĕлсе тăр, кун пирки эпĕ хам ыйтмастăп;

Но только, чтобы я тебя не видела и не слышала (Каверин).

Анчах та сана урăх курам та мар, сассуна та илтем мар;

г) "*только P* означает, что процесс P локализован в некоторый момент времени":

С тещей он условился, что она будет писать ему о Зине, как только получит какое-нибудь сообщение (Ажаев).

Зина çинчен пĕр-пĕр хыпар илтсенех, хунямăшĕ ăна çырса пĕлтĕрме пулнăччĕ;

Только если из штаба пришлют - разбудишь! (Шолохов).

Штабран кама та пулин ярсан çеç вăрататăн!

В чувашском языке, как показывает практический материал, лексические показатели интенсивности идентичны русским: эквивалентами данного экспликатора градуальности, как видно из примеров, выступают слова "çеç", "кăна", "анчах".

Для виртуальной шкалы градуальности характерны такие экспликаторы интенсивности, как "даже", "вот", "уже", "просто", "всего лишь". Отношения обусловленности, осложненные соответствующим градуальным компонентом, имеют следующий сценарий-схему: интерпретация Р как исчерпывающего представления о Р - ниже чем другие представления. Сопоставление конструкций с данными градуальными компонентами в русском и чувашском языках показывает, что в чувашском языке градуальный компонент в отношениях обусловленности может передаваться не только аналитическим способом - при помощи градуаторов частиц *вара*, *ара, ĕнтĕ, та(те)*, но и синтетическим: при помощи аффиксов – *ах/-ех*. Ср.:

Коли уж ты решился уехать, то я хоть пешком да пойду за тобой, а тебя не покину (Шолохов).

Эсĕ *каймах* шут тытнă пулсан, эпĕ, çуран утмалла пулсан та, санпах пыратăп, санран юлмастăп.

Папенька, послушайте, если уже вы решились погубить меня, то я найду защитника, о котором вы и не думаете, вы увидите, вы ужаснетесь, до чего вы меня довели... (Пушкин).

Атте, итлер-ха, эсир мана *пĕтересех* тетĕр пулсан, эпĕ хутлех тупатăп, мана кам хŭтĕлессине эсир шутлама та пултараймастăр, курăр ака, сехрер хăпса тухĕ мана çавна тăвас патне çитернипе...

Не менее важным и действенным средством реализации градуального компонента в отношениях обусловленности являются синтаксические средства. Синтаксическая градуальность в сопоставляемых языках оформляется:

1. При противопоставлении отрицаемой и истинной причины:

Уже он начинал, как всегда случается в почетные лета, брать сильно сторону Рафаэля и старинных художников, – не потому, что убедился вполне в их высоком достоинстве, а потому, чтобы колоть ими в глаза молодых художников (Гоголь).

Вăл ĕнтĕ ватăлас енне сулăннă мĕнпур художниксем пекех Рафаэле тата ытти авалхи художниксене ырлама пуçларĕ, кăна вăл вĕсен картинисен тивĕслĕхĕсене пĕлсе çитнипе мар, вĕсемпе çамрăк художниксене намăслантарас тесе çапла турĕ.

(В чувашском языке модификации основных смысловых отношений в данном случае способствует постпозитивная отрицательная частица "мар" перед показателями каузальности);

2.При сопоставлении причин, связанных альтернативными отношениями:

Оттого ли, что книги были старые, или, может быть, от перемены обстановки чтение уже не захватывало его глубоко и утомляло (Чехов).

Кĕнекесем кивĕ пулнăран-ши, е вырăна улăштарнăран - вулани ăна малтанхи пекех интереслентермен тата ывăнтарнă.

3) при позиционном разобщении частей союза (в чувашском языке дистантное расположение частей релятива не наблюдается):

Они про меня много могут худого сказать, – это потому они скажут, что я им – полный господин. (Горький).

Вĕсем ман çинчен сисе тем те калĕç – мĕншĕн тесен эп вĕсен улпучĕ.

Градация значимости обусловленности появляется в конструкциях с персуазивными компонентами:

Важнее сумм он не крал, может быть, потому, что потребности свои измерял гривнами и гривенниками или боялся быть замеченным, но не от избытка честности (Гончаров).

Захар пысăк укçана вăрламасть, тен, хăйне мĕн кирлине вунă пуслăхсемпе, гривнăсемпе виçет пулĕ, е хуса сисесрен хăрать, анчах, епле пулсан та, ку вăл тӳре кăмăлла пулнинчен мар.

В формировании синтаксической градуальности активно также участвуют:

1. Финальные конструкты:

а) с сочетанием *лишь бы, только бы, пока не*, в которых указывается цель, к которой усиленно стремятся (ситуация, представленная в главном событии, квалифицируется как крайний способ достижения цели):

Я на все готов, *только бы* план был выполнен (Ажаев).

Эпĕ тем параттăм, манăн план çеç пурнăçласчĕ.

(В чувашском языке главная часть сложных предложений выражена полипредикативной конструкцией со сказуемым на -чĕ, а градуальный признак передается лексемой çеç).

б) глагольно-деепричастные конструкции, где интенсивность создается за счет деепричастий, имеющих модальное значение (стараясь/ желая; тесе):

Он из кожи лезет, *стараясь* выглядеть лучше (Ажаев).

Хăйне лайăхрах кăтартас тесе вăл тем тума та хатĕр.

в) фразеологически связанные структуры с лексически закрепленным средством связи – союзным сочетанием, дистантным фразеологизмом,

"лучше – чем", в котором компонент "лучше" превращается в модальную частицу конструкциях; фразеологические сочетания "стоит... чтобы", а также близкие к ним предложения, строящиеся по схеме "достаточно + инф." совершенного вида + "чтобы":

Лучше пойти, чем бездействовать (Ажаев).

Ним тумасăр лариччен кайсан авантарах;

Ей достаточно нажать кнопку, *чтобы* вызвать охрану.

Унăн кнопкăна çеç пусмалла, хурал çитсе те тăрать.

Целенаправленность усиливается и в том случае, когда главная часть в сложных предложениях выражается фразеологизированной конструкцией типа "'что только не":

На *что только не* шли они, чтобы победить в этой игре (Ажаев).

Çак вăйăра çĕнтерес тесе мĕн кăна тумарĕç пулĕ.

2. В кондициональных высказываниях сильная альтернатива имеет место там, где объектом модальной квалификации оказывается непосредственно предикат, а слабая наблюдается в тех случаях, когда в фокус модальной квалификации попадает фрагмент информативного пространства, не обладающий предикативной значимостью (ЛЯПОН 1986, 107):

Хорошо, - сказал я хладнокровно, - если не хочешь дать полтину, то быть ему что-нибудь из моего платья (Пушкин).

Юрĕ! - терĕм сиввĕн, аллă пус парас теместĕн пулсан, ман тумтирсенчен мĕн те пулин кăларса пар.

Действительно, если будет продолжаться упрямство со стороны Савельича, то некоторые вещи Гринева перейдут в руки другого = Если не будет такого упрямства, то соответственно вещи подопечного останутся нетронутыми.

3. Концессивные конструкции, отражающие ситуацию максимально-уступительного долущения (в качестве препятствующего основания выступает высокая, предельная степень проявления какого-либо качества, интенсивного действия или состояния, но, несмотря на усиленную интенсивность или даже высшую степень проявления того, о чем сообщается в уступительном компоненте, в следственном констатируется факт, противоположный ожидаемому, т .е. событие-следствие же происходит вопреки высокой степени интенсивности признака, действия, состояния) – градуальный компонент в сопоставляемых языках формируется местоименными словами "как" (тем/тем пек), "какой" (темле/мĕнле), "сколько" (тем/мĕн чухле), где (ăçта/таçта) с частицей "ни"(та/те), придаточная часть которых называет предельную степень проявления действия, признака или состояния:

Что бы у нас ни случилось, это все к добру (Куприн);

Тем пек вăрçрĕ, ӳкĕтлерĕ пулин те марса ăна хăйĕн киленчĕ тепĕр кунлăха хăварма пултараймарĕ (Турхан).

К имплицитным способам выражения интенсивности относятся случаи расчленения релятивов обусловленности (в данном случае актуализация признака обусловленности сопровождается позиционным разобщением их частей):

Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или казался таким, может быть, потому, что Обломов как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения или воздуха, а может быть того и другого (Гончаров).

В чувашском языке градуальный компонент оформляется синтетическим (при помощи аффикса -ах/-ех) и аналитическим (адвербиальный компонент сав*ăн*па + усилительная частица та/те) способами:

Может быть, бакенбардами своими он дорожил потому, что видел в детстве своем много старых слуг с этим старинным, аристократическим украшением (Гончаров). .

Ача чухне вăл нумай ватă тăрçăсем, авалхи улпутсем евĕр, бакенбарда ӳстернине курнă, çавăнпах-и, тен, халĕ хăйĕн бакенбардине те хисеплет;

Мне особенно ярко вспомнилось это место романа потому, что сегодня на заре мы атаковали немецких гусар (Шолохов).

Эпир паян хĕвел тухас умĕн нимĕç гусарĕсене атакаларăмăр, çавăнпа та романри çак вырăн мана уйрăмах яр-уççăн аса килчĕ;

А фото сохранилось, быть может, потому, что Саня всегда носил его обернутым в кальку (Каверин).

Ав карточкă, Саня ăна ялан галькăпа витсе сӳренипе те пулĕ, сыхланса юлнă.

Размещение зависимых частей (мотивирующих компонентов ситуаций, выражающих обусловленность), в частности, в русском языке придаточное предложение с союзом чтобы может находиться по отношению к главному предложению в препозиции в случае, если основное намерение говорящего или пишущего – привлечь внимание слушателя или читателя к цели того, о чем говорится в главном предложении, например:

Чтобы сделаться и продолжать быть Никитушкою Ломовым, ему нужно было есть говядины, много говядины, – и он ел ее много (Чернышевский).

Таким образом, в модификации отношений обусловленности используется средство градации разных языковых уровней. Формы, способы и средства градации высказывания представляют собой систему иерархических уровней, все звенья которой служат единой цели – выделению в

высказывании элементов наибольшей коммуникативной значимости, наиболее весомых элементов.

Противоположным явлению дискурсной дивергентности, как было сказано в первой главе, представляется явление конвергентности, которое сочетается с понятием асимметрии (диапазон применения, в частности, термина "интерпликатность", колеблется между широким пониманием синкретизма как нерасчлененности вообще до понимания его в узколингвистическом смысле как совмещение двух (и более) функций (значений). Анализ интерпликатных отношений в области обусловленности показывает, что в сопоставляемых языках отражаются взаимопереплетения (конкуренция) соответствующих отношений, так как существует определенная зависимость, в частности, между каузальным отношением с одной стороны, кондициональным и концессивным – с другой; следственные отношения противопоставляются каузальным, кондициональным, и концессивным как выразители обратной, а не прямой обусловленности; каузальные и контрадиктарные смыслы соотносятся между собой через трансформацию с заменой коннекторов и сохранением смысла предложения; такое же преобразование связывает финальные и кондициональные отношения.

Конкуренция или нейтрализация тех или иных отношений в сфере обусловленности обусловлена недифференцированной локализованности событий, и соответственно, данные структуры имеют дискурсивный характер, предполагающий наличие контекстуальной информации, т.е. соответствующая семантическая координация связана с утратой некоторых семантических и структурных признаков обусловленности или осложнением самих конструктов обусловленности.

Одним из критериев дискурсивного смысла является недифференцированная (двусторонняя) связь, которая связана с утратой конструктов определенной части типичных дифференциальных признаков. Учитывая специфическую связь в конвергентных смысловых отношениях, можно говороить о типах с двусторонней связью и с двойной связью (ср.: Он совершенно измучен (чем?) бессонницей - Он совершенно измучен (почему), потому что не спал.

В оформлении прагматической коррекции отношений обусловленности большую роль играет взаимодействие релятивов с конкретным содержанием гипотаксиса, лексическая семантика контактных слов (так, контактные слова в каузально-темпоральных связях актуализируют временной смысл: После того, как они привыкли к нему, ему стало легче жить и кроме того являются непременными формальными показателями совмещенности: Так как студенты не успели на автобус, мероприятие не состоялось. – Так как студенты не успели на автобус, то мероприятие не состоялось.).

На конкуренцию смыслов указывает также конкретное содержание самих конструкций, ибо их структура включает разные лексические элементы, которые формируют типовые значения структурных

элементов, а также типовые значения гипотаксиса и паратаксиса. При этом лексические элементы тесно связаны с собственно грамматическим ядром соответствующих предложений. Например, в кондиционально-уступительных, условно-следственных предложениях содержание варьируется от лексического варьирования содержания этих предложений. В частности, при интерпликатных кондиционально-уступительных смысловых отношениях сила тяжести приходится на конкретное смысловое содержание всего предложения, выводимого из его лексического состава: используемый в этом случае релятив, если теряет обычную для него (кондициональную) функциональную и лексическую устойчивость, однако, эта потеря не является полной. Отмечая, что конкретное содержание – основа обнаружения уступительных и кондициональных смысловых отношений, следует отметить, что релятив *если* своим лексическим значением утверждает кондициональность как одну из сторон данного двузначного соотношения компонентов.

При анализе конкуренции или нейтрализации дифференциальных признаков отношений обусловленности следует учитывать не только лингвистический контекст, но также и ситуацию, фоновые знания, экстралингвистический микроконтекст.

В конкуренции смыслов возникает трудность в определении, какое из интегральных отношений является доминирующим, а какое периферийным. В частности, в примере "Мне в труд свой хотелось бы вложить свою душу так, чтобы в труде был своеобразный отдых, чтобы была в нем радость (ФУРМАНОВ)" действие главной части совершается не само по себе, а ради какой-то цели, которая заключена в лексическом соста-ве придаточной части, поэтому зависимая часть возглавляется финальным союзом. Для проверки следует трансформировать предложение. Исключим из структуры предложения один из компонентов: вначале исключим из структуры приведенного примера компонент "так", а потом союз "чтобы":

а) Мне в труд свой хотелось бы выложить всю душу ..., чтобы в труде был свой отдых..;

б) Мне в труд свой хотелось бы выложить душу так, ...в труде...

Как видим, полученная структура вполне допустима с точки зрения нормы, а структура "б" по содержанию опустошена и структурно разрушена. Соответственно, в приведенной конструкции финальные смысловые отношения являются доминантными, а значение образа действия – дополнительным. Степень сходства и различия может быть вычленена также по формуле соответствия $X = a$ (ЧЕСНОКОВА 1996, 95). Как явствует из приведенной формулы, "а" обозначает сумму эквивалентных признаков, "в" – сумму неэквивалентных признаков сопоставляемых явлений, а X - показатель степени и сходства. Вычислим степень сходства и различий одного из интегральных членов следующего предложения, используя вышеприведенную формулу: Такой на редкость красивый театр *для детей*. Первый этап: вычисляем степень соответствия

анализируемого члена предложения и чистого согласованного определения: театр для детей и детский театр.

Устанавливаем признаки сходства:

l) обозначают признак предмета;

2) относятся к существительному, поясняют существительное;

3) можно задать вопрос *какой*?

Устанавливаем признаки различия:

1) театр для детей (отвечает на два вопроса; содержит два смысловые отношения: атрибутивный и финальный ; выражено предложно-падежной формой);

2) детский театр (отвечает на один вопрос; содержит одно смысловое отношение – атрибутивное; выражено полным прилагательным). Обратимся к формуле и вычислим степень сходства с финальным отношением: X = 6: (6+8)=3:7=43%. Второй этап: вычисляется степень соответствия интегрального члена предложения и финитива: театр для детей и театр, предназначенный для детей.

Устанавливаем признаки сходства:

1) обозначают цель предмета (предназначение);

2) можно задать вопрос *зачем*? Устанавливаем признаки различия:

а) театр для детей (относится к существительному; содержит два смысловые от ношения; можно задать два вопроса какой и зачем?); связь с главным членом: приименное управление;

б) театр, предназначенный для детей (относится к вербальному компоненту; содержит один смысловой компонент; можно задать один вопрос зачем?; связь с главным членом: управление. Вычисляем степень сходства с финальным отношением: X = 4: (4+8) = 0,33 = 33%.

В то же время каузальные отношения сами способны подвергаться трансформации, обогащать тем самым другие отношения, т.е. каузальные (финальные, кондициональные и др.) отношения, интегрируясь с другими (темпоральными, локальными и др.) смыслами, формируют совершенно другие смысловые отношения – омонимичные отношения .

Литература

Ляпон 1986: М.В. Ляпон, *Смысловая структура предложения и текст*. Москва

Убрятова 1976: Е.И. Убрятова, *Исследования по синтаксису якутского языка*. Сложное предложение. Новосибирск

Чеснокова 1996: Л.Д.Чеснокова, *Проблема членов предложения в теоретическом и методологическом аспектах*. Таганрог

A Comparative Study of the Semantics of the Dynamics of Subordination
(On the Material of the Russian and Chuvash Languages)
Summary

The aim of this paper is to present a comparative study of the semantics of the dynamics of subordination in Russian and Chuvash. Subordination is perceived as a semantic derivate which is made up of two propositions by joining them with a semantic causitive predicate-copula. In the conceptual potentials of subordination we can differenciate between three aspects of semantic coordination: 1. informational completeness 2. conceptual modification 3. semantic competence. The given study provides a close examination of the realisation of these aspects in the two languages focusing on the similarities and differences in their linguistic expression. As subordination finds expression in complex, polypredicative structures in both languages, in dealing with the informational completeness of its semantis dynamics we first take a closer look at these structures. The second aspect in the dynamics of subordination has to do with the relation between the domineering feature of subordination and its modifications and is expressed by means of gradation of different linguistic levels. Finally, we investigate competition and neutralisation of relations in the sphere of subordination in connection with discoursive and pragmatic features.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS

SLAVICA XXX, 41-47 2000 DEBRECEN

Некоторые типологические особенности корреферентных цепей в венгерском и болгарском языках

П. СОТИРОВ, М. ХРИСТОВ

В лингвистике текста известны утверждения, согласно которым механизм связывания предложений в тексте кореференцией отличается своими специфическими особенностями в каждом языке. Это связано с особенностями соответствующей языковой системы. Цель предлагаемого материала – выявить и проиллюстрировать зависимость некоторых элементов построения и функционирования корреферентного механизма в тексте от типологических особенностей данного языка путём конкретизации и сопоставления некоторых особенностей корреферентных цепей в венгерском и болгарском языках.

Поскольку в формулированной цели присутствуют выражения как "типологические особенности" и "особенности кореференции" возникает необходимость заранее выяснить два вопроса: 1) о "жанровой" принадлежности настоящего исследования в зависимости от присутствующих в нём типологических моментов и 2) о сути кореференции как текстообразующием факторе, как факторе семантической организации текста.

Как отмечает Л. Дежё в своей книге "Типологическая характеристика русской граматики в сопоставлении с венгерской", в центре внимания при типологическом исследовании в зависимости от объекта и типа анализа могут быть только **типологические правила**, которые по степени обобщённости бывают: а) *общие закономерности* (*универсалии*); б) *типы*, в) *правила отдельных языков*. Проявляясь в языке совместно, эти три совокупности правил связаны и в типологическом исследовании, где "универсалии могут служить

основой для типов, а типы – для особенностей отдельных языков" (ДЕЖЁ 1984:17).

Таким образом, понимая кореференцию как универсальное явление и пытаясь сопоставить некоторые особенности функционирования корреферентного механизма по правилам двух конкретных, типологически и генетически противопоставленных языков, можно отнести предлагаемый материал к частичным сопоставительно-типологическим характеристикам, суть которых заключается в сопоставлении соотношений между функциями и формами в двух языках операциями типологического характера. Для настоящего сопоставительно-типологического анализа, как и для большинства исследований такого рода, "основой и конечным пунктом служат конкретные языки" (ДЕЖЁ, цит. соч.: 17).

Что касается сути кореференции, здесь она рассматривается как один из важнейших факторов, обеспечивающих спаянность, сементическую организацию и смысловую целостность текста (или данные единицы текста). Корреферентный механизм отвечает необходимости повторно обозначить один и тот же объект действительности и пользуется набором средств разных языковых уровней: *лексических*, *морфологических*, *синтаксических*. Пути применения этих средств в посвящённой этому вопросу литературе известны как *лексический повтор*, *прономинализация*, *нулевая субституция* и *актуальная синонимия* (подробный обзор по вопросу см. СОТИРОВ 1993).

Выбор только некоторых из упомянутых способов построения и функционирования корреферентного механизма в венгерском и болгарском языках для сопоставительного анализа здесь обуславливается предварительным заключением, что типологическая детерминированность их употребеления не состоится в их наличиии или отсутствии в отдельности, а в конкуренции между ними в зависимости от окружения используемых средств, в зависимости от особенностей грамматического строя двух языков.

Имея ввиду и тот факт, что в функционирование корреферетного механизма при использовании способов лексического повтора и актуальной синонимии часто вмешиваются факторы стилистического характера, в работе рассматриваются прежде всего случаи сходств и расхождений в двух языках при использовании способов прономинализации и нулевой субституции, где ярче и проще можно указать на типологическую обусловленность употребления конкретных средств. В связи с прономинализацией и нулевой субституцией рассматриваются и некоторые случаи лексического повтора, где тоже выявляется типологическая детерминированность построения корреферентной цепи.

С другой стороны этот выбор обусловлен и наличием в венгерской лингвистике конкретных исследований по рассматриваемым здесь вопросам, как по отношению к венгерскому языку (напр. DIENES 1978; PLÉH, RADICS; RÁCZ 1992), так и по отношению к венгерскому и русскому языкам в сопоставительном плане (ЯНОШКА 1984), где особое внимание уделяется прономинализации и нулевой субституции.)

Поскольку результаты эксцерпированного материала[1] по отношению к венгерскому языку полностью соответствуют правилам употребления кореферентных местоимений и нулевого заместителя Ч. Плеха и К. Радича, кажется целесообразно привести эти правила в таблицы (по цит. книге Ш. ЯНОШКИ, с. 26):

Предыдущее предложение ↓	Последующее предложение →	N-подлежащее	N - неподлежащее			
			N - в функции прямого дополнения			N- в функции непрямого дополнения
			Ед. ч.		Мн. ч.	
			Одуш.	Неод.		
N - подлежащее		∅	∅, öt	∅	öket	∅
N - неподлежащее		az	∅, öt	∅	öket	∅

Согласно этим правилам в венгерских вариантах примеров, которые приведены ниже, имя-подлежащее в предыдущих предложениях появляется в качестве подлежащего последующих предложений в виде нулевого заместителя, что не приводит к непониманию содержания или к недоразумению относительно антецедентов или первых членов кореферентной цепи из-за комплекса взаимосвязанных причин, принадлежащих к разным уровням языка, напр. порядок слов, актуальное членение предложения, способ выражения определённости, способ выражения посессивности, наличие так называемого объектного спряжения, номинативно-аккузативный строй венгерского языка и др. Каждая из этих причин подлежит типологической интерпретации.

Примеры:

Болгарский текст	Венгерский текст
(1) Римата не е някаква външна украса на стиха, а органическа част от него. Допусната веднъж	A rím nem valamiféle külső dísze, hanem szerves része a versnek. Ha egyszer belekerül, ∅ a vers minden

[1] А. Далчев, *Страници*, С., 1980 / A. Dalcsev, *Töredékek*, Budapest, 1979, fordította: Karig Sára.

в него... тя определя и променя всички негови елементи...	elemét meghatározza és átváltoztatja.
(2) Римата[1] е много своенравна и деспотична приятелка. Тя[1] може да вдъхнови човека[2], но може и да го[2] разори с капризите си.	A **rím**[1] nagyon szeszélyes és zsarnoki szerető. ∅[1] Megihletheti az **embert**[2], de tönkre is teheti ∅[2] szeszélyeivel.
(3) Ако изкуството само отразяваше действителността и нямаше пред очи един идеал, как би могло то да съдейства за промяната на действителността и да бъде прогресивно?	Ha **a művészet** csupán a valóságot tükrözi, és nem tart szem előtt egy eszményképet, hogyan ∅ segíthetné a valóság megváltoztatását, és hogyan lehetne progresszív?

При употреблении местоименного корреферента в венгерских вариантах на месте ∅, по мнению носителей языка „выражения не звучат по венгерски".

Что касается корреферентного механизма в болгарских вариантах примеров, производит впечатление, что везде использованы местоимения. Это, с одной стороны, подтверждает результаты исследования, согласно которым имя-подлежащее в предыдущем предложении появляется в последующем предложении как подлежащее чаще всего в виде местоименного корреферента, а нулевые заместители используются в качестве последующих (если есть) членов корреферентной цепи (СОТИРОВ, цит. соч.).

С другой стороны, употребление местоименного корреферента обуславливается наличием категории грамматического рода в болгарском языке. И если примеры (1) и (2) всё-таки возможны и без употребления корреферентных местоимений, а в примере (3) на первый член корреферентной цепи указывает род глагольной формы, то в следущем примере (4) выражение невозможно без употребления местоименного корреферента, указывающего на грамматический род первого члена корреферентной цепи, так как в предыдущем предложении присутствуют имена разных родов и чисел:

(4) В творческия процес моделът играе ролята на железата и теловете, върху които скулптурът закрепва глината и видението си. Той е само опорна точка ; или в най добрия случай повод, за да изрази художникът себе си.	Az alkotás folyamatában **a modell** a vas és a drót szerepét játssza, amelyre a szobrász rárakja az anyagot, és amelyhez rögzíti látomását. **A modell** csak a támpont, vagy a legjobb esetben ürügy arra, hogy a művész önmagát kifejezze.

Однако, с точки зрения венгерского языка употребление местоименного корреферента привело бы к недоразумению именно из-за отсутствия категории рода в венгерском языке и местоимение могло бы отослать к любому имени единственого числа предыдущего предложения. Тем более, см. данную выше таблицу, имя-неподлежащее в предыдущем предложении может появиться в качестве подлежащего последующего предложения в виде местоимения, что в данном случае противоречило бы смыслу оригинального болгарского текста. Имеет значение и тот факт, что в последующем предложении болгарское составное сказуемое в данном случае переводится на венгерский язык именным сказуемым, что обязывает обозначить подлежащее.

Следовательно, для нормального осуществления кореференции единственно возможным остаётся способ лексического повтора. (Употребление способа актуальной синонимии отдалило бы венгерский перевод от болгарского оригинала.)

В примере (5) употребление лексического повтора в венгерском варианте тоже обязательно, так как его замена другим корреферентным средством привело бы к неодназначности при идентификации действительного антецедента опять-таки из-за отсутствия категории грамматического рода в венгерском языке:

(5) Есето е една смесица от поезия и философия, дето мисълта е основата, а образът - само средство или повод; то е една поезия, преодоляна и следователно изгубена.	**Az esszé** a költészet és a filozófia keveréke, amelyben a gondolat az alap, a kép pedig - csupán eszköz vagy ürügy; **az esszé** költészet, amelyet legyűrtek, tehát elveszítettek.

Корреферентные механизмы в болгарском и венгерском языках противопоставляются и в случаях, когда имя-подлежащее в предыдущем предложении встречается в качестве прямого дополнения в последующем предложени в виде местоимения в болгарском тексте, а в венгерском языке чаще встречается нулевой заместитель, например:

(6) Днес следобед в една от пресечките на булевард Юло се строполил в безсъзнание популярният артист Золтан Зетелаки. Минувачите го пренесли в близката клиника, но там... напразно се опитвали да го съживят.	Ma délután az Ülői út egyik mellékutcájában eszméletét vesztve összeesett **Zetelaki Zoltán**, a népszerű színművész. A járókelők bevitték ∅ a közeli klinikára, de ott hiába próbálták... életre kelteni ∅.

В болгарском варианте примера (6) употребление нулевого заместителя невозможно. В венгерском языке использование замены

нулём возможно скорее всего из-за употребления так называемого объектного спряжения глаголов, суть которого обязательно требует конкретного семантического объекта.

Итак, подводя итоги, нужно отметить, что хотя и частичный, на ограниченном материале, анализ выявляет некоторые зависимости построения и функционирования корреферентных механизмов в двух языках и предполагает формулирование трёх групп выводов:

а) о сходствах и расхождениях в построении корреферентных цепей (пар) в двух языках:

– по сравнению с правилами венгерского языка в болгарском языке имя-подлежащее в предыдущем предложении может появиться в качестве подлежащего последующего предложения в виде нулевого заместителя (как и в венгерском языке), но чаще всего встречается в виде корреферентного местоимения. Факторы, обуславливавщих это, можно в целом называть стилистическим узусом;

– в той же ситуации, но при наличии в предыдущем предложении больше чем одного антецедента разных родов, использование прономинализации обязательно (а не нулевого заменителя);

– имя-неподлежащее в предыдущем предложении появляется в последующем предложении в качества подлежащего в виде корреферентного местоимения, так же как и в венгерском языке;

– имя-подлежащее в предыдущем предложении встречается в качестве прямого дополнения в последующем предложении в виде корреферентного местоимения, а в венгерском языке в таких случаях встречается и нулевой заместитель;

б) о зависимости некоторых особенностей кореференции от типологических особенностей языков:

– в работе выявляется прежде всего значение наличия/отсутствия категории грамматического рода в построении корреферентного механизма. Роль других типологических особенностей не исследована полностью, но анализ материала предполагает значение и других факторов, такие как напр. способ выражения определённости, способ выражения субъектно-объектных отношении, порядок слов, структура сложного предложения и др[2].

в) о месте типологической обусловленности построения и функционирования корреферентного механизма в корреферентной типологии:

---

[2] Например с точки зрения венгерского синтаксиса можно заметить, что сложное предложение часто характеризуется наличием катафорических средств связи в начальном предложении, срв. ***Azt*** *mondtom, hogy holnap nem leszek.;* ***Azért*** *nem leszek, mert beteg vagyok.* (ещё по вопросу см. RÁCZ 1992:6). В этом отношении болгарский язык принципно отличается.

– дальнейшая работа в указанном этим материалом направлении доказала бы полностью зависимость большей части особенностей корреферентных механизмов в языках от типологических особенностей языков, что со своей стороны предполагает путь построения корреферентной типологии (или типологии кореференции) на основе общей типологии.

Литература

ДЭЖЁ 1984: Дэжё, Л., *Типологическая характеристика русской грамматики в сопоставлении с венгерской.* Будапешт

DIENES 1978: Dienes, D., *A szerkesztettségi hiányosság és szövegösszefüggés-beli kiegészülése.* Akademiai kiadó, Budapest

PLÉH–RADICS 1976: Pléh, Cs.–Radics, K., *"Hiányos mondat", pronominalizáció és a szöveg.* ÁNyT 11 (1976) 261-277.

RÁCZ 1992: Rácz, E., *Mondatgrammatika és szöveggrammatika.* MTA, Lingustika, series C, Relationes, 6.

СОТИРОВ 1993: Сотиров, П., *Кореференцията в текста и езиковите средства за кореференция в съвременния български език.* Канд. дис., София

ЯНОШКА 1984: Яношка, Щ., *Сопоставление русских и венгерских сложных предложений.* Tankönyvkiadó, Budapest

Some Typological Peculiarities of the Coreference Chains in Hungarian and Bulgarian

Summary

The aim of the present analysis is to explore the specifics of the coreference chains in Hungarian and Bulgarian and to compare the dependency of those specifics with some typological characteristics of both languages.

The task of a traditional textual analysis is to identify the linguistic features that cause sentence and paragraph connectivity, known as cohesion.

Focusing on coreference as major and universal cohesive factor, that includes means like substitution, pronominalisation, repeated forms, ellipsis, and others, this particular article represent a typological approach to textual analysis in order to define the specifics of different languages in creating a coherent text, in that the concepts and relationships are relevant to each other.

Although limited corpora of linguistic material from Bulgarian and Hungarian languages are used, the analysis offers three types of very interesting conclusions:

– about the dependency of using some of the coreference types upon the typological characteristics of the languages, e.g. the role of definiteness, gender, case and other features;

– about particular similarities and differences between Hungarian and Bulgarian in the field of coreference, and

– about emerging coreference typology based on textlinguistics and general typology.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS

SLAVICA XXX, 49-58 2000 DEBRECEN

Зависимость словообразовательной валентности наименований лиц от количества лексических значений

М. КАПРАЛЬ

Подавляющее большинство словообразовательных значений (СЗ) типовой деантропонимической[1] словообразовательной парадигмы (СП), которую составляют 27 семантических мест (КАПРАЛЬ 1997), остаются "невостребованными", не реализуются в составе конкретных СП. Вряд ли когда-либо пустующие клетки словообразовательной системы будут полностью отражать набор семантических мест в типовых СП. И все же время от времени в СП тех или иных наименованиях лиц (НЛ) появляются новые дериваты. По каким причинам? Основные факторы – вне системы языка, который периодически лишь выполняет "социальные заказы". От временной устойчивости этих факторов зависит, войдет или не войдет данный дериват в кодифицированный литературный язык. Известно, например, влияние на словообразовательную систему русского языка женской эмансипации, ср. "аномальные" дериваты типа *шахтерка, кикбоксерша, килерша* и т.п. (КАПРАЛЬ 1999а), неологизмы *обер-либерал-демократ, суперфорвард, имиджмейкерство* и т.п. Предугадывать, какое явление сегодняшней жизни станет особо важным вскоре, (а значит – реализуется в очередной языковой единице) по-видимому, не под силу никому, включая и лингвистов. Наша задача – найти интралингвистические закономерности реализации тех или иных СЗ, обнаружить факторы, способствующие (или сдерживающие)

[1] В настоящей работе исследуется словообразовательная валентность русских существительных наименований лица типа *человек, учитель, сангвиник* и т. п. (всего 2 932), которые условно возможно характеризовать как нарицательные антропонимы, что нашло отражение в настоящей работе в терминах *антропонимический, деантропонимический* и т.п.

словообразовательные возможности тех или иных лексических единиц. Среди факторов, способствующих увеличению словообразовательной валентности русских НЛ, – наличие у них многозначности (нескольких лексических значений). Об этом свидетельствуют результаты нашего исследования.

О двух подходах в исследованиях словообразовательной системы языка

Еще в 1945 году Л.В.Щерба отмечал, что в словообразовании наиболее важен "вопрос о том, как можно делать новые слова", а не "как сделаны готовые слова" (Щерба 1974, с. 51). Однако до недавнего времени большинство исследований по словообразованию велось именно в этом последнем направлении: лингвисты изучали, "как сделаны готовые слова". Объектом внимания были мотивированные основы, но не особенности мотивирующих. Подобные работы, посвященные исследованию словообразовательных особенностей того или иного разряда языковых единиц, объединены общим подходом "от мотивированных". Основная исследовательская задача в этих работах – установить свойства производных единиц (или производных от них), обусловливающие их формальные и семантические различия, сочетаемостные, стилистические и иные их особенности. Подобный подход получил условное название "ретроспективного", в отличие от противоположного, "перспективного". Различие этих аспектов В. В. Лопатин характеризовал так: "Опираясь на признак «частеречной» принадлежности слов, находящихся в отношении мотивации, можно строить грамматическое описание словообразовательной системы двояким образом: либо исходить из части речи (и других, более частных, формальных и семантических характеристик) мотивированного слова, либо из тех же характеристик слова мотивирующего. Первый подход можно условно назвать ретроспективным (с точки зрения «динамической синхронии» словообразования), второй – перспективным. Первый подход дает возможность выяснить, чем словообразовательно мотивированы и могут мотивироваться слова определенного грамматического класса или подкласса, второй – что (какие слова, какой структуры и значения) образовано (в синхроническом смысле) и может быть образовано от слов того или иного класса или подкласса" (Лопатин 1977, с. 15). Исследовать антропонимо-деантропонимическое поле "от мотивирующих", то есть в данном случае "от наименований лиц – далее НЛ", – значит, исследовать их словообразовательную валентность (или, иначе, их словообразовательный потенциал, их словообразовательную способность) как способность присоединять те или иные форманты для производства других слов, – деантропонимических дериватов. Этот вопрос относится в русистике к

числу малоизученных. В наибольшей степени этот подход реализован в русском языкознании при исследовании словообразовательного потенциала целой части речи, например, глагола (Мирзоев 1986), имени прилагательного (Волков 1993).

Методика исследования:

Принятая в настоящей работе методика исследования позволяет достичь конкретные и вполне, на наш взгляд, корректные результаты при системном (целостном) исследовании антропонимо-деантропонимического поля (Капраль 199б). Показателем словообразовательной валентности принимается количество дериватов в словообразовательных парадигмах исследуемых языковых единиц. Именно "совокупность всех производных одного производящего" (Тихонов 1985, с. 47), в нашем материале НЛ, и отражают валентностные свойства этих единиц языка. Данный фрагмент словообразования (деантропонимическое словообразование) может быть описан и на уровне других словообразовательных единиц (словообразовательная пара, цепочка, гнездо), однако только исследование парадигматики НЛ, на наш взгляд, в наибольшей степени отражает в наиболее "чистом" виде валентностные свойства НЛ как отдельного класса русских существительных. В настоящем исследовании показателем словообразовательной валентности НЛ выступает количество (число) его производных (дериватов) на первой ступени словопроизводства, то есть в составе его словообразовательной парадигмы. Так, например, количественным показателем словообразовательной валентности НЛ *дезертир* выступает число 3 (*дезертирство, дезертирский, дезертировать*); НЛ *иерей* – 5 (*иерейство, иерейский, архиерей, протоиерей, иерействовать*); НЛ *грязнуля* – 0 (производных от этого НЛ в словарях русского литературного языка не зафиксировано). Разделив сумму дериватов, образованных в составе словообразовательных парадигм НЛ, на общее количество исследуемых НЛ, можно получить среднее количество дериватов в одной словообразовательной парадигме НЛ. Исследуя словообразовательную валентность отдельных подмножеств НЛ (немотивированные, мотивированные, однозначные, многозначные, выступающие в качестве членов антонимичных пар и т. д.), можно получить показатели словообразовательной валентности отдельно для НЛ с различными характеристиками и таким образом *определить факторы и с т епень их влияния на словообразовательную валентность нарицательных антропонимов.*

Словообразовательная валентность однозначных и многозначных НЛ:

Рассмотрим зависимость словообразовательной валентности русских существительных со значением лица от количества их лексических значений. Наряду с однозначными наименованиями, которые составляют большинство среди исследуемых в настоящей работе, ср.: *батареец* – "боец артиллерийской батареи" (СО); *забулдыга* – "спившийся, беспутный человек" (СО); *прелат* – "в католической и англиканской церкви: высший духовный сановник" (СО) и т.д., есть наименования с двумя и более лексическими значениями. Список таких многозначных наименований лиц в настоящей работе ограничен материалами *Словаря русского языка* С.И. Ожегова и состоит из НЛ типа *предприниматель* – "1.Капиталист, владеющий предприятием. 2. Предприимчивый человек, делец"; *лошадник* – "1. Любитель лошадей. 2. Торговец лошадьми"; *пионер* – "1. Человек, к-рый одним из первых пришел и поселился в новой неисследованной стране, местности. 2. Человек, к-рый положил начало чему-н. новому в области науки, культуры. 3. Член всесоюзной детской коммунистической организации в СССР и ряда детских демократических организаций в др. странах"; *отец* – "1. Мужчина по отношению к своим детям. 2. О том, кто является родоначальником, основоположником чего-н. 3. Вежливое обращение к пожилому мужчине. 4. Название служителей культа, монахов, а также обращение к ним" и т.д. Среди исследуемых в настоящей работе многозначных наименований лиц, то есть наименований с двумя и более лексическими значениями – 384, что составляет 13,1% от общего их числа. В русистике давно отмечалось, что "когда в словообразовании участвуют основы полисемичных слов, каждое значение кладет начало новому ответвлению, новому ряду производных" (Арутюнова 1960, с.28). Данное столь очевидное предположение позволяет сделать вывод о том, что словообразовательная валентность многозначных нарицательных антропонимов выше, чем НЛ однозначных. Материалы настоящего исследования в целом подтверждают такой вывод (см. таблицу 1).

Среднее количество дериватов в одной словообразовательной парадигме многозначных НЛ 4,02, что значительно выше такого показателя для однозначных наименований лиц (1,87). Более чем в два раза меньше среди многозначных НЛ с нулевой валентностью. Если для однозначных НЛ этот показатель равен 23,7% от общего числа, то для многозначных – всего 11,9%. Подтверждают эти выводы и данные для непроизводных и производных многозначных наименований лиц (см. таблицу 2).

Таблица 1.

Зависимость словообразовательной валентности наименований лиц от однозначности/многозначности

Подмножества НЛ	Всего мотивирующих НЛ	В % к общему числу	Дериватов в их СП	Среднее кол-ство дериватов в одной СП	Кол-ство НЛ с нулевой валентностью	В % к числу исходных НЛ
Однозначных НЛ	2548	86,9%	4758	1,87	604	23,7%
Многозначные	384	13,1%	1543	4,02	46	11,9%
Всего НЛ	2932	100%	6301	2,15	650	22,2%

Характерно, что непроизводные составляют среди всех многозначных НЛ почти на десять процентов выше, чем непроизводных НЛ в массиве всех исследуемых в настоящей работе. Это обстоятельство наряду с многозначностью, по-видимому, также способствовало увеличению показателя

Таблица 2.

Зависимость словообразовательной валентности многозначных наименований лиц от производности/непроизводности

Подмножества многозначных НЛ	Всего мотивирующих НЛ	В % к общему числу	Дериватов в их СП	Среднее кол-ство дериватов в одной СП	Кол-ство НЛ с нулевой валентностью	В % к числу исходных НЛ
Непроизводные НЛ	150	39,1%	918	6,12	5	3,3%
Производные НЛ	234	60,9%	625	2,67	41	17,5%
Всего НЛ	384	100%	1543	4,02	46	11,9%

среднего количества дериватов в одной словообразовательной парадигме многозначных НЛ, поскольку словообразовательная валентность непроизводных НЛ более чем в два раза выше, чем производных. Среднее количество дериватов в одной словообразовательной парадигме непроизводных многозначных НЛ 6,12, производных – 2,67. Таким образом, словообразовательная

валентность и непроизводных, и производных многозначных НЛ практически в одинаковой мере (у непроизводных на 43,2%, у производных на 40,9%) выше, по сравнению с показателями словообразовательной валентности всех НЛ, исследуемых в настоящей работе.

Общий вывод о большей словообразовательной валентности многозначных НЛ подтверждают и данные отдельно для наименований с разным количеством значений (см. таблицу 3).

Таблица 3.

Зависимость словообразовательной валентности многозначных наименований лиц от количества значений

Количество значений НЛ	Всего мотивирующих НЛ	В % к общему числу	Дериватов в их СП	Среднее кол-ство дерива-тов в одной СП	Кол-ство НЛ с нулевой валентностью	В % к числу исходных НЛ
2	336	87,5 %	1199	3,57	45	13,4%
3	35	9,1%	163	4,66	1	2,9%
4	12	3,1%	166	13,83	-	-
7	1	0,3%	15	15	-	-
Всего НЛ	384	100 %	1543	4,02	46	11,9%

336 исследуемых в настоящей работе многозначных НЛ имеют по два лексических значения, что составляет 87,5% от общего количества многозначных наименований. Значительно меньше НЛ с тремя значениями – 35 (9,1%), еще меньше с четырьмя лексическими значениями – 12 (3,1%). У НЛ *хозяин* „Словарь русского языка" С. И. Ожегова фиксирует семь значений. Если у нарицательных наименований лиц с двумя лексическими значениями среднее количество дериватов в одной словообразовательной парадигме 3,57, то у НЛ с тремя значениями уже 4,66. Еще резче различие в показателях валентности на втором уровне, между НЛ с тремя и НЛ, у которых фиксируется четыре лексических значения, ср. 4,66 – 13,83 соответственно. Выше этот показатель у НЛ *хозяин* – 15 дериватов, однако в силу уникальности этот показатель находится на периферии данной подсистемы и вряд ли может рассматриваться как равноценный.

Как видно из этих показателей, они увеличиваются по мере роста у нарицательных антропонимов количества лексических значений.

Причем это увеличение носит прогрессирующий характер, разрыв показателей с каждым „шагом" увеличивается, что хорошо видно на диаграмме (см. рис. 1).

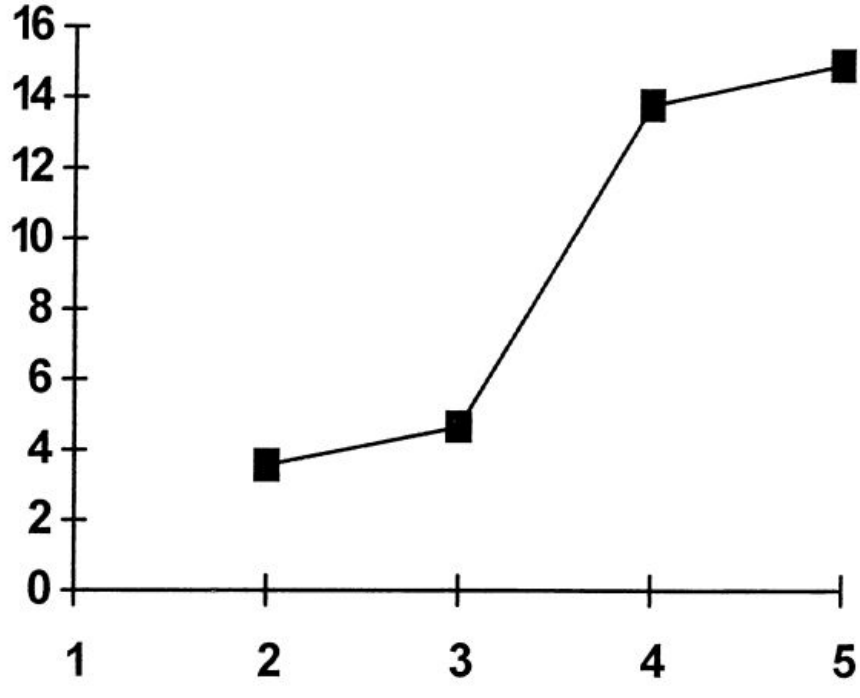

Рис. 1. Зависимость словообразовательной валентности многозначных наименований лиц от количества лексических значений

Разница между показателями словообразовательной валентности многозначных и однозначных НЛ была бы еще значительнее, если бы в словообразовательном словаре в составе СП многозначных НЛ те или иные дериваты были представлены столько раз, сколько раз то или иное словообразовательное значение семантически мотивируется всеми значениями мотивирующего. Так, например, значение женскости в словообразовательной парадигме НЛ *хозяин* представлено лишь один раз, хотя его значение семантически соотносится со всеми семью лексико-семантическими вариантами данного НЛ. Если бы словарь в полной мере учитывал не только формальные, но и смысловые связи

мотивирующего и мотивированного, то дериват *хозяйчик* был бы представлен, таким образом, семь раз. Это же можно сказать и о дериватах *хозяйский, по-хозяйски* и т.п., в которых реализуются наиболее продуктивные словообразовательные значения, и которые чаще всего представлены в составе конкретных словообразовательных парадигм. Однако это не значит, что валентность многозначных НЛ, можно определять элементарным умножением среднего количества дериватов в словообразовательных парадигмах однозначных НЛ на 2, 3 или 4 (то есть на количество лексических значений того или иного многозначного наименования) и получать таким образом среднее количество дериватов отдельно для подмножеств исследуемых единиц с двумя, тремя и т.д. лексическими значениями. Не всегда фиксация в составе СП того или иного НЛ деривата с тем или иным значением свидетельствует о его семантической мотивированности всеми лексико-семантическими вариантами многозначного слова. Например, дериват *барщина* – "даровой принудительный труд крестьян на помещика при крепостном праве" (МАС) семантически мотивируется только первым значением НЛ *барин* – "в дореволюционной России: человек привилегированных, эксплуататорских классов (помещик, дворянин и т.п.), а также обращение к нему" (МАС) и не связан со вторым значением "о человеке, к-рый не любит трудиться сам и предпочитает прекладывать работу на других" (МАС). Дериваты *доченька, дочурка, дочушка, падчерица, удочерить*, которые представлены в словообразовательной парадигме НЛ *дочь*, не мотивируются вторым значением "женщина как носитель характерных черт своего народа, общества, страны и т.п." (СО), а значением "лицо женского пола по отношению к своим родителям" (СО). Дериват *прадед* "отец деда или бабушки" (СО) мотивирован первым значением термина родства *дед* "отец отца или матери" (СО) и никак не связан с вторичным значением данного НЛ "вообще о старике, преимущественно в обращении" (СО). Дериват *капитанка* "фуражка капитана" мотивирован вторичным значением НЛ *капитан* "командир судна" (СО) и не связан с первым значением "офицерское звание или чин в армии и флоте, а также лицо, имеющее это звание" (СО), поскольку фуражка капитана авиации, артиллерии и т.п. ничем не отличается от головных уборов его сослуживцев майоров, старших лейтенантов и т.п.; не связан дериват *капитанка* и с третьим значением НЛ *капитан* "глава спортивной команды" (СО), поскольку нам не известен вид спорта, где капитан команды выделялся бы головным убором. Увеличению словообразовательной валентности многозначных НЛ способствует наличие таких наименований, значения которых одновременно относят их к подмножествам с различными характеристиками словообразовательных возможностей. Например, первое значение НЛ *джентльмен* "в Англии: вполне корректный человек, строго

соблюдающий правила и нормы поведения, принятые в буржуазно-аристократическом обществе" (СО) свидетельствует об отнесенности данного НЛ в разряд сигнификативно ориентированной лексики, а вторичное "человек подчеркнутой вежливости, корректности" (СО) – в разряд коннотативно ориентированной лексики. В словообразовательных парадигмах таких НЛ наряду с "универсальными" значениями, реализующимися в СП всех трех основных подмножеств НЛ (сигнификативно, денотативно и коннотативно ориентированных), ср. дериваты со значениями "отвлеченное явление..." (*джентльменство*), относительного признака (*джентльменский*), адвербиальности (*джентльменски, по-джентльменски*), есть и дериват со значением качественного признака (*джентльменистый*), значением, которое реализуется в парадигмах только коннотативно ориентированных наименований лиц.

Наличие среди значений многозначного слова лексико-семантических вариантов разной ориентации (сигнификативно, денотативно и коннотативно ориентированных), как явствует из наших данных, увеличивает словообразовательную валентность нарицательных антропонимов.

Статистические данные, представленные в настоящем исследовании, неоднозначно подтверждают ранее высказанные предположения о высшем словообразовательном потенциале многозначных мотивирующих (Арутюнова 1960). Наши выводы, базирующиеся на объективных данных одного из фрагментов русского словообразования, свидетельствуют о большей словообразовательной валентности тех языковых единиц (в нашем случае НЛ), которые обладают большими сочетательными способностями (чем больше лексических значений у слова, тем шире круг единиц, с которыми оно сочетается, а значит – большее число производных дериватов в его СП). Валентностный фактор "однозначность/многозначность" следует признать весьма существенным для повышения/снижения словообразовательной валентности тех или иных языковых единиц.

Литература

Арутюнова 1960: Н. Д. Арутюнова, *О понятии системы словообразования. На материале испанского языка.* In: Филологические науки №2.

Волков 1993: В. В. Волков, *Деадъективное словообразование в русском языке.* Ужгород

Капраль 1999: М. И. Капраль, *О ядерной части класса существительных наименований лиц в русском литературном языке.* In: Сборник статей по русистике. Выпуск II. Сегед, 87-92.

КАПРАЛЬ 1997: М. И. Капраль, *Словообразовательная валентность и словообразовательная парадигматика наименований лиц в русском языке.* Автореф. дис. канд. филол. наук. Киев

КАПРАЛЬ 1999: М.И.Капраль, *Словообразовательная категория женскости в современных восточнославянских языках* In: Ötvenéves a szegedi szlavisztika. Szerkesztette: Bibok Károly, Ferincz István, H. Tóth Imre. Szeged, 215-222.

ЛОПАТИН 1977: В. В. Лопатин, *Русская словообразовательная морфемика: Проблемы и принципы описания.* Москва

МИРЗОЕВ 1986:. С. Мирзоев, *Русское словообразование.* Баку

ТИХОНОВ 1985: А. Н. Тихонов, *Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т.* Москва

ЩЕРБА 1974: Л. В. Щерба, *Языковая система и речевая деятельность.* Ленинград

Список сокращений

МАС – Малый Академический Словарь (Словарь русского языка. Т.1-4. Под ред. А.П.Евгеньевой. М.1981-1984)

НЛ – наименование лица

СО – Словарь Ожегова (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. 1986)

СП – словообразовательная парадигма

Dependency of word-formation valency of persons denomination in Russian on the quantity of lexical meanings

Summary

The article deals with the dependency of word-formation valency of persons denomination in Russian on the quantity of lexical meanings. On the basis of data about word-formation valency of persons denomination in Russian the author determines the high word-formation valency of the grammatical units of high paradigmatic composition. The more lexical meanings a grammatical unit has, the higher the word-formation valency is.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS

SLAVICA XXX, 59-71 2000 DEBRECEN

Пушкин как подтекст русских оперных либретто

Г. ХИМА

Пушкин в русской культуре "начало всех начал"[1]. Это не пустая фраза. Пушкин стоит не только в начале русской литературы, но, как бы парадоксально это ни звучало, и у истоках русской оперы. Его произведения вдохновили свыше ста опер и несколько дюжин оперных проектов, побуждали и побуждают и сегодня к созданию опер и других музыкальных композиций. Даже его жизнь стала сюжетом музыкальных драм и проектов.[2] Некоторые названия пушкинских произведений вне России более известны любителям оперы, чем любителям литературы. *Руслан и Людмила*, *Русалка*, *Каменный гость*, *Борис Годунов*, *Мазеппа*, *Евгений Онегин*, *Пиковая дама*, *Моцарт и Сальери*, *Сказка о Царе Салтане*, *Сказка о золотом петушке*, *Мавра* – основные вехи в истории русской оперы.

Истинное слияние пушкинского творчества и русского оперного искусства стоит беспримерно в сравнении с другими культурами. Налицо этого феномена возникают вопросы: 1. Чем привлекало композиторов произведение Пушкина, и какое значение имеет Пушкин как либреттист в формировании русской оперы? 2. Каково взаимоотношение литературного текста, сценического спектакля и музыки, на примере одной конкретной оперы (*Борис Годунов*).

---

[1] Слова Горького цитированы по Фридлендеру (Предисловие), А.С. Пушкин, *Драматические произведения*. Москва, 1974, 3.

[2] Напр. оперы Г.Г. Крейтнера, *Конец Пушкина*. 1934, Б.С. Шехтер, *Пушкин в ссылке*. 1955 и незавершенный проект Прокофьева о жизни Пушкина, см. Erich Stöckl, *Puschkin und die Musik*. Leipzig, 1974, 68.

1. Пушкин как либреттист

Судьба пушкинских произведений на сцене удивительна. Несколько из них было поставлено ещё при жизни поэта в форме драматического зрелища, но инсценировки в целом большого успеха не имели. Оригинальная драматургия поэта очень редко получала в прозаическом театре адекватное сценическое воплощение, в то время, как его лиро-эпические сюжеты были признаны на сцене в оперных формах. Можно полагать, что драматизм его лиро-эпических сочинений с одной стороны, и лирическая сущность его драматургии с другой, при всех остальных, больше инспирировали музыкальный слух чем сценическую фантазию.

При этом ни старые, ни новейшие исследования не подтверждают намерения Пушкина писать хоть одно произведение в качестве оперного либретто. Совершенно противоположное можно предположить: славы либреттиста Пушкин себе не желал. Историкам литературы и оперы памятно раннее письмо Пушкина к Вяземскому: "Что тебе пришло в голову писать оперу и подчинить поэта музыканту? Чин чина почитай. Я бы и для Россини не пошевелился."[3] Чайковский, автор трёх пушкинских опер, в историческом споре о правах текста и музыки также явно стоя на стороне музыки, как Пушкин на стороне слова, в пушкинском искусстве видел сначала не словесность, а музыкальность: Пушкин – пишет Чайковский в одном из своих писем – "силою таланта врывается из тесных сфер стихотворства в бесконечную область музыки... Независимо от сущности того, что он излагает в форме стиха, в самом стихе, в его звуковой последовательности есть *что-то* проникающее в самую глубь души. Это что-то и есть музыка." (Разрядка Чайковского)[4] Однако его позиция скоро меняется. О трудностях компонировании музыки на сюжет *Онегин*а он сообщает с пушкинской аллюзией: "Я теперь пишу не оперу (у Пушкина "роман"), а неизвестной формы музыкальный спектакль (у Пушкина "роман в стихах") – дьявольская разница".[5] "О печати думать нечего" – прибавил в своё время Пушкин.[6] "Онегин на театре будет неинтересен" – заявляет со своей стороны Чайковский, ещё до постановки оперы. – "Публика не будет трепетать от интереса узнать развязку действия."[7] Выбор

---

[3] Письмо от ноября 1823, цитировано по Вас. Яковлеву, *Пушкин и музыка.* Москва, 1957, 2-е изд., 65.

[4] Письмо от 3/8/1877, см. Пётр И. Чайковский, *Переписка с Н.Ф. Мекк*, I-III. Москва – Ленинград, 1934-1936, I, 26.

[5] Цитировано по Яковлеву, там же, 132.

[6] 1823, цитировано по Яковлеву, там же.

[7] 1877, Пётр И. Чайковский: *Переписка с Н.Ф. Мекк*, I, 44-45, цитировано также по Модесту И. Чайковскому, *Жизнь П.И. Чайковского* I-III. Москва,

Чайковским текста определяется по его словам не музыкальностью стиха, а его удобством "быть положеным на музыку". Но пушкинский *Онегин* не обладал даже этим критерием: "сценические неудобства" сюжета, по мнению Чайковского, "выкупаются прелестью пушкинского стиха".[8] Как свидетельствуют его переписки, Чайковский в течении всей работы над *Онегин*ым постепенно приближался к признанию статуса слова. Он начал смотреть на пушкинское слово как на *Святое писание*, в котором каждое изменение является "святотатственным дерзновением".[9] После окончания компонирования оперы он пишет о восторге, вызванном пушкинским сюжетом и словом: "Если моя музыка к *Евгению Онегину* имеет достоинства теплоты и поэтичности, то это потому, что моё чувство было согрето прелестью *сюжета*... Если я горел огнём вдохновения, когда писал сцену «письма», то зажёг этот огонь Пушкин, и (...) если музыка заключает в себе хотя десятую долю той красоты, которая *в самом сюжете*, то я очень горжусь и доволен этим." (Разрядка моя – Г.Х.)[10]

Я привела эти противоречивые мнения не для того, чтобы разрабатывать, или даже разрешить здесь проблему "prima la musica – prima le parole", но чтобы положить тексты Пушкина в исторический дискурс русской музыки 19 века.

В широком масштабе с музыкальным дискурсом в России начала 19 века творилось нечто сходное с тем, что происходило с русским литературным дискурсом второй трети 18 века. Общая парадигма русского культурного процесса сформировалась перестройкой Петра Первого. В борьбе между архаистами и новаторами играл в самом начале 19 века Антон Рубинштейн в русской музыке аналогичную роль, как Ломоносов и Тредиаковский в борьбе вокруг формирования литературного языка в своё время. Рубинштейн, подобно своим литераторам-предшественникам, требуя профессионализма, путём адаптации западно-европейских музыкальных образцов, при всей доброй воле, вёл музыкальный спор в тупик. Как в своё время русский литературный язык встал не Ломоносовым, а Пушкиным на собственные ноги, и русский музыкальный язык шёл своим путём и

1900-1902, II, 27-28, и по Давиду Броуну, *Tchaikovsky, A Biographical and Critical Study* I-III. Victor Gollancz LTD, London, 1982, II, 178.

[8] Письмо к С.И. Танееву, от 24/I/1878, П.И. Чайковский, *Переписка И.П. Чайковского и С.И. Танеева*. Москва 1951, 28., цитировано также по Н. Кашкину, 'Значение поэзии А.С. Пушкина в русской музыке'), *Жизнь* (Москва), V, 5, 1899 133. и по Модесту И. Чайковскому, *Жизнь П.И. Чайковского*. 34.

[9] *Письмо к С.И. Танееву*. 28.

[10] *Письмо к Н.Ф. Мекк* от 28/9/1883. П.И. Чайковский, *Переписка с Н.Ф. Мекк*. III. 227, цитировано также по Модесту И. Чайковскому, II. 206.

выковывал свой интонационный словарь не по теоретической программе Рубинштейна, а по практике выдающихся русских композиторов. Глинкой, Даргомыжским, Мусоргским демократизировался русский музыкальный язык, выковывался и синтаксис музыки, немыслим вне учёта особенностей живой интонации.

Русская оперная музыка с самого начала своего формирования тесно опиралась на сюжеты и даже на почти неизменённые тексты Пушкина. Может быть потому, что русские композиторы 19 века никак не могли сладить "с самым простым делом", найти либреттиста, они шагу не могли отступить от Пушкина. Чтобы адаптировать пушкинские тексты к музыке, они часто сами "плели" стихи.[11]

Сначала Глинка обратился к Пушкину своей второй оперой, *Русланом и Людмилой*, и раскрыл ей путь перед дальнейшим развитием русского оперного искусства. Поздний Глинка, отозвавший на раннего Пушкина дал в этой его зрелой опере музыкальную поэтизацию того светлого, юношеского, жизнеутвердающего оптимизма, которым была полна поэма.

Пушкинские сюжеты заняли особо важное место в музыкальном творчестве Даргомыжского. Из четырёх его опер трое было написано на пушкинские сюжеты и двое значительнейших из этих вошло в классический репертоар русского оперного театра: *Русалка* и *Каменный гость*. В последней Даргомыжский сделал попытку осуществить оперу-драму, в которой текст играет равносильную роль с музыкой. В оперном творчестве на пушкинские сюжеты с самого начала заметно стремление как можно больше использовать непосредственно Пушкина. Это стремление несомненно достигло кульминационного пункта в *Каменном госте*, в котором композитор почти не затронул текст поэта. Убеждённый в сценической выразительности речитатива, Даргомыжский приходит к мысли о полном слиянии музыкального и словесного текста, повышая этим значение вербальности внутри музыкального жанра, в ущерб визуальности. Опера с наибольшим успехом ставится в радиотеатрах, в концертных залах, оставшись камерным произведением. (Музыкальный язык в то время не оказался достаточно эластичным для полной вокализации неизменного словесного текста. Введённый Даргомыжским тип оперы в России ограничился маленькими трагедиями, которые были неоднократно целиком и без изменений положены на музыку.)

Мусоргский, ближайший последователь Даргомыжского, пошёл по тому же пути, взяв материалом для своей ранней оперы комедию

---

[11] Слова Даргомыжского цитированы по Б.В. Асафьеву *Избранные статьи о русской музыке*. Москва, 1952, 19.

Гоголя, *Женитьба*. Он не мог закончить свою работу, столкнувшись с неосуществимостью избранного принципа: невозможно музыкально интонировать бытовые диалоги Гоголя на протяжении всей оперы. Как композитор он не мог справиться со своим любимым писателем. Другой его проект на гоголевский сюжет, *Сорочинская ярморка*, также остался невыполненным. И для Мусоргского явился стимулом к написанию оперы Пушкин: драма *Борис Годунов*. В этот раз Мусоргский вовсе не собирался применять стихотворную форму, в большинстве случаев пользуясь сочинённой им размеренной прозой, в полной зависимости от построения живой музыкальной речи. Однако в речитативной части он стремился сохранить подлинный текст (в монологах Бориса, Пимена, Шуйского). О манипуляциях Мусоргского на пушкинском тексте, речь идёт в следующей главе.

Не только первые шаги русской оперы были сделаны под покровительством пушкинских текстов. Его произведения остались центральной моделью либреттистики на протяжения всего классического периода русской оперы, и не только. Творчество Римского-Корсакова выходит отчасти из рамок 19 века: *Моцарт и Сальери* он создал вслед за Даргомыжским, по неизменному тексту маленькой трагедии Пушкина; дво̀е оперы на пушкинские сказки – *Сказка о царе Салтане* и *Золотой петушок* открывают оперную пушкиниану 20 века, продолжителями которой становятся, между остальными, оперы Шостаковича и Стравинского.[12]

2. *Борис Годунов*. Сравнительный анализ драмы Пушкина и оперы Мусоргского

Сравнительные анализы пушкинской трагедии и оперного либретто Мусоргского исходят из драматических узлов литературного текста. Музыка играет в них иллюстративную роль. Ценнейший вклад в описание оперы *Борис Годунов* внесли чисто музыкальные анализы, написанные с целью реабилитировать редакции Мусоргского, против реинстру-ментации Римского-Корсакова. Разборы музыки, сделанные в защиту Мусоргского от обвинения его в дилеттантизме, не делают текстуальные выводы, но указывают на те изломные моменты музыки, которые были оценены как недостатки композитора вроде "опечаток в партитуре", и по недоразумению исправлены Римским-Корсаковым.[13]

Что касается разных редакций самого Мусоргского, первоначальное

---

[12] В 1980-е гг. Сергей Дрезнин, вьенский композитор русского происхождения, положил опять на музыку сюжеты т.н. маленьких трагедий: *Каменный гость*, *Моцарт и Сальери* и *Пир во время чумы*.

[13] Carl Dalhaus, Sigrid Neef etc.

(позже и "предворительным" названное) либретто (1869) ближе соприкасалось с текстом Пушкина, чем второе (1872) или третье (1874) (последнее и "окончательным" или "основным" названное), хотя Мусоргский в этом первом либретто совершенно обошёл польские сцены.[14] Таким образом первый сюжет сконцентрирован на Бориса, почти не учитывая линии Григория, приближая драму с разветляющим действием к правилам драматургии Аристотеля. В окончательной редакции Мусоргский усиливает сюжетное значение параллельного действия вокруг Григория, придавая ему статус равноправного противника Бориса. Но сократив монологи Пимена, он мало мотивирует возникновения самозванческой идеи монаха-мошенника. В окончательной редакции, введением сцены *Под Кромами*, интерпретированной несколькими исследователями[15] как революция и роль народа сильнее подчёркнута. С усилением линии Самозванца и роли народа в позднейших редакциях усиливается и значение политической интриги, в первую очередь с выступлением иезуита Рангони (изобретание Мусоргского) в польских сценах.

Общий вывод этих анализов, что изменения, введённые Мусоргским во второй редакции инициируют политизирование пушкинского текста, хотя оценки драматургического вмешательства композитора в пушкинский текст расходятся: некоторые считают, что Мусоргский во второй редакции далеко отошёл от пушкинского замысла, вставая текстуально на самостоятельный путь[16]; другие, наоборот, считают, что пушкинский смысл, скрытый перед цензурой, возрастает именно под воздействием его "музыкального воплощения на оперной сцене".[17] Несмотря на расхождения в оценках, в подходе есть что-то похожее: все они стараются интерпретировать отступления Мусоргского от Пушкина в эстетически-жанровом (драма совести, историческая трагедия) или в идеологически-политическом плане (в контексте оппозиционных пар, вроде династический принцип – демократический выбор, легитимность – самозванство, светская власть – церковная власть, православие – католицизм и т. д.). Общее стремление сравнительных интерпретаций: попасть к какому-то единому – и к тому же чисто вербальному – значению, вроде герменевтической конклюзии, чтобы установить, репродуцирован или нарушен пушкинский концепт Мусоргским в опере.

Пока чисто текстуальные сравнения сюжетов драмы и либретто,

---

[14] По свидетельству его письма к Н. Раевскому (1829) сам Пушкин первоначально не имел в виду женской партии: "Мне нравилась мысль о трагедии без любовной интриги.." См. Яковлев, 112.

[15] Напр. Dietmar Holland, David Lloyd-Jones, Oscar Riesemann etc.

[16] Holland

[17] Яковлев, 117, Riesemann

игнорируя семантику музыкальной грамматики, уступают субверзивному потенциалу не только риторичности оперы, но и поэтического текста, чисто музыкальные анализы оперы *Борис Годунов*, с другой стороны, вместо текстуальных выводов, указывают на те изломные моменты музыки, которые как недостатки музыкальной гармонии по недоразумению были исправлены Римским-Корсаковым. Музыкальная грамматика (ошибок) Мусоргского уделяет внимание на такие возможности интерпретации, которые основаны на значениях текста, но закодированы не в его вербальный пласт. Кажется, при сравнительном анализе следует исходить из акустически выделенных образных фигур оперной интерпретации.

Я не в состоянии в столь узких рамках указывать на каждое музыкально и текстуально релевантное место; выделяю всего три музыкальных явления: 1. колокольный звон и удар часов; 2. стилизованная староцерковная интонация (инструментальная, хоровая, вокальная); 3. неожиданные смены в диатонической гамме в полной зависимости от семантики текста. Выделенные фигуры, несмотря на то, что они в драме физически проявиться не могут, рассказывают две истории, которые относятся в качестве инверсии друг к другу. Первая история сообщает о метаморфозе *царя в монаха,* вторая, вывёртывая первую на изнанку, о метаморфозе *монаха в царя.* Эти метаморфозы бегут параллельно и в то же время противоположно друг другу, как это будет показано в выделенных пяти сценах оперы, указывая при каждой на текстуальные соответствия драмы.

1. Сцена коронации

Сюжетная метаморфоза Бориса начинается со *сцены коронации*[18], пронизанной бытовой интонацией колокольного звона. Но колокольный звон обозначает здесь не только превращение частного человека в царя, а – в соответствии с драмой – осцилляцию между двумя экзистенциями. После церемонии в Успенском Соборе царь Борис выходит на паперть, чтобы обратиться с речью к народу, стоящему на коленях. Но он обращается не к народу, а к своим внутренним сферам: "Скорбит душа. Какой-то страх невольный зловещим предчуствием сковал мне сердце." Дискрепанция между торжественными, инструментальными аккордами коронации и умилённой вокальной интонацией поддержана и сценически, с помощью контраста между интерьером (Собор) и экстерьером (паперть): Появляющийся на паперти, в полном роскошном облачении царь "снаружи институт", "изнутри сломленный человек". Превращение

[18] Такой сцены у Пушкина нет, в драме церемония только упомянуется. Большую часть монолога, с исключением 1-4 стр. Мусоргский заимствует из речи Бориса перед патриархом и боярами (4-ая картина).

царя-института в богомольного человека пока обратимо. Минорный тон (музыкальный топос монастыря и монашеского существования на протяжении всей оперы) переходит через оборот вроде церковнославянской интонации – через призыв: "поклонимся гробам почиющих властителей России" – в мажорную гамму царского института. Этой второй метаморфозе, совершённой с помощью мажорной гаммы, соответствует сценический жест государя, приглашающий весь народ на пир. Контраст между внешним и внутренним действиями отмечен Пушкиным в том же месте: появившийся в драме Борис как человек уже сломлен; а как институт пока неприкосновенен.

2. Келья Пимена

Метаморфоза обоих монахов начинается ночью, в келье Пимена, в Чудовом монастыре с кошмарного сна Григория о крутой лестнице, по которой он сначала восходит, потом с высоты стремглав падает. Ямбическую с церковнославянским колоритом дикцию Пимена, Мусоргский заимствовал из литературного образца[19], усилив его атмосферическую окраску хором монахов на заднем плане. Стилистическая функция модального приёма, напоминающего гармонию церковной музыки 16 века, обнаруживается тем тональным контекстом, в который он вставлен Мусоргским: он сопровождает и подтверждает кажущийся смиренным монолог старца. В сообщении Пимена тональная структура через хроматическую вставку внезапно прерывается: es-минор сменяется G-мажором. Прорыв бросается, так сказать, "в уши", потому что "обе гаммы долгое время выдержаны в простой диатонике". Хроматический оборот обращает внимание на то место в пушкинском тексте, где старец-летописец проповедует Григорию метаморфозу из царской экзистенции в монашескую: великие цари "часто златый венец тяжёл... меняли на клобук". Хроматический прорыв подчёркивается непрерывностью диатоники G-мажора – блестящего топоса государя – и es-минора – матового топоса монастыря –, и тем самым становится преобладающим. (Двоякая метаморфоза Бориса в прологе выразилась также сменой обеих гамм, однако без хроматического интермеццо.) Хроматизм, как бросающийся в глаза шов на ткани стилизованной староцерковной музыкальной гармонии, обращает внимание на двузначность сообщения Пимена в литературном подтексте. Возбуждённый своим сном Григорий слышит противное сказанному: не то, что *царь будет монахом*, а то, что *монах будет царём*. Последующий рассказ Пимена об убийстве малолетнего царевича – ровесника Григория – показывает молодому монаху потенциальный путь чудесного превращения.

---

[19] 1-ая картина 1-ого действия следует почти дословно 5-ой картине драмы.

Колокольный звон к вечерне, звучащий тускло, издали, на фоне хора монахов, откликается на колокольный звон коронации. Образуя его минорный супплемент, он указывает вперёд, на предстоящую метаморфозу Бориса: *Царь будет монахом*, однако без расшифровки скрытого значения предсказания. Уходящий старец передаёт свой труд Григорию. Речь как бы идёт о продолжении летописи, но Григорий думает уже о продолжении истории: "Борис, Борис!.. не уйдёшь ты от суда людского, как не уйдёшь от божьего суда." Опять остаётся открытым, до 3-ей картины 4-ого действия, разве Григорий Пимена неверно истолковал, или наоборот, он понял его правильно. Однако Григорию останется только исполнение людского, к тому же запоздалого суда, как и у Пушкина. Кажущийся божий суд Пимен не выпускает из своих рук, в отличии от подтекста: Пимен у Пушкина не приписывает себе столь эксплицитно роль божьего судьи.

3. Удар часов

Следующую фазу в метаморфозе Бориса "в монаха" во 2-ом действии вызывает опять бытовая музыкальная инструментация – *удар часов*. Начинающееся сумасшествие царя, завершающее 2-ое действие, являет контраст с идиллией "детской комнаты" начала. Семейная экспозиция взята из драмы. Однако в опере разные эмоциональные сферы царя связаны со сценической кулиссой и музыкальными фигурами, таким образом, что один, кажущийся второстепенным, реквизит вырастает в музыкальное изображение психического распада царя. В 1-ой картине этого же действия дочь царя, Ксения, оплакивает умершего жениха, пока сын, Фёдор, изучает карту московской империи. Как и в драме. Внезапно часы с курантами, стоящие в углу, вступают в действие, и удар часов пускает в ход встроенную в часы колокольную музыку. Чтобы отвлечь сестру от траура, Фёдор начинает объяснять ей функционирование иностранного музыкального автомата. Вербальное описание Фёдора одновременно исполняется оркестром.[20] (Такой сцены у Пушкина не может быть.) Одновременно с музыкой появляющиеся кукольные фигуры перед глазами Фёдора постепенно оживают. На эту маленькую галлюцинацию Фёдора откликается большая галлюцинация Бориса в конце действия.

---

[20] Равномерные удары часов реализируются двумя валторнами, сменяя тоны g и cis как basso ostinato. Вращение часов символизировано хроматическим аккордом первой скрипки. Инструментальное исполнение описания Фёдора происходит в "диминутивах".Труба замещается гобоем, орган кларнетом и фаготом – оба pianissimo –, литавры играют tremolo делая вид, как будто все эти аккорды возникли бы в маленьком игрушечном механизме (См. Reinhold Thur, *Mussorgskij: Boris Godunov*, Wiener Staatsoper 1991 (Programmheft), p. 63.

Психическому слому Бориса предшествуют два эпизода: речитативная ария Бориса и его диалог с Шуйским. Оба основаны на сюжете Пушкина. После этого удар приходящих в движение часов – тех же с курантами – вызывает у оперного Бориса сначала физические, потом психические симптомы. Бой часов в галлюцинации сливается со собственным сердцебиеньем Бориса, и они вместе "как молотком стучат в ушах". Колокольный звон часов исполняется в галлюцинации оперного Бориса не только с большей силой, но другими инструментами, чем у Фёдора (вместо духовых смычковые). Часы угрожают царю ужасающими, сверхъестественными фигурами смычковых, и визуально, превращением в призрак убитого царевича. Пока в сцене Фёдора вокальная музыка частично подавляет инструментальную, в сцене Бориса, наоборот, вокальная музыка задыхается в инструментальном кошмаре. Мусоргский снова пользуется пушкинскими фразами, разрывая их, соответствуя разрывной музыкальной интонации. Обе сцены связаны друг с другом, текстуально разорванным монологом пушкинского Бориса, музыкально интервалом преувеличенного кварта. Это само по себе многозначное явление в музыке сплелось в старые времена с представлением "diabolus in musica". Здесь оно указывает на уходящее, почти ушедшее время Бориса. Обе сцены с курантами откликаются музыкально на колокольный звон сцены коронации и предсказывают события 4-ого действия. Такой акустической связи у Пушкина не может быть. Каузальное взаимоотношоние галлюцинации с предыдущей и последующей картинами создано там вербально-семантическими приёмами.

4. Смерть Бориса

При погребальном звоне 4-ого действия над Борисом исполняется божий суд. Хотя в драме звон не слышен, музыкальный образ оперы основан опять на тексте Пушкина: Борис и там слышит удар часов и чувствует "могильный хлад". *Сцена смерти Бориса* – завершение его метаморфозы – ставит предыдущие музыкальные приёмы в новый семантический контекст, и углубляет дименсии музыкально отмеченного сообщения Пимена: *Цари "часто златый венец тяжёл... меняли на клобук".* Так как по старому обряду все умирающие цари *подстригаются в монахи*, тогдашнее замечание Пимена в келье мог имплицировать kategoricus imperativus, призыв к путчу, адресованный Григорию. Исследователи оперы *Борис Годунов* часто преувеличивают роль интриги, в частности роль Рангони и Шуйского, как доказательства отступления композитора от пушкинского оригинала. По этим мнениям, интрига первого направлена на внешние, политические, интрига второго на внутренние, психические события, на Борисову совесть (Fulle). Если есть в опере персонаж, который

действительно заслуживает квалификацию интригана – это Пимен. Внешняя интрига исходит от него, внутренняя завершается им. Второе выступление в Грановитой палате нарушает его self-made image, как святого, отошедшего от света человека.[21] Пимен и в этот раз погружён в сценические и музыкальные реквизиты по виду церковной атмосферы. Но несмотря на фальшивость его самохвального представления ("Смиренный инок, в делах мирских немудрый судья"), жесты и страстная интонация речи выдают его: не правосудие является его целью, а исполнение вынесенного им самим приговора над Борисом. Достигши желанного эффекта, нанеся смертельный удар, он внезапно прерывает рассказ, не заканчивая даже начатого предложения, и "быстро уходит", словно убегает, как некий убийца из-за угла. Автентично религиозная атмосфера сцены – молитва, исповедь, раскаяние, "протяжный удар колокола", "погребальный перезвон", "надгробный вопль", "святая схима", хор монахов – вызвана одним контекстом умирающего царя. Инверсированная история создаётся этим и в отношении между Борисом и Пименом: Вроде *грешник превращается в святого, святой в грешника.* Пимен удваивает роль Григория: он тоже выступает самозванцем – самозванным судьёй. Эта драматургическая функция Пимена основывается на тексте Пушкина. Борису и в драме и в опере противостоит не юный монах, а старец. Мусоргский, в отличие от Пушкина сильнее подчёркивает динамическую функцию этой фигуры. Второе выступление Пимена в Грановитой палате (в обеих редакциях) однако "полностью отвечает характеристике, выраженной в далеко неспокойном, по существу, монологе летописца у Пушкина. В опере Мусоргского Пимен не только подстрекатель (как у Пушкина), но и исполнитель мирской мести. Как будто его инверсированная по отношению к Борису история у Пушкина осталась бы недосказанной.

5. Воцарение Григория

Прибывший под Кромы Григорий наталкивается на исполненный труд. Дорога очищена, Самозванцу некого победить.[22] Григорий, появившийся ещё в одной из польских сцен, как смешной трубадур,[23] выступает здесь как избранник народа, новый Спаситель Руси.

---

[21] У Пушкина он не покидает монастырь, легенду о Дмитрии-чудотворце рассказывает в драме патриарх, однако не со злым намерениям. В драме Борис умирает без людского воздействия.

[22] Как и у Пушкина: приезду Григория предшествует смерть Бориса, не как у Римского-Корсакова.

[23] Он пародирован и сценическими (ночь, сад, фонтан) и музыкальными клише (любовные ария, дуэт) итальянской оперы.

Мусоргский чисто музыкальным прёмом как бы легитимирует его: в интонации ликующих труб звучит лейтмотив убитого царевича. Однако отсутствие православного благословения в качестве староцерковной музыкальной интонации[24] разоблачает *воцарение Григория* как иллюзорное историческое решение.

По музыкально выделенным сценам вырисовывается другая сеть взаимоотношений, действительная и для литературного сюжета. Так как четыре из пяти картин были "исправлены" Римским-Корсаковым – исключены или переставлены –, кажется, драматургия Мусоргского с музыкальной точки зрения драматургия чистых промахов. Текстуально однако они не "ошибки", а сознательно скомпонированные швы в музыкальной ткани, раскрывающие скрытые семантические потенциалы литературного подтекста. Исключение Римским-Корсаковым сцены Фёдора с часами с курантами лишило лишь только оперу Мусоргского музыкально-драматургической опоры, а исключение монолога Пимена и переставка последних двух картин лишили и драму Пушкина своих важнейших значений. Отступления, совершённые Римским-Корсаковым, являются интерпретацией, недопустимой текстом. Отступления, совершённые Мусоргским, касаются в первую очередь вопроса перформанца.

Кроме этих чисто музыкально созданных, совпадающих значений наибольшая близость между произведениями Пушкина и Мусоргского проявляется в открытом конце, выражающем скептический взгляд обоих авторов на историю. Молчание народа в драме и пророчество Юродивого в опере выполняют подобную драматургическую функцию. Однако, скепсис Мусоргского идёт дальше пушкинского. Молчание народа в драме обозначает бесперспективность Самозванца с одной стороны и мудрость народа с другой. Народ Мусоргского не мудрец, а брутальная пролетарская масса. Мудрость проявляет один Юродивый, божественный дурак, перед чьим в будущее направленным взглядом "настанет тьма, темень тёмная, непроглядная" – судьбы России. По его пророчеству, для России нет будущего, точнее говоря, будущее России – цикличное повторение её прошлого.

Наконец, возвращаясь к вопросу, чем привлёк и чем привлекает Пушкин оперных композиторов, трудно найти конкретный ответ. Очевидно не только "музыкальностью", "прелестью слова", "удобством сюжета" (Чайковский). Наверно и тем, чем он привлекает и нас, литературоведов: живым, инспирующим духом, призывающим всегда к новым и новым интерпретациям его произведений – либо в музыке, либо в теории.

---

[24] Латинская дикция сопровождающих его католических священников воспринимается русским слухом как волкий вой.

Pushkin as subtext Russian Opera Librettos

Summary

Pushkin not only established the modern Russian literary language and classical Russian literature but – after his death – became also one of the initiators of Russian music, whose impact is still decisive on the musical world of our time. However, whatever his attitude to and his thoughts about music were, we shall never know. None of his texts, notes or letters specifically refer to musical matters. Filling this gap is negligible, considering the dominant role Pushkin played and still plays in the musical history of Russia. Of his more than 800 poems about half were set to music. His epical and dramatical work – (vers)novels, fairy tales, short stories, the so-called "small tragedies" –, was transformed into operas, ballets, symphonic settings.

As a young man Pushkin scorned the craftsmanship of a librettist and contested that poetry should take second place to music: "Not even for Rossini I would have moved a finger" (letter to Viasemsky, 1823). Little he knew that he would become – though not willingly – the greatest poet-librettist of Russia. Twenty-eight of his epical texts were used as libretti for operas, often adapted by lesser minds, of which 20 were set to music by Russian composers, including Glinka, Mussorgskij, Čaikovskij, Rimskij-Korsakov, Rahmaninov and Stravinskij.

The paper tries to reveal possible motives for the striking affinity between Pushkin's texts and the genre opera on the basis of Mussorgskijs opera *Boris Godunov*. It touches upon such questions as the:

– Relevance of the music of language versus semantic of language in the reception;

– Relationship between "libro" (as literary product) and "libretto" (fabula without literary value);

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS

SLAVICA XXX, 73-92 2000 DEBRECEN

Культура как память

З. ХАЙНАДИ

Время искать, и время терять;
время сберегать, и время бросать.

Книга Екклесиаста 3:6

Память играет исключительную роль в деле сохранения и передачи культуры. Понятие культуры как памяти восходит к архаическим временам: в мир мифологического и метафизического мышления. Еще Геракл сетовал, что в мире все преходяще (*panta rhei*), погружается в сумрак забвения и бесследно исчезает. И только память способна остановить убегающее явление и воспрепятствовать процессу забвения. Приобретенную информацию Аристотель сравнивал с "убегающей армией", которая остановится только тогда, если заново укрепит повторяющийся опыт. В понимании греков истина – *alethea* – не может кануть в Лету, способна противостоять течению времени. Истина представляет собой ценность, достойную вечной памяти. В дословном переводе *alethea* означает *незабываемое, незабвенное.* "Все проходит мимо, все уходит. Истина-*Alethea* – это Незабвенность, не слизываемая потоками Времени, это Твердыня, не разъедаемая едкою Смертью, это Существо существеннейшее, в котором нет Небытия нисколько" (ФЛОРЕНСКИЙ 1914:193).

В греческой мифологии Мнемосина (Память), мать девяти муз и богиня творчества, является сторонницей Аполлона, покровителя высшей духовной деятельности: в неотчетливом клубке памяти она помогает отыскать, а не выдумать единственно возможное, ничем другим не заменимое слово. В зрелом возрасте Платон определял знание как воспоминание о трансцендентном мире, узнавание заново. Знание = воспоминанию (анамнезе), представлению памяти из лучшего

мира.[1] Духовную сущность материи платонизм определяет зрелищем, роль которого заключается в *напоминании* об идее. Несовершенству природы он противоставлял идеальный, трансцендентальный мир, являющийся *локусом* истинных ценностей. (По мнению Канта, трансцендентная память является основой знания. Наблюдается генетическая взаимозависимость между *архетипами* Платона и *рожденного с нами идеями* Декарта и *a priori* Канта.)

По словам Диотимы из *Пиршества*, смертный человек может обрести бессмертие двумя путями: зарождением новой жизни и духовным творчеством. Жизнь стремится к распространению в мире телесно и духовно. Несущие семя плодородия в теле "приобретут себе бессмертие, память и счастье деторождением". Духовная плодовитость – удел поэтов, дающих миру свои произведения, и тех, кого называют изобретателями. Таким образом, эрос является наисвойственнейшим душе стремлением к вечной памяти, "желанием бессмертия". Заурядное соитие двух влюбленных не может победить смерти, это достижимо только путем возвращения к *андрогинному* единству, потерянному нами в грехопадении. Человеческие души стремятся объединиться с другими душами, оторванными от них в ходе инкарнации. "Эросом мы называем желание и поиск полноты" (латинская транскрипция греческого текста: *tú holú ún fe epithymiá kai dióxei erós onoma* – PLATÓN 192e). Половая любовь атавистична и смертоносна, поскольку деторождение неразрывно связано с рождением и смертью, и только духовная созидающая сила гарантирует бессмертие личности. В творчестве мы хотели бы обрести утерянное бессмертие, богоподобие. Поэт-демиург именно поэтому избирает спутницей жизни не женщину, а музу, Прекрасную Даму (Данте), идеал Вечной женственности (das Ewig Weibliche – Гёте), Sophia (Премудрость Божия – Владимир Соловьев), богиню духовного творчества: Логос для него важнее Эроса. Смену парадигм можно наблюдать и в русской культуре, когда традиционный идеал семьи сменяется идеалом "нового человека", для которого Эрос является средством духовного возрождения, а не деторождения. (Таковыми являются нового типа асексуальные герои Чернышевского, Достоевского, Чехова, *проект* воскрешения мертвых Николая Федорова, принцип "жизнетворчества" русских символистов, попытка "воскрешения мертвых слов" футуристами и т. д.) Новый человек возрождает самого себя и мир. "Сверхчеловек" Ницше

---

[1] В мифе о пещере у Платона видимые предметы и явления – двойники занебесных идей. Материальное несовершенство земного бытия исходит из того, что оно только фрагментарно причащено идеей. Вечные, неизменные и бестелесные идеи – настоящие предметы и вдохновители воспоминания. По мнению Платона, физическое намекает на идеальное. Идеи бытия у него более почитаемы самого бытия.

побеждает смерть возрождением себя в акте самообожествления. В христианском понимании творчество означает в первую очередь самосоздание, которое суждено не только художнику, но и всякому человеку. Аскетизм (подвижничество) является наивысшим художественным творчеством, материалом для которого служит сам человек. "Человек всю жизнь не живет, а сочиняет себя, самосочиняется" (ДОСТОЕВСКИЙ 1972-1990:27/59). Даже пророк созидательного зарождения Толстой к концу своей жизни питал отвращение к совокуплению и отверг чувственно-земную любовь ради самоусовершенствования и благодетельной любви. "Влечение души есть: добро ближним. Влечение плоти есть: добро личное. В таинственной связи души и тела заключается разгадка противоречащих стремлений" (ТОЛСТОЙ 1928-1959/46:140). Значение телесной любви Соловьев видел а победе над эгоизмом, изолированностью и смертью (*Смысл любви*). По мнению Флоренского, лучшим способом преодоления обособленности является спиритуальное воссоединение с Богом – *communio.* Николай Федоров отказался от превозносимого Василием Розановым мистического фаллицизма Древнего Востока. Розанов потому освящал сексуальную любовь, что видел в этом средство преодоления смерти. Он хотел разрешить противоречие между ветхозаветным призывом "оплодотворяйтесь и множитесь" и новозаветным императивом к девственному целомудрию и вздержанию (enkrateia). Он называл христианство *thanatophil* культом, направленным против жизни и прославляющим смерть (РОЗАНОВ 1990:394-417). Сексуальной любви Федоров противопоставлял сыновью любовь, цель которой в воскрешении умерших отцов, гарантирующем бессмертие и самим сыновьям. Воскресение как реальная возможность зиждится на нравственном напряжении памяти, акте любви и объединении научных усилий всего человечества. Телесное воскрешение умерших он представляет без участия в том церкви и религии, исключительно на естественно-научной основе, путем подчинения слепых сил природы (в том числе и несомых нами расточительных сил полового инстинкта) управлению разумом для низложения наивысшего зла – смерти. Он не принимает диалектического круговорота жизни-смерти. По его мнению, смерть является вовсе не необходимой, а патологической принадлежностью существования как такового. Смерть не вечный закон природы, а результат невежества человека. Человек смертен до тех пор, пока находится в рабстве у природы. Бессмертие не упавшее с неба даяние и наступит не с помощью какого-то чуда, но станет следствием общих усилий человечества. Христанство истолковывает воскресение пассивно: оно наступает в день Страшного суда; по Федорову это – возможный результат сплочения научных усилий всего человечества. Он ищет не бессмертие души, а воскрешение плоти. Человек – говаривал он – рождается дважды: естественным путем и сам по себе,

когда заново сотворяет себя своим трудом и разумом. *Эволюция* – пассивное развитие без проявления воли; *регуляция* – сознательная преобразовательная деятельность человека. Поэтому-то более охотно пользуется он словом *воскрешение* вместо пассивного *воскресение*. Владимир Соловьев следующими словами выражает свое восторжение учением Федорова: „Со времени появления христианства Ваш «проект» есть первое движение вперед человеческого духа по пути Христову." В то же время он предупреждал, что "наше дело и должно иметь религиозный, а не научный характер.[...] Простое физическое воскресение умерших само по себе не может быть целью. Воскресить людей в том их состоянии, в каком они стремятся пожирать друг друга, воскресить человечество на степени каннибализма было бы и невозможно, и совершенно нежелательно" (СОЛОВЬЕВ 1909:2/346).

Для Федорова не существует иной религии, иной науки, иного искусства, нежели культ предков. "Если объединение живущих для всеобщего воскрешения не совершается сознательно, то объединение сынов превращается в цивилизацию, в чуждость, враждебность, в разрушение, а вместо воскрешения является культура, т. е. перерождение, вырождение и наконец вымирание" (ФЕДОРОВ 1982:200). Культура, по его мнению, является продуктом эпохи, отказывающейся от бессмертной жизни и не считаюшей несчастьем ни кончину личности, ни вымирание нации.

Мережковского и круг русских символистов так же остро занимала проблема жизнетворчества, неразрешимая мистерия секса и его отношение к Богу. Соединение тела и духа в "святой плоти" может осуществить "новый человек" (MATICH 1994:158-171). Религиозный философ Сергий Булгаков понимал творчество как самостроение: "смысл человеческой жизни – самосотворение" (БУЛГАКОВ 1917:352). В тезисах доклада Бориса Пастернака *Символизм и бессмертие* (1913) утверждается, что "поэзия – бессмертие, «допустимое культурой»" (ПАСТЕРНАК 1990:256). Все в мире преходяще за исключением художественного творчества. Художественное время – воспоминание – это освобождение из плена времени и смерти. По мнению Андрея Белого, слова потеряли свою поэтичность, представляют собой "зловонные, разлагающиеся трупы", и только слово поэта – символ – являются воплощенным "живым словом" (БЕЛЫЙ 1910:436). Совершенность соединения слов между собой подобно воскрешению мертвых. "Сейчас слова мертвы, и язык подобен кладбищу", задача футуризма – воскрешение слова (ШКЛОВСКИЙ 1990:36). Творчество – художественное воскрешение.

Историк культуры имеет дело с прошлым и только с прошлым. Однако его исследовательская сфера все же относится к сегодняшней науке, поскольку настоящее воспринимается им как продолжение прошлого. Его взор обращен одновременно вперед и назад: подобно двуликому Янусу, он одинаково внимает и будущему, и прошлому –

помнит о минувшем и видит грядущее. Героиня книги Льюиса Кэролла *Алиса в стране чудес* жалеет бедную память за то, что та может помнить только прошлое, а это не совсем верно. Генри Бергсон, Павел Флоренский и Владимир Соловьев говорят о трех направлениях памяти. "Память есть символо-творчество. Помещаемые в прошедшее эти символы, в плоскости эмпирии, именуются воспоминаниями; относимые к настоящему они называются воображением; а располагаемые в будущем – считаются предвидением и предведением" (ФЛОРЕНСКИЙ 1914:202). Бергсон связывает память с понятием времени. Суть жизни в воспоминании: сознательная оглядка на прошлое. Все прошлое живо и влияет на настоящее, в определенном смысле оно находится в настоящем: это созидательное время творческой эволюции (*l'évolution créatrice*). Воспоминание – не возвращение в минувшее; прошлое то и дело проникает и "поедает" настоящее, как Хронос своих детей. Суть творческого времени в том, что прошлое не разрушается, а обогатившись опытом настоящего, постоянно оказыает влияние на будущее. В "двойной памяти" Бергсона феномен настоящего сплавляется с воспоминанием прошлого. По мнению Соловьева, ставшее памятью относится уже не к прошлому, а к настоящему и будущему. "Говоря образно, то что помнится или вспоминается, тем самым отнято у времени, и только этими отнятыми жертвами времени питается логическая мысль" (СОЛОВЬЕВ 1911-1914:VIII/198).

Взгляды Мандельштама на память и время близки к бергсоновским.[2] Вспоминать – творить художественно. Художественное время – воспоминание, выход из плена линейного времени. В рукописи *Пушкин и Скрябин* (1915), так и оставшейся во

---

[2] "Бергсон рассматривает явления не в порядке их подчинения закону временной последовательности, а как бы в порядке их *пространственной протяженности*. Его интересует исключительно внутренняя связь явлений. Эту связь он освобождает от времени и рассматривает отдельно. Таким образом связанные между собой явления образуют как бы веер, створки которого можно развернуть во времени, но в то же время они поддаются умопостигаемому свертыванию.

Уподобление объединенных во времени явлений такому вееру подчеркивает только их внутреннюю связь и вместо проблемы причинности, столь рабски подчиненной мышлению во времени и надолго поработившей умы европейских логиков, выдвигает *проблему связи*, лишенную всякого привкуса метафизики и, именно потому, более плодотворную для научных открытий и гипотез" (МАНДЕЛЬШТАМ 1987:55-56). Мандельштам, в бергсоновской трактовке, понимает эволюцию как постоянно развивающийся и создающий новые формы креативный, а не механичесаий процесс. (Смотри об этом статью Живы Бенчич 1995:185-196)

фрагментах, следующим образом описывается лучезарный взгляд богини воспоминания: „Мне представляется закрытые глаза и легкая, торжественная маленькая голова, чуть запрокинутая кверху. Это муза припоминания – легкая Мнемозина, старшая в хороводе. С легкого, хрупкого лица спадает маска забвения, проясняются черты; торжествует память – пусть ценою смерти: умереть значит вспомнить, вспомнить значит умереть... Вспомнить во что бы то ни стало! Побороть забвение – хотя бы это стоило смерти: вот девиз Скрябина, вот героическое устремление его искусства!" (МАНДЕЛЬШТАМ 1991/2:314)

Вячеслав Иванов подходит к культуре платонически: воздействующая на нас красота предмета это смутное воспоминание нашей душою первообраза (идеи) предмета, виденное душой до рождения. Свой вгляд на культурную память он выразил в связи с картиной *Terror antiquus* (*Древний ужас*) театрального декоратора Льва Бакста: "Мнемосина – Вечная Память: вот другое имя той преемственности общения в духе и силе между живущими и отошедшими, которую мы, люди овеществленного и разсеянного века, чтим под именем духовной культуры, не зная сами религиозных корней этого почитания. Культура – культ отошедших, и Вечная Память – душа ее жизни, соборной по преимуществу и основанной на предании" (ИВАНОВ 1909:393-394).

Перечисленные мнения единогласно утверждают: назначением культуры является память и борьба с забвением. Если забвение – смерть прошлого, то воспоминание – его воскрешение: побежденное время и побежденная смерть. Наиблагороднейшей целью всех искусств является борьба с забвением, культурной *амнезией* и *афазией*, воспоминание. Искусство сохраняет характер соперничества с Богом в созидательной деятельности. Художник, как "второй Бог", требует для себя право на творение, и с этим взаимосвязана проблема творчества "не человеческой рукой" в иконописи. Николай Бердяев обожествляет созидательный акт человека и даже не видит разницы между человеческим и абсолютно-божественным творением. По мнению Андрея Белого, искусство является демоническим подражанием сакральному творчеству. Флоренский предупреждал: человек имеет право на "творение не по сущности", а только на "творение по подобию" (ФЛОРЕНСКИЙ 1985:296). *Креационизм* (творение из ничего) является правом только одного Бога. Человек в лучшем случае способен к воспринятому подражанию в платоновском толковании, которое никогда не может быть совершенным, то есть *божественным мимезисом*. Ремесленник только копирует настоящее бытие идей в своем медиуме. Напрасно Пигмалион ваяет скульптуру женщины потрясающей красоты, он не может вызвать ее к жизни, на это способна только богиня Афродита. Напрасно человек лепит из красной глины фигуры по своему облику и подобию, имитируя

творение, вдохнуть жизнь в Голема может только Бог. Оба примера показывыают крайние пределы художественного творчества, в рамках которых человек может состязаться с Богом. Человек должен ограничивать свои желания, иначе переступит дозволенную ему черту и впадет в надмение (hübris), караемое богами. Темой многих мифов является расплата человека за стремление состязаться с богами. Даже нежные музы, богини искусств и наук, ослепили того, кто – будучи человеком – посмел с ними соперничать: певца Тюмариса (Thümaris). Произведение искусства появляется не в качестве некоего бытия, а в качестве существующего образа, как художественная созидательная деятельность, поэтому ему грозит опасность подражания подражанию, "троекратное отклонение от правды" (Платон). Поэт-демиург соперничает с Богом, использует слова таким образом, чтобы они превратились в магическое средство посвящения в мистерию: чтобы человек видел не "сквозь тусклое стекло, гадательно", "а лицем к лицу". Откровение истины подобно снятию покрывала с ковчега завета, с алтаря, когда показывается непостижимое и невысказываемое. Хайдеггер находчиво переводит греческое слово *aletheia* (истина) как "незапрятанность существующего" – "die Unverborgenheit des Seienden" (HEIDEGGER 1977:21). Истина накрыта покрывалом, задача искусства – снять его.

Старейшие культуры происходят из религиозного культа и долгое время развиваются в этом русле. Память утраченных культур сохраняется в форме религиозных "вкраплений". В культурах, не обладающих письменностью, важную роль играло сохранение традиций как поддерживание *коллективной памяти* данной общности. Не менее значительна роль и у культовых обрядов. Каждый народ почитает своей святой обязанностью сохранять преданность культу предков, быть "народом с памятью". Древнеегипетская культура является одной из самых религиознейших. Строительство пирамид воспринималось не как творение исскуства, а как ритуал, магическое действие, подстегиваемое желанием воскресения мертвых. Еврейский народ в акте памяти тысячелетиями оставался верным завету "помни!", берущему начало в культе предков. Связь прошлого с настоящим обеспечивалась передачей по наследству. "Я передаю так, я так слышал от своих учителей" (*Талмуд*). Христианская церковь получила задание вспоминать о Христе и его делах. Причащение (евхаристия) – мистерия превращения хлеба (просфоры) и вина – является ничем иным как памятью о Спасителе, душевное воссоединение с Христом. Спасение в вечности от обреченного на смерть бытия. Все действия литургии представляют собой *метафизическое воспоминание* о случившемся факте: "Сие творите в Мое воспоминание" (от Луки 22:19). Из преходящего профанного времени евхаристия переносит нас в сакральное время, которое не "течет": обратимо и воспроизводимо заново. Сакральное время онтологично, всегда идентично самому себе.

В библейском понимании божественная память означает дар вечной жизни. Быть забытым Богом равно смерти.[3] Христианство многое впитало и сохранило из ранних религиозных традиций. Случись иначе, непременно наступил бы психический раскол личности, а в конечном счете – потеря памяти.

Православная литургия изобилует траурными и поминовальными обрядами: на похоронах поют псалом *Вечная память*, служат *панихиду* за спасение души умершего, держат *сорокоуст*, после Пасхи посещают могилы и символически угощают умерших (*радуница*), упоминают в молитвах имена тех живых и мертвых, которых предлагают вечной памяти Бога (*имярек*) и т. п. *Смени траурное рыдание на похвальную песнь* – звучит песня на каждом похоронном обряде. Церкви и монастыри, возводимые над могилами отцов из чувства горя и траура вследствие их потери, служили и местом молитв о возвращении отцов из небытия в вечное бытие. Монастыри и церкви являются не только местом захоронения отцов, некрополем, но и местом воскресения. Божественная мудрость одерживает победу над смертью во вселенской церкви. Николай Федоров разделил искусства на две группы: профанные искусства "безжизненного подобия" и сакральные, святые искусства, являющиеся "проектами возрождения новой жизни". Сакральное произведение искусства отнюдь не мертвая копия действительности подобно безжизненной античной скульптуре, представляющая собой только имитацию творения (обозначая пределы, в рамках которых человек может соперничать с Богом); оно поддерживает жизнь и обладает магической силой. По мнению Федорова, со строительством христианских церквей начинается искусство более высокого качественного порядка. "Церковь не только подобие того, что есть, но и того, что *быть должно*, то есть не воображаемое, а истинное воскресение" (ФЕДОРОВ 1982:573).

Сакральная обязанность потомков – обожать и прославлять богов, героев и почивших великих предков; поддерживать их память и обновлять их учения на ритуальных обрядах, увековечивать их деяния в героических песнях. Античное искусство вплоть до эллинистической эпохи выполняло функциональную роль: посвященные богам подарки, памятники умершим. У египтян была письменность, но не было литературы, как у греков, которые смотрели на литературу как на возможность воспоминания прошлого и напоминания о нем. Героическая песня – культ мертвого героя. Добрая слава – жизнь поступка героя после его смерти. Доверенные памяти рапсодов деяния

---

[3] Один из повешенных злодеев сказал Иисусу: "помни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне ты будешь со мною в раю" (от Луки 23:42-43). Если Господь вспоминает нас, это – сам Рай, вечная жизнь.

отважного Ахиллеса и сметливого Одиссея веками воспевались слепыми менестрелями пока не были закреплены потомками на письме. В культурах, не обладавших письменностью, особая роль в поддерживании коллективной памяти принадлежала богине воспоминания. Поэты – свидетели прошлого, панегеристы старых времен, *laudatores tempores acti.* Книги, как сказал Мильтон, служат бальзамом гениям. Библиотека – обитель коллективной памяти. История – *vita memoriae* (Цицерон). Живопись – визуальная память: умозрение в красках и формах. Скульптура и архитектура – высеченная в камне память. И так далее. Даже имяборческий антииндивидуализм (onomatoclasmus) наркомов просвещения советской эпохи не мог уничтожить настойчивое стремление к сохранению вечной памяти человека; ведя борьбу против имяславия (глорификации имени), они прославляли вечную славу *безымянных* героев.

Прошлое существует только в памяти и никак иначе. Память постоянно увеличивает свой объем и отсеивает несущественное. Если нарушается пропорция между накоплением и сортировкой, наступает потеря памяти. Иероглифы Древнего Египта были недоступны для более поздних египетских поколений. Прошлое сохранилось не коллективной памятью, а только мертвой письменностью. Сокрытая в письменах история Египта тысячелетиями оставалась неразгаданной: все последующие поколения египтян ничего не знали о своем прошлом. Они двукратно потеряли время: когда то прошло и когда стерло их историю. В истории народов случаются периоды, когда для некоторых поколений прерывается связь с прошлым, когда те лишаются возможности принять информацию от своих предков: они теряют свою память. Разрывается звено в связующей поколения цепи. Не может быть более трагической ситуации для народа или отдельного человека, нежели *damnatio memoriae.* Об этом говорится в легенде о манкуртах в романе Айтматова *И дольше века длится день.*[4] Только тот народ сохраняет память, который способен создавать культуру, оберегать культурные ценности и наследовать их от предыдущих поколений. Наследование может осуществляться в материальной и нематериальной форме: в предметах домашней утвари, строительных сооружениях, творениях живописцев, религиозных ритуалах, праве, народных песнях и т. д.

Сохранение и передача "памяти" и "знаков" – святая наша обязанность перед предками. Пирамида, мавзолей, обелиск, монумент

---

[4] Манкурт – раб, которого азиатские варвары лишают памяти. На обритую голову жертвы натягивают свежеснятую верблюжью кожу. Высыхающая под палящими лучами солнца кожа стягивает обручем голову раба и навеки срастается с кожей его головы. Выживший под такими муками пленник забывает о своей национальной принадлежности. Не помнит ни своего детства, ни матери, ни прошлого.

хранят память об утрате лиц. Музей хранит память о вещественных потерях культа предков, делающих очевидным для нас то, что прошло. Предметы переживают человека, но сохраняют память о веянии эпохи, в которой были изготовлены. Сохранение традиций не исчерпывается захоронениями бренных останков, сохранением изъятых из употребления предметов, охраной памятников старины. Задача "памятников" (монументов) – воскрешение памяти об умерших, возвращение к жизни мертвых предметов. Их магическая цель возвратить, а не отнять жизнь. По словам русского философа прошлого века Николая Федорова, музей – сакральное, всеземное дело: *"не собрание вещей, а собор лиц"*. Он ставит Ницше в укор его непонимание истинной сущности музея и еще менее сущности кладбища. По словам немецкого философа, кладбище – "пространство дезинтеграции и забвения", а не возрождения и воскресения. Русский мыслитель видит роль кладбищ и погостов в сохранении до Воскресения останков усопших и памяти их личной деятельности. (На это намекает и общий этимологический корень слов *схоронить* и *сохранить*.) Основополагающая функция кладбищ *мнемотическая*. Они должны превратиться в музеи, то есть в такие учреждения, которые организовывают сохранение памяти на научной основе. Нового типа кладбища должны быть заполнены портретами и скульптурами умерших. Они должны стать центром деревенской жизни, местом общего бодрствования над могилами предков. Он не считал случайным общность этимологических корней слов *муза* и *музей*, поскольку цель обоих: сохранение памяти и поддержание жизни. Конечная цель – элиминирование смерти, "превращение смертных людей в бессмертных богов" (MASING-DELIC 1995:193). Сакральная цель поддерживания древнего культа заключается в завоевании бессмертия. Смертный человек всегда стремился к посмертному героическому статусу, в связи с чем получили распространение надгробные памятники и портретные изображения, хвалебные песни и т. п. В античных культурах настоящее значение и ценность имело только то, что нетленно: бальзамирование (мумификация) умерших, пирамиды, мавзолеи, святилища и т. п.

Культуру можно воспринимать и как постоянную борьбу за память, но воспоминание представляет из себя нечто большее, нежели просто краткое или длительное хранение в человеческом мозгу. Культура – саморегулирующийся, живой организм. Воспоминание хоть и является направленным в прошлое, но формирующим будущее механизмом. Прошлое не умирает, а воздействует на настоящее и будущее. Общая культурная и национальная память – сверхиндивидуальный интеллект – делает возможным в онтогенезе индивида прожить филогенез человечества. Охрана традиций должна переступить *(авто)биографическую память* и превратиться *в историческую память, в культурно-исторический факт*. Культура сохраняет не только личные, но и национальные и всемирно-исторические памятники

прошлого. От жизнеописания (от личной истории) писателю надобно дойти до сбережения коллективной исторической памяти.[5] Иначе он застрянет на уровне певца собственной жизни.

Двигателями биологического прогресса являются гены, общественного – идеи и мысли. Для поддержания биологического существования достаточно иметь необходимую информацию, чтобы с ее помощью получить определенные материальные блага, то есть *биологическую память*. Интеллектуальная память высшего порядка, гарантирующая постоянную преемственность между поколениями традиций культурного наследия, характерна только для человека. "Культура – совокупность ненаследственной информации, которую накопляют, хранят и передают разнообразные коллективы человеческого общества" (ЛОТМАН 1967:30). Накопление, сохранение и передача информации – жизненно важный закон. Передаваемую по наследству информацию наши предки вырезали на каменных плитах, глине, посуде, записывали на папирус, полоски бамбука, пергамент, увековечивали в устном народном творчестве. Наследники старались сохранить, распространить и размножить эту информацию. Когда объем человеческих знаний взрывообразно увеличился и мозг не способен был его вместить, человек уже не мог доверить сохранение информации коллективной памяти – фольклору. И вот тогда была изобретена письменность. Как это ни парадоксально, способность к памяти ослабла именно у тех людей, которые научились писать и читать.[6] Но выигрыш сопровождается потерями. Устная культура

---

[5] В *Шуме времени* Мандельштам пишет: "Память моя враждебна всему личному. Если бы от меня зависело, я бы только морщился, припоминая прошлое. Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями" (Мандельштам 1991/2:99) Относительно Аксакова Мандельштам прав, но сказанное им о Толстом требует дополнения. Не поднимись Толстой от автобиографической трилогии – личной памяти – до сохранения исторической памяти в *Войне и мире*, то действительно застрял бы на уровне *Детских годов Багрова-внука*.

[6] Фараон сказал изобретателю письма Тевту, что тот открыл средство не для укрепления, а ослабления памяти. "Когда же дошел черед до письмен, Тевт сказал: «Эта наука, царь, сделает египтян более мудрыми и памятливыми, так как найдено средство для памяти и мудрости». Царь же сказал: «Искуснейший Тевт, один способен порождать предметы искусства, а другой – судить, какая в них доля вреда или выгоды для тех, кто будет ими пользоваться. Вот и сейчас ты, отец письмен, из любви к ним придал им прямо противоположное значение. В души научившихся им они вселят забывчивость, так как будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашел средство не для памяти, а для

обладает преимуществом тренировки памяти и ее способности. Сущность устного народного творчества заключается в воспоминании: воспроизведение текста живым словом. Сохранение обеспечивается высокой организованностью текста, приданием ему ритмичности, афористичности и частенько даже зарифмованному с целью легкого запоминания и облегчения устного (пение, речитатив) распространения. (В Японии, например, вплоть до XVIII века текст свода законов имел стихотворную форму.) Устные предания постепенно были вытеснены письменными. С первым написанным словом началась история для человечества, служившего до тех пор для поддерживания постоянста памяти. Начало истории мы можем датировать возникновением желания письменной передачи по наследству и сохранения памяти. По предположению двух авторитетных русских математиков, глобальное распространение письменности стало возможным только с изобретением бумаги, поэтому вся "добумажная" эпоха истории культуры является сплошной позднейшей фальсификацией (ПОСТНИКОВ М. М. – ФОМЕНКО А. Т. 1980). Для накопления и передачи информации в течение тысячелетий наиболее подходящей оказалась письменность. Знание своего прошлого многими цивилизациями можно отнести скорее на счет их письменной деятельности, нежели вещественных памятников. Умеющие писать считались самыми уважаемыми в те времена, когда грамотность была явлением редким. Были народы, у которых *стилет* (палочка) и кисть почитались гораздо выше меча. Груда знаний закреплялась письменно, размещалась и хранилась в святилищах, библиотеках. "Столкновение Мойсея и Аарона, скрижалей первого, призванных дать народу новый механизм культурной памяти ("завет") и синкретического единство идола и ритуала (пляска), воплощающих старый тип хранения информации" (ЛОТМАН 1987:9). Для своих законов Моисею достаточно было двух каменных скрижалей. Нинивийская библиотека Ассурбанипала насчитывала уже сотню таких клинописных табличек. В Александрийском *Мусейоне* хранилось якобы полмиллиона папирусных свертков. Современные компьютеры способны накапливать многие миллиарды единиц информации (*bit*). Хранящие информацию материалы не всегда были устойчивы в поединке со временем. Разбивались каменные и глиняные плиты с нанесенными на них письменами; превращался в пыль папирус, пергамент поедался молью. Во времена войн уничтожались памятники архитектуры, грабились храмы, сжигались библиотеки. Процесс

припоминания.Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое знать понаслышке, без обучения, и будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве невеждами, людьми трудными для общения; они станут мнимомудрыми вместо мудрых»" (ПЛАТОН 1993:2/186).

просеивания характерен не только для времени, но и для власти, стремящейся приспособить и монополизировать культуру. Существует такое мнение, по которому библиотеки хранят не только и не столько плоды человеческой мудрости, но являются порою собраниями всевозможных заблуждений, противоречий и нелепостей. Для того, чтобы освободиться от мертвых традиции и ложных идей, время от времени появляется необходимость в сожжении библиотек, иконоборчестве. По легенде, подобным образом аргументировал калифа, приказавший поджечь александрийскую библиотеку: дескать, эти книги, как *Коран*, и, стало быть, – бесполезны или говорят не о том, что надо; словом, книги эти ложны и опасны. Диалог культур сменился монологом *Корана*.

В то время, как русские князья оспаривали великокняжеский титул, они вели борьбу и за овладение памятью. На то, что произошло в прошлом, то есть на историческую память, наложил право собственности царь. По своей прихоти он заставил переписать хроники, исходя из собственных интересов. Словом, царь хотел господствовать и над прошлым: "исправлял" и трансформировал память. Вся власть концентрировалась в одном городе, в руках одного владыки, включая и монополию духовной власти. Среди князей Владимир был еще *primus inter pares*, великие московские князья правили уже не на принципе *паритета*. С помощью летописей Иван III доказал "законность" овладения новгородскими землями. В ходе ливонской войны "Иван Грозный твердо и неоспоримо устанавливает на основании летописей, что Дерпт – русский город Юрьев, выстроенный в XI в. Ярославом Мудрым, носившим христианское имя Юрий" (ЛИХАЧЕВ 1962:96). Основавшие Москву цари подчинили получившее широкий размах летописание делу построения государства и создания империи. Альтернативных князей Москва не только присоединила (аннексировала), но и стремилась напрочь стереть их из истории. Это привело к формированию монокультуры. Только закрытые культуры монологичны, открытые же продолжают диалог с мировым культурным наследием.

В ходе культурной коммуникации классический канон просвещения постоянно переоценивается. Оценочная ориентация канонизирует определенных авторов и определенные произведения, исключая всех прочих. Воспоминание и забывание – понятия *коррелятивные*. В диалектике воспоминания-забывания последнее является не только потерей, но и условием обновления жизни. Только благодаря забыванию становится возможным полное обновление духа и приобретение им способности восприятия и хранения новой информации. Ничто не является таким постоянным, как изменение, в котором статическая и динамическая модели равноправны. „История уничтожения текстов, очищения от них резервов коллективной памяти идет параллельно с историей создания новых текстов." Проводя

параллель между модой и культурой, Юрий Лотман и Борис Успенский проливают свет на один из основополагающих механизмов культуры: на диалектику воспоминания и забывания, постоянства и изменения. "Мода всегда стремится к тому, чтобы стать нормой [...], но едва достигает относительной стабильности, приближающей ее к норме, как сразу же хочет вырваться из нее. [...] Необходимо постоянное обновление, чтобы оставаться самими собой и в то же время быть другими" (ЛОТМАН – УСПЕНСКИЙ 1971:150,161-162).

Ценностная иерархия воспоминания и забывания (разрыв с памятью) порою меняется местами. Имеются исторические эпохи, когда "воспоминание", то есть преданность к прошлому, может быть приравнено к невежественности, а "разрыв с памятью" может быть прогрессивным. Например, долгая жизнь китайской культуры стала возможной благодаря глубокому почитанию прошлого и приверженности к иероглифам. В то же время это колоссальное распространение общественной памяти становится преградой на пути развития внешних связей и торговли, что в конечном счете ведет к застою. Геронтократия направила подражание в прошлое и в Византии. Византия проявила в консервации бóльшую мудрость, нежели в созидании. Они не "развивали", а сохраняли традицию, которую передавали дальше как образец и догмат. Византийские ученые в течение тысячелетия читали и с муравьиной старательностью копировали античных классиков, но не опередили ни на шаг своих мастеров из древних времен – удивляется Эдуард Гиббон (1776-1778), замечательный английский историк XVIII века, византинолог. Упрек этот только отчасти уместен, потому что схоластики не только собирали, переписывали, но и перетолковывали, христианизировали античное наследие. Для того, чтобы основать новую культуру, необходимо иногда порвать с традицией, освободиться от чувства принадлежности к любому культурному наследию. Если поколение осознает свою идентичность только с точки зрения прошлого, его культура – традиция, потерявшая жизнеспособность; если же поколение выкорчевывает свои корни, погружается в утопические грезы. Геронтократы имеют только прошлое, утописты только представление о будущем.

Возникает вопрос: является ли культурное наследие прошлого благословением или балластом? Алексей Хомяков и Константин Леонтьев видят в византийском влиянии отнюдь не мертвый балласт прошлого; по мнению же Соловьева и Чаадаева, "византизм" чужд русской жизни. Развитие, переход на более высокий уровень представляют собой сложный и противоречивый процесс, в котором традиция играет важную, но не исключительную роль. Для своего расцвета та или иная культура в большей или меньшей степени нуждается в традиции. Однако в любом случае она получает это необходимое количество. Секрет развития в том, чтобы, двигаясь

вперед, брать на себя и весь груз прошлого. Развитие – продвижение вперед с оглядкой назад. Культурное наследие представляет собой "единственную ношу, которая не отягощает движение вперед, а облегчает его" (ЛИХАЧЕВ 1985:565). В другом понимании культурное наследство не только прогрессивная традиция: порою оно может оказаться балластом, поскольку не помогает, а тормозит движение вперед. Продвижение доступно только тому, кто не прикован к своему прошлому и памяти. Является ли каждая новая культура законопреступницей, поскольку несет с собой новый закон или же она чтит традицию? Внесение новых ценностей сопровождается отрицанием традиции или ее сохранением? Покинуть историю можно двумя способами: назад в прошлое и вперед в будущее. Один из примеров выхода за рамки европейской культуры – Америка. Другой пример показывает Россия. Один народ оторвался от европейской культуры, к которой другой народ подключился с опозданием. Обе культуры сравнительно поздно появились на исторической сцене. Обе нации считают себя молодыми и способными заново основать традицию. "Мы чересчур долго слушали элегантные музы Европы", – высказал Эмерсон мнение американцев и выразил надежду, что впервые в мировой истории родится мужественная нация ("we have listened too long to the courtly muses of Europe [...] A nation of men will for the first time." (UPDIKE 1983:107). Растеряв принесенную с собой из Старого мира культуру, американцы будто бы лишились на время памяти. О человеке американского типа Камю в книге *Бунтующий человек* сделал интересное замечание: мир американского романа принадлежит людям без памяти" ("le monde du roman américain est celui des hommes sans mémoire..." CAMUS 1951:333). Опасность лишения корней угрожает завоевателям чужих земель. Америка порвала с идеями Европы, с ее религиозными привычками, миром вкусов, но вскоре создала собственную прагматическую культуру, привычки и традиции, отличные от старушки Европы. Те писатели и деятели искусства, для которых неприемлима была утилитарная цивилизация Нового света, перебрались в Европу, лелеящую традиции высокой культуры: Генри Джемс, Эзра Паунд, Т. С. Элиот и др. Европа к середине XIX века не только для Нового Света, но и для России стала предметом религиозного культа, собранием музейных редкостей (пользуясь выражением Малро "lé musée imaginaire"), более того – кладбищем"[7] В

---

7 "Я хочу в Европу съездить, Алеша, отсюда и поеду; и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что! Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, – в то же время убежденный

чем кроется причина этой надоедливости Европой (Europamüde), ведь немного раньше Алексей Хомяков в своем стихотворении *Сон* назвал Европу "страной святых чудес"? В первую очередь в том, что, сохраняя традиции, Европа перепутала охрану живых традиций культуры с музейностью. В старушке Европе все отжившие свое время идеи, мертвые произведения искусства, лишенные пользы предметы были сданы в архив, музей-заповедник, галерею. "Древо знания" культивировалось, а "древо жизни" тем временем чахло. С охраной культуры наступает беда, если жизнеспособность памяти не поддерживается, а консервируется до степени мумификации.

По утверждению Андрея Битова, автора философского романа *Пушкинский дом*, русскую культуру тоже постигла музейность, ибо после революции она перестала развиваться (БИТОВ 1999). Павел Флоренский в написанной в 1918 году статье поднял голос в интересах сохранения живых традиций церковной культуры и предостерегает от того, чтобы монастыри были преобразованы в музеи-заповедники. Церковь в глазах верующего человека не саркофаг Бога, не украшенный мавзолей, служащий надгробным памятником, а живая традиция, "живая Библия", поэтому ее надо сохранять в оригинальном состоянии. Русский религиозный мыслитель Хомяков в письме к Бунсену называет Библию „писаной Церковью" и говорит о Церкви как о "живой Библии". Если религия зачахнет и вымрет вера, то оборвется традиция и вновь актуальным станет вопрос *безумного человека* Ницще: "Так что же представляют из себя церкви как не могильные плиты и усыпальницы Бога?" (NIETZSCHE 1988:482). Если преобразовать церкви и монастыри в музеи-заповедники, то культовые произведения искусства будут оторваны от естественного их окружения, от своей почвы, в которой глубоко укоренились, и тем самым они лишатся своего сакрального ореола. Выставленная в музее икона призывает не к молитве, а к любованию ею. Сохранеиение *экокультуры* монастырей или, иными словами "децентрадизация музеев, вынесение музея в жизнь и внесение жизни в музей" (ФЛОРЕНСКИЙ 1989:6) – вот истинная задача сохранения традиций, а не собирание редкостей для ценителей изящных искусств. Словам Флоренского, сказанным в защиту *Троице-Сергиевой Лавры*, власти не вняли. Андрей Синьявский в *Прогулках с Пушкиным* и Сергей Довлатов в *Заповеднике* подыгривают на тех же струнах, а именно, что советская власть старалась монополизировать классическое пушкинское наследие и превратить Михайловское (Пушкинские Горы) в музей-заповедник, в запрещенную духовную зону, куда вход только с специальным пропуском.

всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище и никак не более." (Достоевский 1972-1990:14/210)

Историю культуры можно описать также со стороны приобретений и потерь. Объяснение причины изменения, по крайней мере, такая же трудная и волнующая задача, как и исследование причины неизменности и постоянства. Истинный *прогресс* и истинное *сохранение* – родственные по своему значению слова. Каждая культурная ценность нова и традиционна одновременно, хотя более поздние поколения и подчеркивают свою привязанность к традиции. Все, что в культуре является ценностью, не пропадает бесследно: "то, что одними народами уже пережито, обдумано и отвергнуто, вдруг обнаруживается другими как самое новейшее слово" (СОЛЖЕНИЦЫН 1973:34-36). Потесненное однажды на задний план не выпадает навеки из человеческой памяти: погружается в *личное* или *коллективное бессознательное* (память нашего народа, расы, человечества), откуда рано или поздно может быть востребовано. Сны (мечты), представления памяти *déjà vu*, воспоминания восстанавливают забытое. Исчезнувшие цивилизации могут возродиться в форме ренессанса. Старое не уничтожается полностью, а продолжает жить в настоящем на уровне субкультуры. Вчера умирает в сегодня, сегодняшний день продолжает свою жизнь в завтрашнем. В духовном кровообращении каждого столетия присутствуют идеи предыдущего века. Культура является произведением истории, плодом коллективного труда: вновь пришедшим она не дается бесплатно. Ни один народ не сможет взять из сокровищницы культуры ничего, прежде чем сам не пройдет по пути творения. Наследство ничего не будет стоить, если потомки только копируют образцы. Ученик никогда не подымется над учителем, если видит в нем только идеал, а не конкурента. Необходимо отличать друг от друга традицию и наследие. Традиция – наследство лучших духовных ценностей, оставленных нам предками; наследие – возобладание движимым имуществом прадедов. Наследование традиций гораздо сложнее получения наследства. Можно передать по наследству "книжный шкаф предков", библиотеку; культуру нельзя. Так же, как невозможно вместе с мечом унаследовать героический дух. Культурное наследие необходимо усваивать, ассимилировать каждому поколению. „Was du ererbt von deinen Vätern hast, / Erwirb es, um es zu besitzen!"[8] (Goethe 1958-1959:I/23).

Литература

БЕЛЫЙ 1910: Белый, А., Символизм. Книга статей. Москва

---

8 "Что мне отец в наседство передал,/ Он собрал, чтоб использовать владенье." – перевод В. Брюсова (ГЕТЕ 1977:317).

Бенчич 1995: Бенчич, Ж., Предварительные замечания о категории памяти в творчестве Осипа Мандельштама. In: Slavica XXVII. Debrecen
Битов 1999: Битов, А., Пушкинский дом. Санкт-Петербург
Булгаков 1917: Булгаков, С. Н., Свет невечерний. Москва
Довлатов 1993: Довлатов, С., *Заповедник*. In: Собрание прозы в трех томах. СПб. т.1.
Иванов 1909: Иванов, Вяч., По звездам. С.-Петербург
Лихачев 1962: Лихачев, Д. С., Культура России времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого. (Конец XIV - начало XV в.) Москва-Ленинград
Лихачев 1985: Лихачев, Д. С., Прошлое – будущему. Статьи и очерки. Ленинград
Лотман 1967: Лотман, Ю. М., К проблеме типологии культуры. Тарту
Лотман 1987: Лотман, Ю. М.,Несколько мыслей о типологии культур. In: Языки культуры и проблемы переводимости. Москва
Лотман – Успенский 1971: Лотман, Ю. – Успенский, Б., О семантическом механизме культуры. Труды по знаковым системам V. Тарту
Мандельштам 1987: Мандельштам, О., Слово и культура. Москва
Мандельштам 1991: Мандельштам, О. Э., Собрание сочинений в четырех томах. Москва
Пастернак 1990 Пастернак, Б., Об искусстве. Москва
Постников – Фоменко 1980: Постников, М. М. – Фоменко, А. Т., Новые методики статистического анализа нарративно-цифрового материала древней истории. Москва
Розанов 1990: Розанов, В. В., Пол как прогрессия нисхожящих и восходящих величин. In: В. В. Розанов, Несовместимые контрасты жития. Москва
Шкловский 1990: Шкловский, В., Гамбургский счет. Москва
Соловьев 1909: Письма Владимира Сергеевича Соловьева.Санкт-Петербург
Соловьев 1911-1914: Соловьев, Вл. С., Собрание сочинений в X томах. С.-Петербург
Солженицын 1973: Солженицын, А., Нобелевская лекция по литературе 1970 года. München
Федоров 1982: Федоров, Н. Ф., Философия общего дела. Москва
Флоренский 1914: Флоренский, П., Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. Москва
Флоренский 1985: Флоренский, П., Собрание сочинений. Том 1. Статьи по искусству. Париж
Флоренский 1989: Флоренский, П. Храмовое действо, как синтез искусств. = Советская культура, 18 мая 1989 г.
Camus 1951: Camus, A., L'Homme révolté. Paris
Goethe 1958-1959: Goethe, J. W. Faust I-II. Berlin
Goethe 1977: И. В. Гете Избранные произведения. Минск
Heidegger 1977: Heidegger, M., Der Ursprung des Kunstwerkes. In: Martin Heidegger, Holzwege. Frankfurt am Main
Masing-Delic 1995: Masing-Delic, I., Fedorovian Resurrecting in Maksim Gorky's "The Cemetery". In: Christianity and the Eastern Slavs. Russian

Literature in Modern Times. Vol. III. California Slavic Studies XVIII. Ed. by Boris Gasparov, Robert P. Hughes, Irina Paperno and Olga Raevsky-Hughes. University of California Press. Berkeley, Los Angeles, London

MATICH 1994: Matich, O., The Merezhkovsky's Third Testament and the Russian Utopian Tradition. In: Christianity and the Eastern Slavs. Russian Culture in Modern Times. Vol. II. California Slavic Studies XVII. Ed. by Robert P. Hughes and Irina Paperno. University of California Press. Berkeley, Los Angeles, London

NIETZSCHE 1988: Nietzsche, Friedrich Die Fröhliche Wissenschaft. In: Friedrich Nietzsche Kritische Studienausgabe 3. München, Berlin, New York.

PLATÓN 1993: Платон, Федр. В кн.: Собрание сочинений в четырех томах. Москва. Изд. "Мысль". Общая ред.: А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, Ф. Ф. Тахо-Годи. Перевод с древнегреческого: С. А. Ананьина, С. К. Апта, Т. В. Васильевой и др. (Перевод *Федра* А. М. Егунова)

UPDIKE 1983: Updike, J., Hugging the Shore. Essays and Criticism by John Updike. New York

Culture as Memory

Summary

The role of memory is crucial to preserving and handling down culture. Inherited infornation, i.e. *biological memory*, is sufficient for the maintanence of animal life. *Intellectual memory*, which is exclusively humane, is of higher quality and ensures that cultural traditions will be passed from generation to generation. The main task of culture is to keep memory alive and to fight against forgetfulness. The fight against cultural *amnesia* and *aphasia*, i.e. memory, is the primary aim of all cultic, rituals and art. Poets are witnesses to old times: *laodatores tempores acti*. A heroic poem is the hero's cult of the dead. Fame is the aftermath of deed. Painting is visual memory. Architecture and sculpture are memories engraved in stone. History is *vita memoriae*. Each act in liturgy is *metaphisical recollection* of a fact "Do this in remembrance of me" (Luke 22:19). The preservation of traditions should, however, go beyond *(auto)biographic memory* (personal history): it must become *collective historical memory*, or a fact of cultural history. Culture preserves as present not only the memories of the individual but also those of national and universal pasts. In the "memories" of culture there is a constant feeling of temporal successiveness, the presence of the past in the moment, the intrusion of historical diachrony into synchrony.

The author sets himself the aim of examining the struggle of Russian culture for memory from the point of view of the philosophy of art.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS

SLAVICA XXX, 93-114 2000 DEBRECEN

Игровые аспекты русского авангарда

Ж. БЕНЧИЧ

1.

Наблюдая процессы, называемые обычно "играми", от игры воды до шахмат, от игры в куклы до раскладывания пасьянса, от маскарада до игры в кости, я без колебаний согласилась бы с посылкой Людвига Виттгенштейна о том, что во всех этих процессах невозможно выделить то, что должно быть для них общим – если принять во внимание их принадлежность к одному понятию (1969:70). Использование одного и того же слова для обозначения феноменов, не образующих класса в полном смысле слова, оправдано по Виттгенштейну тем, что среди различных типов игр существует сложная сеть сходств, пронизывающих друг друга и перекрещивающихся наподобие сходств между членами одной семьи (фигура, черты лица, цвет глаз, пол, темперамент и т.п.). Игры, как указывает Виттгенштейн, образуют одно семейство. Это значит, что если одна игра похожа на другую, а другая на третью, то эта третья не обязательно должна иметь нечто общее с первой. Другими словами, они образуют целое не на основании некоторой общей сущности, а на основе "семейного сходства" (71).

Как же тогда объяснить, что такое игра? "Думаю, что мы опишем игры, – говорит Виттгенштейн – а к описанию добавим: 'это и подобное этому называется играми'" (72). Понятие игры, таким образом, не является ясно очерченным, а границы его не строги, поскольку неизвестно с точностью, "что все еще игра, а что уже больше не игра" (72). Но это обстоятельство тем не менее никогда не мешало нам правильно употреблять само слово. Если кого-нибудь удивляет, как можно что-либо знать, но одновременно с этим быть не в состоянии объяснить, пусть вспомнит Св. Августина, который в *Исповедях* говорит о времени то же самое, что мы могли бы сказать и

об игре: "Если меня никто не спрашивает – я знаю, если по требованию кого-нибудь хочу это объяснить – то не знаю" (1983:263).

Игра, судя по всему, не поддается строгим и точным определениям, которые были бы приложимы ко всем ее формам проявления, в одинаковой мере точно определяя их разнородный характер. И все же, поскольку мой интерес ограничивается игрой как эстетической проблемой и меня в частности интересует, возможно ли, а если да, то в какой мере, провозгласить игрой искусство русского авангарда, я надеюсь, что с меньшим риском буду балансировать между дескриптивным уровнем исследования и обобщениями.

Искусство с игрой связывал еще Платон в рамках своей критики поэзии. Греческий философ, правда, занимаясь этим отношением, большее внимание уделял искусству и его роли в полноте духовной жизни, нежели самой игре. О платоновской концепции игры мы поэтому можем судить не столько на основании его отрывочных, а местами и противоречивых высказываний об этом сложном феномене, сколько на основе его упреков искусству, которое он, судя по всему, понимал именно как репрезентативную форму, то есть как подтип игры (ФИНК 1960:89-124). Термин игра (*paidia*) Платон применяет ко всем тем миметическим искусствам, от которых, по его мнению, нет никакой иной пользы, помимо удовольствия (*Законы,* 2,667). Поскольку критерием ценности является не удовольствие, а истина, то понятие игры у греческого философа отягощено главным образом отрицательными коннотациями. Хуля художников за их равнодушие к вопросам истины, Платон, к примеру, говорит: "О вещах, которым он подражает, наш подражатель не знает ничего такого, что стоило бы упомянуть; подражание – это игра, а не серьезное занятие" (*Государство,* 10,602). И далее: "Подражание относится к тому, что занимает третье место после истины» (там же). Утверждение о том, что искусство как мастерство (*techne),* основывающееся на подражании (*mimesis*) втройне удалено от истины, становится яснее в рамках платоновской ступенчатой картины мира, которая, напомним, различает три онтологических уровня: на самом высоком уровне – единственно реальном и истинном – находятся идеи или формы вещей; по ним формируется второй уровень совокупного бытия – материальная действительность. Миметические искусства, которые как зеркало дают лишь отражения земных вещей, принадлежат к третьему, самому низкому уровню, а их продукты, вследствие своей удаленности от мира идей и полной зависимости от искусственного мира, можно назвать лишь отражениями отражений, «кажущимся, а не тем, что действиельно есть»" (*Государство*, 10,599).

Когда Платон называет искусство игрой, тогда лишает его какой бы то ни было серьезности, а его творческий потенциал минимализирует и ограничивает сферой воображаемого. Однако, одновременно с этим греческий философ не может пройти мимо того факта, что искусство,

являясь игрой, вызывает немалое удовольствие, более того, имеет "чудодейственную силу" (*Государство,* 10,601) и "волшебное воздействие" (*Государство*, 10,607) на человеческие эмоции. Поэтому его можно использовать в воспитательных целях, так что когда оно основательно очистится от нежелательных мест, главным образом от безответственных писаний о богах, душе и загробной жизни, оно сможет побуждать всех членов общества к разумной и праведной жизни. Только в таком контексте можно понять рекомендацию Платона проводить жизнь в как можно более прекрасных играх, так как человек, "жертвуя, исполняя песню и танец" (*Законы,* 7,803), завоевывает наклонность богов – а это, разумеется, серьезное и похвальное дело.

Платон на долгое время определил направление размышления об искусстве и игре. Во всяком случае у него, как замечает Финк, "игра связывается с прекрасным, прекрасное с игрой, а то и другое становится прообразом истины, относясь к этой истинной истине как мнимость к бытию" (1960:112).

Заслуга фундаментальной переоценки понятия игры и продвижения его в одну из центральных эстетических категорий принадлежит Шиллеру и его *Письмам об эстетическом воспитании человека* (1793-94). Создавая свое произведение под впечатлением устрашающих известий о революционном терроре во Франции, Шиллер пытался ответить на вопрос, как человека, оказавшегося морально недостойным великих исторических событий, вывести из рабства в свободу, из физического государства необходимости в моральное государство закона. Основное его положение состоит в том, что "любое улучшение в политической области должно исходить из облагораживания характера" (9 письмо, 1966:26), т.е. условием приобретения политической свободы является моральное совершенствование человека. Пытаясь в своих письмах отыскать путь к полной человечности, Шиллер именно в игре и ее высшем проявлении – искусстве – находит средство "облагораживания". Дело в том, что, согласно Шиллеру, человеческая природа есть поприще двух противоположных инстинктов. Первый – чувственный инстинкт (*Stofftrieb*), который "исходит из человеческого физического существования или из его чувственной природы, стремясь поместить человека во временные рамки и сделать его материей" (12 письмо, 37). Второй инстинкт, инстинкт формы (*Formtrieb*), "исходит из абсолютного человеческого существа или из его разумной природы" (12 письмо, 38), упорядочивая впечатления, полученные от чувственного инстинкта. Поскольку первый инстинкт оказывает на человека физическое давление, а второй – моральное, то совокупное развитие человеческой личности обеспечивает лишь третий инстинкт, инстинкт игры (*Spieltrieb*). Он уравновешивает противоположные тенденции материи и духа, освобождая человека как от "гнета

ощущений", так и от "гнета ума" (14 письмо, 44-45). Как достигнутая гармония между чувственным инстинктом и инстинктом формы, он проявляется в сфере прекрасного, из которой, судя по всему, исключаются игры в обыденном, повседневном значении этого слова (ср. 15 письмо). Поскольку предметом чувственного инстинкта является жизнь, а предметом инстинкта формы – образ, предмет инстинкта игры можно назвать *живым образом* (*lebende Gestalt*). "Это – понятие, которое служит в качестве обозначения всех эстетических свойств явлений, одним словом, всего того, что в самом широком смысле называется прекрасным" (15 письмо, 45).

Шиллер свою концепцию игры строил большей частью в ходе полемики с учением Канта, которое чувственную сторону человеческой природы недвусмысленно подчиняет сверхчувственной. *Письма об эстетическом воспитании*, напротив, основываются на том утверждении, что эти две стороны совершенно равноправны, и в гармонично развитой личности ни одна из них не может преобладать над другой. Однако, когда необходимо объяснить генезис инстинкта игры, Шиллер, совершенно в духе трансцендентального дуализма Канта, ссылается на примат ума: "Из трансцендентальных причин, - пишет он в 15 письме – ум выставляет требование: должно существовать единство между инстинктом формы и чувственным инстинктом, т.е. должен существовать инстинкт игры, поскольку лишь единство реальности и формы, случая и необходимости, страдания и свободы делает понятие человеческого существа полным"(46).

Недоумение вызывает и утверждение Шиллера о том, что инстинкт игры есть требование, предъявляемое умом каждому человеку, и тому, кто создает прекрасное, и тому, кто его лишь наблюдает. Содержание понятия игры меняется, таким образом, в зависимости от того, кто "играет" – художник или обычный человек. Правда, и тот и другой, находясь в эстетическом состоянии "незаинтересованности и свободы духа" (22 письмо, 67), осуществляют – каждый по своему – тот же идеал человечности. И все же игра как синоним творческого процесса будет иметь другие атрибуты, отличные от остальных типов игр. По Шиллеру, который местами все еще расправляется с точкой зрения Платона, она вообще не миметичная, а творческая, поскольку действительность служит ей лишь материалом, а не образцом; она одновременно и глубоко истинна, так как невосприимчива к человеческому самоволию, находясь в соответствии с творческими законами природы (ср. 9 письмо).

Несмотря на некоторые неясности и недосказанность, Шиллер, по остроумному замечанию К.Е.Гильберт и Х.Куна, доказал больше, чем намеревался доказать. Игра и ее предмет – прекрасное на первый взгляд лишь преходящее мгновение в продвижении человека из физического в моральное состояние. Однако это преходящее мгновение как "равновесие и гармония сил само по себе есть исполнение"

(ГИЛЬБЕРТ, КУН 1969:305). Эстетическое состояние, в котором развивается инстинкт игры, Шиллер, собственно говоря, ставит не только выше физического, но и морального состояния, так как "именно игра и только игра есть то, что делает человека цельным и сразу развивает его двойственную природу" (15 письмо, 48). Это, конечно же, не значит, что немецкий поэт совершенно отбрасывает этический принцип – но он недвусмысленно отбрасывает строгий морализм Канта, который все ценности, включая прекрасное, сводит к этическому уровню.

С Шиллера во всяком случае начинается процесс отделения эстетического аспекта игры от этического, что в течение 19 века и в 20 веке постепенно приведет к абсолютизации первого и минимализации второго, т.е. к полному распаду греческого идеала "калокагатии" "прекрасной доброты" (ФИЛИПОВИЧ 1984:163; КОВАТЦКИ 1973:59). Правда, произведение Шиллера находится в самом начале вышеупомянутого процесса, который достигает своего апогея лишь в артистической метафизике Ницше и его осмыслении феномена художественной игры по ту сторону истины и лжи, пользы и вреда, добра и зла. "Недостойно философа, – заявляет, к примеру, Ницше – что доброе и прекрасное одно и то же: если б он прибавил и истинное, его следовало бы высечь. Истина некрасива. У нас есть искусство для того, чтоб нам не пропасть из-за истины" (1956б:832). Дело в том, что мир в своей "истине" жесток, бессмыслен и потому невыносим. Он не может оправдываться ни моральной, ни научной интерпретацией, а только эстетической, то есть как эстетический феномен, как произведение "аморального Бого-художника" (1983б:13), который в строительстве и в разрушении, в добре и зле освобождается от несчастия обилия и изобилия, страдания от противоположностей, накопившихся в нем, который, коротко говоря, освобождается лишь в обмане прекрасной мнимости.

Только у Ницше, для которого в отличие от Платона или Шиллера мир не основывается на моральном порядке и разумном принципе, художественная игра не может более служить идее истины и добра. Другими словами, она перестает пониматься как своеобразная форма труда. Дело в том, что и Платон и Шиллер, подчеркивая воспитательную функцию художественной игры, ищут ее конечную цель не в ней самой, а – так же, как и в случае любого другого вида труда – за пределами ее границ: по их мнению, она, правда, не служит удовлетворению первичных жизненных потребностей, но, поощряя духовное развитие человека, преследует высшие, нематериальные цели и тем самым приносит общественную пользу. В противоположность этому Ницше в своем радикальном бунте против исходной позиции западной метафизики о преимуществе духовных ценностей по отношению к жизни утверждает, "что вся эта художественная комедия вообще разыгрывается не для нас, и не для того, чтобы мы, может

быть, стали лучше и образованнее" (1983a:44). Впрочем, продолжает он, что мы вообще знаем об искусстве? Наше знание о нем совершенно иллюзорно, «потому что мы как знатоки не составялем единства и не являемся идентичными с тем существом, которое, как единственный творец и зритель этой комедии искусства, устраивает для себя вечное наслаждение. Гений лишь столько знает о вечной сущности искусства, насколько ему удается слиться с прахудожником мира в акте художественного творчества" (44).

Итак, по Ницше человек в своем художественном инстинкте является лишь отражением или же проводником художественного инстинкта праоснов мира. Это творчество праоснов Ницше, опираясь на философов досократовского времени, прежде всего на Гераклита и его учение о мирообразующей силе огня, определяет именно как игру. Игра, таким образом, поднимается до космического принципа, с которым игра художника или ребенка находятся в самой глубокой аналогии. Знаменитый 5 фрагмент Гераклита (Время мира */aion/* - это ребенок, который играет, перекладывая камешки – царство ребенка) Ницше комментирует следующими словами: "становление и исчезновение, созидание и разрушение, без какой бы то ни было моральной ответственности, в вечной постоянной невинности – в мире этим обладает лишь игра художника и ребенка. И точно так же, как играют ребенок и художник – играет и вечно живущий огонь, невинно созидает и разрушает; в эту игру играет и Эон с самим собой" (1956a:36). Мысль о том, что мир – невинная игра и как таковой не подлежит моральному разбору и рациональному объяснению, постоянно занимает философию Ницше. В его первой книге (*Рождение трагедии из духа музыки*, 1872) игра представлена как постоянная борьба двух эстетических и одновременно с этим космических принципов: Диониса – Бога опьянения, т.е. безликого, всерождающего и всепоглощающего праединства мира, и Аполлона – Бога сна и индивидуации, который, производя ясные и разъединенные образы, создает обманчивую и непостоянную, но прекрасную многоликость бытия. И позднее, когда Ницше понятие дионисийского принципа распространил до основной мировой силы, включающей в себя и принцип Аполлона, или когда для обозначения основного жизненного импульса он ввел понятие "стремления к мощи", мир остался для него "игрой Диониса", "игрой воли с самой собой" или же – как указано в его посмертно опубликованном наследии – "игрой сил и волн силы, одновременно Единым и Многим, накапливающимся здесь и одновременно убывающим там, морем сил, самих в себе бурлящих и неистовствующих, вечно меняющихся, вечно возвращающихся..." (1956б:916). Эта игра, в которой рождаются и исчезают миры, не имеет ни начала, ни конца, ни смысла, ни цели – она проходит по ту сторону добра и зла.

"У Ницше, – утверждает его интерпретатор Е.Финк – человеческая игра, игра ребенка и художника становится ключом к пониманию универсума, становится космической метафорой" (1981:230). Интуиция Ницше, однако, – жалуется Финк – не выливается в разработанную понятийную систему, но тем не менее, хотя великий философ не оставил нам определения человеческой игры – которой мы в первую очередь интересуемся – из всего того, что он написал на данную тему, ясно различаются две ее основные характеристики. Она свободная и творческая. С одной стороны, она свободна от обязанности служить устоявшимся, фиктивным, чуждым жизни и навязанным извне ценностям, и с другой - она, подчиняясь лишь собственным правилам (ср. 1979:39), свободна для создания новых ценностей. Для Ницше, таким образом, художник, относясь ко всем вещам непринужденно, т.е. без благоговения, ощущения вины или интеллектуальных предрассудков, является прежде всего свободным творцом. При этом по точному замечанию Финка "творец· означает не человека труда, а того, кто занимается творческой игрой" (1981:92).

Понятие игры насчитывает более 2500 лет, а история ее дробится на множество различных дисциплин. Именно поэтому в рамках небольшой статьи ее развитие невозможно описать подробно. Я ограничилась описанием понятий игры у Платона, Шиллера и Ницше, поскольку эти мыслители отчетливее всех отстаивают тезис об игровом характере искусства; кроме того, само понятие в их произведениях переживает коренные и глубокие перемены в значении. Не касаясь многих других, не менее значительных имен, я окончу свой обзор Ницше, так как его концепция игры, кажется, совершила решающий поворот к тем значениям понятия, в которых оно бытует и в настоящее время. Как деятельность автономная и самоцеленаправленная, свободная от интересов и норм повседневной жизни, как деятельность, для которой вопросы истинности и морального эффекта не являются существенными – игра и в интересующий нас период, т.е. в начале 20 века нередко воспринимается как синоним художественной деятельности, а это значит, деятельности, недвусмысленно и ясно отделенной от сферы труда.

2.

Русские авангардисты зачастую, хотя и не всегда последовательно и систематично, осмысливают творческий процесс под углом зрения игры. *Принципы нового искусства* (1912) В. Маркова, например, местами звучат почти по-гераклитовски. Игра, как обосновывает молодой художник, заставляет нас забыть непосредственное утилитарное предназначение вещей, а художник, реализуя принципы свободного творчества, имеет право на игру со всеми доступными ему мирами: как с миром объектов, так и с миром форм, линий, красок и света. Он имеет право свободно играть этими мирами как ребенок,

играющий камешками (1976:30). На сходной линии восприятия искусства стоит и О. Мандельштам, который в своем неоконченном эссе *Пушкин и Скрябин* (1915) утверждает: "Вся наша двухтысячелетняя культура, благодаря чудесной милости христианства, есть отпущение мира на свободу для игры..." (2:315). Искусство для Мандельштама, поскольку «никакая необходимость, даже самая высокая, не омрачает его светлой внутренней свободы», не что иное, как "радостное богообщение, как бы игра Отца с детьми, жмурки и прятки духа!" (2:315). Интересно, что и В. Маяковский, отстаивавший после Революции противоположные взгляды, в начале своего творческого пути воспринимал искусство как деятельность, которая входит именно в область игры, в область, существенно отличающуюся от труда и потому комплементарную ему. "Город, напоив машины тысячами лошадиных сил, впервые дал возможность удовлетворить материальные потребности мира в какие-нибудь 6-7 часов ежедневного труда, – пишет он в статье 1913 года *Театр, кинематограф, футуризм* – а интенсивность, напряженность современной жизни вызвали громадную необходимость в свободной игре познавательных способностей, каковой является искусство" (1:275-276).

Во всех трех указанных примерах – хотя подобных им можно привести множество – недостает понятийного определения игры; но вместе с тем упорно подчеркивается свобода, как основной ее атрибут. О какой свободе, собственно говоря, идет речь? О свободе от чего, о свободе во имя чего? – могли бы задать мы вопрос под влиянием речи Ницше о трех преобразованиях духа, о верблюде, льве и ребенке из *Заратустры*. Верблюд в этой речи является метафорой тяглового духа, который падает на колени перед высокими задачами, покоряясь обязанности моральных законов и добровольно принимая тяжкую ношу. Лев – дальнейшая фаза духовного перевоплощения, наступающая в тот момент, когда дух стремится добыть свободу и стать хозяином в собственной пустыне. Приказу "Ты обязан!" он противопоставляет свое святое "Нет" обязанности, свое "Я хочу!". Сила льва, однако, освобождая человека от груза старых ценностей, оказывается недостаточной для создания новых ценностей. "Для игры созидания, друзья мои, говорит Заратустра, необходимо святое произнесение Да" (1980:25), для этого необходимо, чтобы лев стал ребенком. Ребенок, таким образом, является последним преображением духа, он есть "невинность и забвение, постоянное начинание, игра, колесо, вращающееся само собой, первое движение, святое произнесение Да" (24).

Русских авангардистов, имея в виду типологию духа Ницше, в момент их вступления на литературную сцену, можно было бы сравнить и со львом и с ребенком. Разрушительная, нигилистическая свобода льва снимает с них бремя действительности в двух смыслах:

бремя векового, освященного традицией миметизма с одной стороны, и бремя служения "реальным" внеэстетическим целям – с другой. Только в рамках этой новоприобретенной двойной автономии авангардисты могут открыть простор для творческой свободы ребенка. Она им теперь позволяет создавать новый поэтический язык посредством свободного, необремененного нормами и запрещениями, игрового обращения с речевым материалом. А именно на строительство нового поэтического языка, который будет резко отличаться как от поэтического языка предшественников, так и от практического языка повседневного общения, русские авангардисты и направляют вначале большую часть своих поэтических усилий. При этом "слово как таковое", "самовитое слово" или же "слово-самоцель" (МАЯКОВСКИЙ 1:297) будет зачастую рождаться в игре.

Это прежде всего заметно в инфантилистских экспериментах русского авангарда, то есть в тех случаях, в которых художник непосредственно подражает словесным играм ребенка. О различительных признаках детской речи я подробнее писала в других работах (ср. БЕНЧИЧ 1987 и 1996). Здесь я лишь ограничилась бы замечанием, что речь ребенка отличается от речи взрослых главным образом тем, что в ней экспрессивная, апеллятивная и прежде всего игровая функции преобладают над изобразительной. Уже на третьем месяце жизни ребенок начинает произносить длинные серии отдельных звуков или слогов, интонированных сходным образом, лишенных смысла, основанных на определенном фонетическом, интонационном и ритмическом образце. Эти звуковые серии, называемые обычно в научной литературе лепетом (*Lallen, Babbling*), не выражают ни непосредственных потребностей ребенка, ни его чувств; они возникают в радости чистой игры именно для того и только для того, чтобы быть произнесенными. Самоцеленаправленность описанной деятельности и способность вызвать у ребенка удовольствие из-за становящейся все более умелой манипуляции звуковым материалом, - являются функциями, приближающими лепет игре, а также "зачаточным формам искусства", "эстетическому употреблению языка" (ЛЬЮИС 1936:54).

Согласно специфическим чертам этой ранней фазы детской речи, отмеченной полным отсутствием изобразительной и наличием ярко выраженной игровой функции, моделируются некоторые существенные свойства так называемого заумного языка. Впрочем, размышления о сходстве заумного языка с детской речью мы встречаем в теоретических работах самих футуристов, напр. у Крученых (*Заумный язык у Сейфуллиной, Вс. Иванова, Л.Леонова, И.Бабеля, И.Сельвинского, А.Веселого и др.*, 1925), а также в работах русских формалистов, напр. у Л.Якубинского (*Откуда берутся стихи*, 1921) или В.Шкловского (*О поэзии и заумном языке,* 1916). Во всяком случае, во многих радикально заумных текстах легко узнается фонетическо-ритмическая структура детского лепета:

хо
ео
ро

го
чо
ро

ча
га
ра

со
бо
ро

(КРУЧЕНЫХ 1973:216).

Важно еще добавить, что самоцеленаправленное, лишенное референциальных ценностей, периодическое повторение того же звука или слога вызывает не только слуховое, но и кинестетическое удовольствие. Этот "своеобразный балет органов речи" (Шкловский 1923:9) напоминает способ, которым и ребенок, лепеча, играет своим речевым аппаратом точно так же, как играет руками и ногами (Бюлер 1921:204).

Из перспективы русских авангардистов, желающих освободить поэтический текст от его "подчиненности смыслу" (КРУЧЕНЫХ 1967:65), интерес представляют и высказывания детей более старшего возраста, так как пристрастие ребенка к игре ярко проявляется и во время усвоения им слов родного языка и составления из них более крупных единиц значения. По Фрейду, ребенок на этой стадии развития предпочитает тот тип игры, который временно освобождает его от натиска критического ума. Такой тип игры, с помощью которого ребенок ломает навязанные ему ограничения в употреблении стандартного языка, Фрейд называет "наслаждением бессмыслицей" (*"Die Lust am Unsinn"*, 1984:129), которое он находит у ребенка либо в намеренной деформации и обессмысливании отдельных слов, либо в разнообразных алогичных способах сочетаний слов, основанных не на их смысловой смежности, а на их материально-звуковом сходстве. О своем праве нарушать грамматические, синтаксические нормы и правила правописания, авангардисты заявляют еще в своих манифестах (ср. *Садок суд*ей 2, 1913; Крученых, *Новые пути слова*, 1913); право это они активно осуществляют и в литературной практике (ср. Крученых, *Учитесь худоги*, 1917; *Малохолия в капоте*, 1918). Но даже в тех случаях, в которых отсутствуют значительные языковые неправильности или разложение слов, к примеру, в двустишии Хлебникова:

Наш кочень очень озабочен:
нож отточен точен очень
(Нп:141)

изобразительная функция до некоторой степени нейтрализуется игровым, ритмическим потоком фонетического материала, то есть соединением лексических единиц главным образом по критерию звукового родства, а не смыслового контигвитета.

И, наконец, необходимо упомянуть, что футуристы брали за образец детское игровое использование речевых знаков при решении еще одной важной задачи своей поэтической программы, при *словотворчестве*, то есть при обновлении поэтического языка созданием новых слов. Многие футуристические стихотворения большей частью не что иное как последовательный ряд неологизмов. Вот один из примеров из сборника Елены *Гуро Небесные верблюжат*а:

Жил был
Ботик-животик
Воркотик
Дуратик
Котик пушатик,
Пушончик,
Беловатик
Кошуратик
Потасик.
(121)

Приведенные неологизмы, поскольку они возникли в результате аналогизирования, напоминают способ, по которому ребенок, свободно нарушая лексические правила, расширяет свой запас слов. Неправильное или необычное словообразование, типичное для речи ребенка дошкольного возраста, ясно указывает на то, что ребенок усваивает новые языковые формы не только в рабочем процессе учебы, но и занимаясь созданием новых слов по аналогии с известными (Бюлер 1921:215-220). Футуристическое *словотворчество* очень часто следует за инфантильной техникой игрового комбинирования известной корневой семантемы и продуктивного словообразовательного суффикса по существующему языковому образцу.

Авангардисты, однако, проникают в игровое измерение не только тогда, когда имитируют языковые игры ребенка. Значительную часть их экспериментирования, собственно говоря, можно было бы охватить понятием *ludus* в том смысле, в каком его употребялет Р. Кайоа в книге *Игры и люди*. Для этого ученого все игры подлежат грубой классификации на два основных типа. Первый тип это *paidia* – "первичная мощь импровизации и веселости", а второй – *ludus* – "желание необязательных трудностей" (1965:59). Все игры, короче

говоря, развиваются между двумя противоположными альтернативами: между наслаждением безудержной спонтанностью и разнузданностью с одной стороны и придерживанием строгих правил – с другой. Добровольное самоограничение, характерное для чистого лудуса, Кайоа объясняет удовольствием, которое человек испытывает после преодоления какой-либо намеренно созданной трудности, произвольно определенной, но такой, что сам факт ее преодоления не приносит никакой другой пользы кроме личного удовольствия от успешного решения (61). Когда речь идет о русских футуристах, то их прибегание к лудусу мотивировано, конечно же, и чисто эстетическими причинами. Строгие правила игры интересны для них прежде всего потому, что они обеспечивают разграничение их деятельности от не-игры, в данном случае от практического языка. Они, кроме того, создают условия, в которых намного легче чем в практическом языке можно опробовать сопротивление языкового материала (ср. МАЯКОВСКИЙ 12:24), а это является одной из главных амбиций раннеавангардистских поэтических лабораторий. Другими словами, лудус не берет в расчет принцип экономичности, характерный для совокупной сферы труда, в которую входит и язык повседневного общения. Даже наоборот, он отягощает и навязывает самый длинный, самый труднопреодолимый путь к цели. Пользуясь формулировкой Шкловского мы могли бы установить, что лудус дает ясный пример принципа неэкономичности, принципа "затрудненной формы, увеличивающей трудность и долготу восприятия" (1982:82).

В авангардистской поэзии довольно большое место занимала вначале игра с чувственно-перцептивной, означающей стороной языка, т.е. с его визуальным и акустическим потенциалом.

В качестве ярких примеров визуального лудуса могли бы послужить фигуральные стихотворения Д.Бурлюка и В.Каменского, которые своей графической формой, т.е. имитацией какого-нибудь предмета или геометрической формы, наглядно иллюстрируют тему. *Carmina figurata* появляются в европейской литературе еще в античные времена, большой популярностью пользуются у писателей позднего Возрождения и барокко, а в 20 веке интерес к этому типу визуальной игры возрождает до некоторой степени Аполлинар в своих *Calligrammes* (1918). Личным изобретением Бурлюка можно считать его так называемую "железнодорожную поэзию" (МАРКОВ 1968:175), в которой посредством особого расположения строк и строф схематически показано волнообразное движение поезда (ср. *Первый журнал русских футуристов*, 1914:42,44,45). Подобных правил игры придерживается по описанию Н.Харджиева и поэма *Полет Василия Каменского на аэроплане в Варшаве*, которая "построена по принципу удлиненного треугольника, завершающегося одной буквой ·и· с точкой вверху (указание автора: –читать снизу вверх·). Это построение

мотивировано темой взлета – перспективным сокращением аэроплана, превращающегося постепенно в точку" (ХАРДЖИЕВ, ТРЕНИН 1970:38).

Элементы лудуса до некоторой степени содержат и *железобетонные поэмы* Каменского, разделенные ровными чертами на сегменты неодинаковых размеров, в которые вписываются ассоциативно связанные слова, части слов, отдельные буквы, математические знаки, числа и чертежи. Искренно говоря, для описания и экзегезы таких произведений, которые испытывают границу между искусством живописи и словесным искусством, потребовалась бы отдельная работа (ср. интерпретацию железобетонной поэмы *Константинополь*, которую на основании разговора с автором опубликовал А. ШЕМШУРИН в сборнике *Стрелец*, 1915:165-170; ср. также НИКОЛЬСКАЯ 1987:114-116; МАРКОВ 1968:196-199). Здесь необходимо напомнить, что некоторые из упомянутых поэм, благодаря интенсивности графического экспериментирования, вошли в состав выставки группы Ларионова "Но 4" (1914) наравне с другими художественными экспонатами.

И все же, когда речь идет о переносе правил игры из искусства живописи в область поэзии гораздо более интересными и эстетически более тонкими являются некоторые произведения раннего Маяковского. К примеру, его известное и часто цитированное стихотворение *Из улицы в улицу*, которое К.Малевич объявляет "наиболее удачным опытом стихотворного кубизма" (ХАРДЖИЕВ, ТРЕНИН:398):

У-
лица.
Лица
У
догов
годов
рез-
че.
Че-
рез
железных коней
с окон бегущих домов
прыгнули первые кубы.
(1:38).

Прием "сдвига слогоразделов" (ШЕМШУРИН 1913:5), то есть прием разбивания слов на части, которые перегруппировкой образуют новые смысловые целые, Крученых также недвусмысленно связывает с основными тенденциями кубофутуризма в живописи. "Живописцы будетляне, – пишет он в брошюре *Слово как таковое* (1913), которая

подписана и Хлебниковым – любят пользоваться частями тел, разрезами, а будетляне речетворцы разрубленными словами, полусловами и их причудливыми сочетаниями (заумный язык)" (1969:82). С таким же правом можно было бы, правда, утверждать и то, что в футуристической *сдвигологии*, в которой с переменным успехом опробовали свои силы почти все участники литературного кубофутуризма, уцелела традиция гораздо более старой словесной игры – традиция анаграммы (ХАНЗЕН-ЛЁВЕ 1985). Древнейшие примеры анаграммной перестановки букв имеются еще у греческого лирика Ликофрона Халкидского (3 в. до н.э.); в средневековый период прием этот не только часто использовали, но и придавали ему религиозно-магическое значение, а о его не прекращающейся популярности в 17 веке свидетельствует и тот факт, что Луи XIII имел своего "королевского анаграмматика" (ЖИВКОВИЧ 1986:20).

В родственную группу языковых игр следует включить и палиндром (*versus cancrini*), который остается неизменным и тогда, когда его читают в обратном порядке, то есть справа налево. Эту античную по происхождению фигуру, широко распространенную в славянских литературах с 16 века и позднее, среди авангардистских поэтов наиболее последовательно использует Хлебников. Его поэма *Разин*, к примеру, состоит из 400 палиндромных строк, а стихотворение *Перевертень* с подзаголовком "Куски кум мук и скук" – из семнадцати. Крученых, намекая судя по всему, на палиндром, как на кубистское открытие, комментирует этот прием следующими словами: "Мы рассекли объект! Мы стали видеть мир насквозь. Мы научились следить мир с конца, нас радует это обратное движение (относительно слова мы заметили, что его можно читать с конца и тогда оно получает более глубокий смысл!)" (1967:71).

Игра со звуковой стороной поэтического языка занимает авангардистов в такой же степени, в какой и игра с ее визуальными возможностями. И звуковой лудус принес интересные плоды – там, где он опирался на древние приемы эвфонической организации лирического текста. Я имею в виду в частности игру рифмой у Бурлюка, особенно так называемой "передней" рифмой, при которой рифмуются начала строк. Приведем один такой пример, в котором фронтальная рифма первых двух строк дополнительно сочетается с фигурой традукции, фигурой уравнивания звукового материала слов различного значения:

А к островам прибьет ладья
А кос трава и лад и я
А ладан вечера монах
А ладно сумрак на волнах
(*Требник троих* 1913: 73).

Среди обычных и относительно частых форм звуковых игр у авангардистов на первом месте стоят липограмматические или же панграмматические строки, встречающиеся еще в период поздней античности, в которых отсутствуют или же концентрируются определенные звуки. Е.Р. Курциус приводит пример Нестора Ларандского из Ликии (3 в.), который составил *Илиаду* таким образом, что в отдельных книгах каждый раз пропускал по одному звуку. Вершину же панграмматической изощренности достиг согласно Курциусу Хухбальд в своей эклоге о плешивости, посвященной Карлу Плешивому, в которой каждое слово – в честь короля – начинается буквой "С" (1971:289-290). Что же касается футуристов, то липограмматические структуры в изобилии встречаются среди стихотворений, которые Давид Бурлюк включил в коллективный сборник *Дохлая луна* (1913), указав на них на всякий случай еще в заглавии каждой отдельной вещи (*Без Н*; *Без Р и С*; *Без А*; *Без Р* и вновь *Без Р и С*).

В авангардистской поэзии, однако, лучше представлены панграмматические структуры: в меньшей степени те, что основываются на правиле начинания каждого слова той же гласной (ср. *Ю* В. Каменского), и исключительно богато – с начальной согласной. Я вновь обращусь за примером к лирике Бурлюка, скажем, к его стихотворению *Лето* из *Первого журнала русских футуристов*, которое во многом характерно для футуристического подхода к консонантизму:

Ленивой лани ласки лепестков
Любви лучей лука
Листок летит лиловый лягунов… и т.д.

л = нежность, ласка, плавность, лето, блеск, плеск и т.д. (43-44).

В цитируемом стихотворении, как мы видим, параллельно с десемантизацией более крупных единиц значения – слов и предложений – растет семантический заряд согласного «л». Символическое значение, приписываемое ему, могло бы при этом остаться совершенно непонятным, если б оно не сопровождалось непосредственным комментарием.

Русские авангардисты вообще часто подкрепляли свои звуковые и главным образом заумные эксперименты теоретическими выкладками. Хлебников, к примеру, в своих парафилологических размышлениях о семантической валентности отдельных звуков приходит к выводу, что "первая согласная простого слова управляет всем словом – приказывает остальным" (5:253). И все же, привести хлебниковское более или менее панграмматическое стихотворение *Перун* в одном ряду с *Летом* Бурлюка, значило бы оставить без внимания специфику его лудуса. Дело в том, что указанное стихотворение невозможно понять в

отрыве от многолетнего труда поэта над созданием универсального "звездного языка" (ср. Ораич 1984) или же "азбуки ума" (ср. Соливетти 1985), труда, исходящего именно из предположения о том, сто "слова, начатые одной и той же согласной, объединяются одним и тем же понятием и как бы летят с разных сторон в одну и ту же точку рассудка" (5:236). В стихотворении Хлебникова, таким образом, начинание слова с одной и той же согласной обременено сильной и ясно обозначенной предимманентной целью: найти "основные единицы азбучных истин" (5:228) и на основании этих единиц азбуки открыть единство всех мировых языков (2:9). Если бы поэту действительно удалось создать язык, на котором бы могли общаться все народы мира, тогда его поэзию мы не осмелились бы назвать игрой, а говорили бы о ней как о труде. Впрочем, и сам он свои усилия на этом поприще оценивал как "общезвездный труд" (5:220).

На ранней стадии русского футуризма, однако, Хлебников, подобно другим членам группы *Гилея,* занимается главным образом вопросом поэтического языка, вопросом "самовитого слова, вне быта и жизненных польз" (2:9). Его лудус, рассматриваемый в данном контексте, кажется специфическим, поскольку никогда не ограничивается лишь ощутительными, несемантическими компонентами текстовой структуры. Хлебников, по точному замечанию Тынянова, "перенес в поэзии центр тяжести с вопросов о звучании на вопрос о смысле" (1965292). Из-за недостатка места упомяну лишь некоторые из правил, по которым развертывается хлебниковская поэтическая игра, к примеру, игра, связанная с морфологическими категориями (*словотворчество*), где вклад поэта в русский авангард действительно был колоссальным и единственным в своем роде. Это прежде всего простое правило, вдохновленное риторической фигурой парегменона, по которому все слова текста – и стандартные, и новообразованные – должны состоять из того же корня. На этом принципе основывается программное стихотворение Хлебникова *Заклятие смехом* или же прозаический отрывок *Любхо*, содержащий несколько сот производных от корня *люб.* Приведу несколько предложений:

> Любеж прилюбязи как прилюба онязанна от любвейших любви. Любьем любильем залюбован. Он любвейник, любвей. (4:317-318).

Одинаково часто встречается в стихотворениях Хлебникова и нанизывание неологизмов, в которых меняется только основа, в то время как суффикс остается прежним:

> Тебе поем родун!
> Тебе поем бывун!
> Тебе поем радун!
> Тебе поем ведун!

Тебе поем седун!
Тебе поем владун!
Тебе поем колдун!
(2: 271).

Следует, однако, упомянуть, что хлебниковскую игру грамматическими аналогиями, хотя она и напоминает детскую склонность к аналогизированию, редко можно считать чисто инфантилистской. Это чаще всего не позволяет ее семантическая комплексность, которая достигается или введением необычных основ, образованных, к примеру, из имени собственного:

О достоевскиймо бегущей тучи!
О пушкиноты млеющего дня!
(2: 89).

или же использованием непродуктивных, то есть архаических суффиксов, таких, как, например, древнерусское *ирь*:

Смертирей беззыбких пляска,
Времирей узывных сказка.
(Н.П.: 92).

И, наконец, Хлебникову не чужда игра псевдограмматическими категориями, до которых он доходит главным образом произвольной семантизацией фонемы, т.е. превращением фонемы в псевдо-морфему. Так, для поэта в словах с одинаковыми согласными фонемами различные гласные получают значения падежных окончаний (*внутренее склонение*). "Лес есть дательный падеж, лысый – родительный, утверждает Хлебников. – Как и в других случаях *е* и *ы* суть доказательства разных падежей одной и той же основы. Место, где исчезнул лес, зовется лысиной. Также бык есть то, откуда следует ждать удара, а бок то место, куда следует направить удар" (5:172). Плодом таких лингвистических систем являются и нижеследующие строки, которые я привожу по воспоминаниям В. Маяковского (12: 24):

Леса лысы
Леса обезлосили. Леса обезлисили.

Заканчивая анализ, я хотела бы подчеркнуть следующее: поэтическая игра Хлебникова не является игрой в большей степени нежели игра Бурлюка или Крученых, хотя из-за высокой эстетической ценности и самобытности ее можно считать в большей степени поэтической. Механизм этой игры, однако, в любом лудистском тексте русского авангарда остается одинаковым: освободить, дать возможность заговорить "глухонемым пластам языка" (ХЛЕБНИКОВ 5:229), привести в действие такие возможности языка, которые не

могли бы реализоваться в повседневном общении. Дело в том, что игра – это "основной способ человеческого обхождения с возможным и воображаемым", - как это удачно определяет Е. Финк (1984:295). Она отрывает человека от фактичности, от неумолимого "так – должно – быть" и открывает ему доступ к возможному как таковому, к тому, что может быть (292). Другими словами, посредством игры проявляется то, что не могло быть проявлено посредством труда, то, что потенциально существует, но не доходит до эпифании в наших серьезных жизненных делах. Достаточно вспомнить пример, приведенный Л. Якубинским в работе *Скопление одинаковых плавных в практическом и поэтическом языках* (1917), чтобы убедиться, что раннеавангардистский дуализм между практическим и поэтическим языками наиболее целесообразно рассматривать в аналогии с оппозицией игра – труд. Только в поэтическом языке, как показывает Якубинский, возможно нечто, что избегается или оказывается невозможным в практической речи, – в частности, нагромождение плавных (*р* и *л*) или других труднопроизносимых групп согласных. Сходным образом высказывается и Г.Винокур по поводу языкового новаторства В.Маяковского: "То, что живет в языке подспудной жизнью, чего нет в текущей речи, но дано как намек в системе языка, прорывается наружу в подобных явлениях языкового новаторства, превращающего потенциальное в актуальное" (1967:15). Именно в превращении потенциального в актуальное заключается основной смысл художественной игры.

Лудизм русских авангардистов, правда, не исчерпывается только их игрой определенными компонентами текстовой структуры, а распространяется и на их поведение – к примеру, на их яркое раскрашивание и экстравагантную одежду, на их склонность к провокациям и скандалам в общественных местах, к их саморекламированию и т.п. (ср. НИКОЛЬСКАЯ 1990). И все же уже на основании сделанного анализа можно попытаться ответить на вопрос, поставленный в начале данной статьи: можно ли отождествлять литературу русского авангарда с игрой? Ответ может быть утвердительным только в том случае, когда речь идет о раннем русском авангарде, еще не обремененном вопросом о своей общественной полезности и вообще о своей включенности в общественные процессы. Как деятельность, которая придерживается своих внутренних рамок и осуществляется не по каузально-финальной логике, а по своим собственным, произвольно определенным правилам, как деятельность, которая в области собственной автономии свободно испытывает скрытые возможности художественного выражения, она действительно походит на игру.

После 1917 года авангардистское искусство в своем стремлении трансцендировать сферу "прекрасной мнимости", как сказал бы Шиллер, и оказать влияние на оформление самой жизни, все дальше отходит от игры, приближаясь к труду. Правда, еще Шиллер в

Письмах об эстетическом воспитании человека отстаивал мысль о реорганизации жизни по меркам искусства (ср. 15 письмо), но авангардисты радикализировали эту идею до такой степени, что поставили под вопрос – конечно же скорее в теоретическом плане, нежели в художественной практике – и саму границу между эстетическим и утилитарно-практическим. Для Н.Чужака, одного из теоретиков, группировавшихся вокруг журнала *Леф*, искусство, к примеру, является "методом строения жизни" (1923: 36), "производством нужных классу и человечеству ценностей (вещей)" (38). Более осторожный С. Третьяков наряду с максималистской программой постреволюционного футуризма, которая по нему сводится к всеобщему "растворению искусства в жизни" (1923:202), выдвигает и "программу-минимум" – "постановку своего языкового мастерства на службу практическим задачам дня" (202). Лефовские авангардисты, во всяком случае, встав на сторону революции, могут осмысливать свою деятельность только в терминах служения и труда, но ни в коем случае не игры; так что теперь – если снова прибегнуть к терминологии Ницше – они походят более на навьюченного верблюда, нежели на игривого ребенка. Характерны в этом смысле некоторые замечания С. Третьякова, из которых видно, что дилемму между обязанностью и игрой футуристы решили в пользу обязанности – обязанности художника всеми своими силами участвовать в строительстве лучшей и более справедливой жизни. "Не будь революции, футуризм легко выродился бы в игрушничество" (197), – писал Третьяков – а футуристы – "в словесных эквилибристов, жонглеров" (195). После революции, однако, их основной задачей стало "заставлять пегасов возить тяжелые вьюки практических обязанностей агит и пропаг-работы. Внутри искусства вести работу, разлагающую его самодовлеющую позицию" (200). Если творческий процесс – это производство, "мастерское делание вещи полезной и целесообразной" (197), то "работник искусства должен стать психо-инженером, психо-конструктором" (202), считает Третьяков, антиципируя своим размышлением знаменитую сталинскую характеристику писателей как инженеров человеческих душ, данную им в 1932 году.

И Маяковский в таком же духе будет утверждать, что художник – "Мастер-исполнитель социального заказа", а «словесная работа – не эстетическая самоцель, а лаборатория для наилучшего выражения фактов современности» (Маяковский, Брик 1923:41). Способ, которым поэт несколько лет спустя будет описывать свою работу над стихами (*Как делать стихи*, 1926), служит еще одним доказательством того, что постреволюционный футуризм полностью подчинился рационалитету средств и цели или же императиву обязанности и труда. Вот пример, приведенный Маяковским:

"Социальное задание – дать слова для песен идущим на питерский фронт красноармейцам. Целевая установка – разбить Юденича. Материал – слова солдатского лексикона. Орудия производства – огрызок карандаша. Прием – рифмованная частушка. Результат:

Милкой мне в подарок бурка
и носки подарены.
Мчит Юденич с Петербурга,
как наскипидаренный."
(12: 86-87)

Отказываясь от собственной автономии во имя служения новому миру, находя свои цели уже не в себе самом, а в жизненной практике, показывая не то, что может быть, а то, что должно быть, авангардистское искусство постреволюционного периода в самом себе стерло именно пространство игры.

Литература

Бурлюк 1913: Бурлюк, Д., *Требник троих.* Москва, 71-86.

Бурлюк 1913: Бурлюк, Д., *Дохлая луна*, Москва, 99-119.

Бурлюк 1914: Бурлюк, Д., *Футуристы: Первый журнал русских футуристов*, 1-2, Москва, 33-46.

Гуро 1914: Гуро, Е., *Небесные верблюжата.* Петербург

Чужак 1923: Чужак, Н.Ф., *Под знаком жизнестроения.* Леф, 1-2, 12-39.

Хлебников 1968-1972: Хлебников, В., *Собрание сочинений* 1-4. Мюнхен (перепечатка *Собрания произведений* 1-5, 1928-1933, М.-Л. и *Неизданных произведений*, 1940, Москва)

Каменский 1914: Каменский, В., *Футуристы: Первый журнал русских футуристов.* Ном. 1-2, Москва, 25-31.

Каменский 1914:Каменский, В., *Танго с коровами.* Москва.

Крученых 1967: Крученых, А., *Новые пути слова. Манифесты и программы русских футуристов* (ред. В.Марков). Мюнхен

Крученых, Хлебников 1969: Крученых, А., Хлебников, В., *Слово как таковое.* In: Литературные манифесты. От символизма к Октябрю. Том 1 (ред. E. Eimermacher), Мюнхен.

Крученых Крученых, А., 1973. *Избранное*, Мюнхен.

Мандельштам 1967-1971: Мандельштам, О., *Собрание сочинений в трех томах* (под ред. Г.П.Струве и Б.А. Филиппова). Вашингтон – Нью-Йорк

Марков 1976: Марков, В., *The Principles of the New Art.* In: Russian Art of the Avant-Garde. Theory and Criticism (ed. and transl. J.Bowlt), New-York

Маяковский, Брик 1923: Маяковский, В., Брик, О., *Наша словесная работа.* In: Леф. Ном. 1-2, 40-41.

МАЯКОВСКИЙ 1955-1961: Маяковский, В., *Полное собрание сочинений в тринадцати томах.* Москва
ШЕМШУРИН 1913: Шемшурин, А., *Футуризм в стихах В.Брюсова.* Москва
ШЕМШУРИН 1915: Шемшурин, А., *Железобетонная поэма. Стрелец.* Петроград, 165-170.
ШКЛОВСКИЙ 1923: Шкловский, В., *Литература и кинематограф.* Берлин
ШКЛОВСКИЙ 1982: Шкловский, В., *Искусство как прием.* In: Поэтика (Д. Кирай – А.Ковач), Будапешт.
ТРЕТЬЯКОВ 1923: Третьяков, С., *Откуда и куда*, In: Леф. Ном. 1-2, 192-203.
ТЫНЯНОВ 1965: Тынянов, Ю., *О Хлебникове.* In: Проблема стихотворного языка, Москва
ВИНОКУР 1967: Винокур, О., *Маяковский – Новатор языка.* Мюнхен
AUGUSTIN 1983: Augustin, A., *Ispovjesti.* Zagreb: Kršćanska sadašnjost
BENČIĆ 1987: Benčić, Ž., *Инфантилизм.* In: Russian Literature XXI-I, 1 January 1987, 11-24.
BENČIĆ 1996: Benčić, Ž., *Инфантильное как эстетическая и этическая категории.* In: Russian Literature XL-I, 1 July 1996, 1-17.
BÜHLER 1921: Bühler, K., *Die geistige Entwicklung des Kindes*, Jena
CALLOIS 1965: Callois, R., *Igre i ljudi.* Beograd
CURTIUS 1971: Curtius, E.R., *Evropska književnost i latinsko srednjovjekovlje.* Zagreb
FILIPOVIĆ 1984: Filipović, V. (Ред.), *Filozofijski rječnik.* Zagreb
FINK 1960: Fink, E., *Spiel als Weltsymbol.* Stuttgart
FINK 1981: Fink, E., *Nietzscheova filozofija.* Zagreb
FINK 1984: Fink, E., *Osnovni fenomeni ljudskog postojanja.* Beograd
FREUD 1984: Freud, S., *Dosetka i njen odnos prema nesvesnom.* Novi Sad
GILBERT, KUHN 1969: Gilbert, K.E., Kuhn, H., *Istorija estetike.* Sarajevo
HANSEN-LÖVE 1985: Hansen-Löve, A., *Pomak (sdvig).* In: Pojmovnik ruske avangarde 3, (Flaker, A., Ugrešić, D.), Zagreb
ХАРДЖИЕВ, ТРЕНИН 1970: Харджиев, Н., Тренин, В., *Поэтическая культура Маяковского.* Москва
KOWATZKI 1973: Kowatzki, I., 1973. *Der Begriff des Spiels als ästhetisches Phänomen.* Bern und Frankfurt/M.
LEWIS 1936: Lewis, M., 1936. *Infant Speech.* London
MARKOV 1968: Markov, Vl., *Russian Futurism*, Berkeley
Nietzsche, F., 1956a. *Die Philosophie in der tragischen Zeitalter der Griechen*, *Werke in drei Bänden* (Schlechta, K.), Dritter Band, München: Carl Hanser Verlag.
NIETZSCHE 1956b: Nietzsche, F., *Aus dem Nachlass der Achtzigerjahre.* In: Werke in drei Bänden (Schlechta, K.), Dritter Band, München
NIETZSCHE 1980: Nietzsche, F., *Tako je govorio Zaratustra.* Zagreb
NIETZSCHE 1983a: Nietzsche, F., *Rođenje tragedije.* Zagreb
NIETZSCHE 1983b: Nietzsche, F., *Pokušaj samokritike*, â: *Rođenje tragedije*, Zagreb
NIKOLJSKAJA 1987: Nikoljskaja, T., *V.Kamenski.* In: Pojmovnik ruske avangarde 5. (Flaker, A., Ugrešić, D.), Zagreb

NIKOLJSKAJA 1990: Nikoljskaja, T., *Teatralizacija ħivota.* In: Pojmovnik ruske avangarde 8. (Flaker, A., Ugrešić, D.), Zagreb
ORAIŻ 1984: Oraiż, D., *Zvjezdani jezik.* In: Pojmovnik ruske avangarde 1. (Flaker, A., Ugrešić, D.), Zagreb
PLATON 1974: Platon, *Zakoni.* Zagreb
PLATON 1983: Platon, *Država.* Beograd
SCHILLER 1966: Schiller, F., *Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen,* In: *Theoretische Schriften* (Fricke, G.), Dritter Teil, München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
SOLIVETTI 1985: Solivetti, C., *«Azbuka uma» Velimira Hljebnjikova.* In: Pojmovnik ruske avangarde 3, (Flaker, A., Ugrešić, D.), Zagreb
WITTGENSTEIN 1969: Wittgenstein, L., *Filozofska istraživanja,* Beograd: Nolit

Play Aspects of the Russian Avant-garde
Summary

An attempt is made to answer the question whether the literature of the Russian avant-garde may be identified with play, if play stands for an activity which exists for its own purpose, which is autonomous, freed from the interests and norms of everyday life and unambiguosly separated from the sphere of work. The answer to this question can be affirmative only in the case of the early Russian avant-garde, which was not burdened with the probleme of its own social utility and its participation in the social processes in general. As an activity which resided within its own confines, following its own, arbitrarily established rules, as an activity, which inside the limits of its autonomy freely experimented with all the concealed possibilities of the artistic expression – it endeed resembled play. However, following 1917, the avant-garde stopped looking for its aims within itself, but found them in serving the new order, thus erasing its own internal room for play. As a result, it could perceive and intellectually organise itself only in terms of duty and work.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS

SLAVICA XXX, 115-131 2000 DEBRECEN

Сочетание мотивов искусства и природы в ранних стихотворениях Осипа Мандельштама (1909-1911)

Кс. Голуб

Первый сборник стихотворений Осипа Мандельштама *Камень* вышел в свет впервые в марте 1913 года, потом, в расширенном и переработанном виде в конце 1915 года. Первое издание сборника заключало в себе стихи, написанные в годы 1908-1913, значит стихотворный плод первого периода творчества поэта. Его состав представляет собой результат сознательного отбора, в последовательности стихотворений вырисовывается ступенчатое развитие в образной системе стихов. Выход книги связан с возникновением литературного течения, называющего себя акмеизмом, которое формировалось в недрах группировки *Цеха поэтов*. Мандельштам присоединяется к *Цеху* в 1911 году, и вскоре сам становится преданным поклонником и представителем поэтических принципов, сформулированных членами *Цеха* к 1912 году.[1] Это событие инспирировало в нем идею выпуска сборника стихов. Изменение первоначального названия точно указывает на все более сознательный характер редакции[2], и на стремление поэта назначить свой сборник программным произведением нового течения. Общеизвестен факт, что Мандельштам первоначально задумал свою книгу под названием *Раковина*, и только непосредственно перед выходом переименовал ее в *Камень*.[3] В то время как первоначальный

---

[1] МЕЦ 1990:277-278.

[2] Ср.: "*Камень* был результатом сознательного и в то же время рационально продуманного творческого отбора". (Мусатов 1991:247)

[3] МЕЦ 1990:279. См. еще сообщение Р.Д. Тименчика, in: Памятные книжные

вариант повторил бы заглавие одного из стихотворений, занимающего центральное место в сборнике, но своей образной структурой примыкающей к символистской традиции, название *Камень* уже акцентирует "эмблему" акмеистической поэзии. Изменение названия книги, таким образом, ввело совершенно иные акценты в смысловую структуру сборника, так как указывая на конечную точку преобразований в поэтическом мышлении Мандельштама, как бы выявило ступенчатый характер этого развития. Вследствие этого, сущностью книги и периода *Камня* оказалось представление логики пути, ведущего к акмеизму. (Некоторые исследователи отмечают анаграмматичность слова "камень", которая могла мотивироваться этимологической основой, созданной греческим словом "акмэ".)[4] Существенное отличие издания 1916 года от первого издания заключается в том, что оно содержит 16 ранних, датируемых 1908-1912 годами стихотворений, этим самым восстанавливая равновесие между доакмеистическим и акмеистическим периодами творчества.[5] В ранней лирике Мандельштама смысловая логика пути, пройденного от символизма к акмеизму также вырисовывается в плане изменений, которые происходят в подходе к темам искусства и художественного творчества.

Как уже упоминалось, период *Камня* может осмысляться как путь поэта к акмеизму. Тот же самый путь можно осмыслить и как путь, ведущий к культуре, к мировой истории человечества.[6] По этой дороге Мандельштам находит творческое самоутверждение, обретает язык для формулировки собственных поэтических принципов.[7] Только вследствие этого он может окончательно убедиться в оправдании смысла художественного творчества, которое впоследствии превратится для него чуть ли не единственным синонимом существования. Становление этих поэтических принципов Мандельштама также обнаруживается в стихотворениях *Камня* на примере образов произведений искусства и творческой деятельности.

В критической литературе сложилось общепринятое мнение о

даты. М., 1988. 186.

[4] МЕЦ 1990:279. См. еще: Ронен 1973:368.

[5] МЕЦ 1990:281.

[6] В.В. Мусатов, разбирая формирование творческой личности раннего Мандельштама с точки зрения литературных традиций, устанавливает: "От натурфилософской тютчевской темы Мандельштам перебрасывает мост к историософской, пушкинской, синтетизируя то, что в свое время не удалось русским символистам – тютчевскую и пушкинскую традиции." (МУСАТОВ 1992:78)

[7] "В /ранней/ лирике происходит осознание поэтом себя в отношении к высшему и беспредельному" (КАНТОР 1991:61).

разделении ранней лирики Мандельштама на два периода, границей которых является 1912 год – год провозглашения художественной программы акмеизма.[8] Такая периодизация внушалась самим сборником, то есть она каким-то образом совпала с творческим намерением Мандельштама-акмеиста.[9] Такая логика разделения стихотворений, подчеркивающая смену культурных парадигм "символизм-акмеизм", однако, представляет поэтическую продукцию доакмеистического периода как нерасчлененное единство без внутренних цезур. Такой подход к внутренней периодизации раннего поэтического творчества Мандельштама на наш взгляд является недостаточно аргументированным. Тем не менее, среди современников поэта нашелся чуткий читатель, который с заслуживающей нашего внимания тонкостью ощутил различные оттенки, звучания внутри сборника. Поэтесса София Парнок, чей сборник под названием *Стихотворения* вышел в том же 1916 году, пишет рецензию на *Камень* в 4-5 номере *Северных записок*.[10] В ней она намечает три этапа творческого пути Мандельштама, который она называет "путем самоутверждения": "Вначале поэт глядит, еще не созерцая, его поэзия – поэзия пяти чувств (...) К этому периоду относятся очаровательные natures mort'ы *На бледно-голубой эмали*, (...). Мысль о смерти знаменует начало второго, переходного периода. Сомнение в действительности себя (...) устремляет поэта ко всему конкретному, ко всему, что подтверждает реальность существования мира и тем самым, человеческого я. (...) ... необходимо, следовательно, утвердить всякое свидетельство жизни минувшей и нынешней, (...). И вот третий этап творческого пути поэта. Под знаком смерти жизнь обретает болезненную значительность. Становится разительным участие в образах поэта не только вещей, но и имен собственных – Батюшков, Дюма, Верлэн, Себастиан Бах, (...), Бетховен, Флобер, Золя, Гомер, Расин, – целый ряд прекрасных, неопроверженных конкретностей, говорящих поэту о реальности мира и, тем самым, его собственной души."[11]

При рассмотрении образов искусства в поэзии Мандельштама мы

---

[8] Некоторые формулируют эту же периодизацию чуть иначе. Е. Кантор, например, называет уже ранние стихи "манифестами акмеизма"; а стихи, помещенные во втором разделе *Камня* "собственно-акмеистическими стихотворениями". (КАНТОР 1991:68)

[9] В.В. Мусатов о продуманном отборе стихотворений *Камня*: "Это был путь сознательного построения собственной творческой личности...". (МУСАТОВ 1992:73)

[10] Камень 1990:230-232.

[11] Камень 1990:230-232.

можем исходить из трех приведенных этапов творческого пути поэта, хотя следует добавить, что первые два этапа, как нам представляется, проявились параллельно и в тесной взаимосвязи друг с другом. В данной работе мы обратимся к этим, доакмеистическим стихотворениям, и попытаемся внимательно проследить в них образы, соотносимые прямо или косвенно с темой искусства. Как нам кажется, стихи, датируемые годами 1908-1911 с точки зрения изучения образов искусства целесообразно разделить также на три группы стихов, которые однако не полностью соответствуют типологическому разделению, предложенному в рецензии С. Парнок. К первой группе можно отнести стихотворения, вырастающие из описания природы, ко второй, стихотворения, условно называемые нами "стихотворениями-натюрмортами", а к третьей, стихотворения, для которых характерны образы нового вида искусства, а именно образы музыки. Настоящая работа ставит себе целью рассмотреть первую выделенную выше типологическую группу ранних стихов Мандельштама. Особым предметом нашего внимания оказываются три вопроса: вопрос о разных видах произведений искусства, представленных в стихах, об образах, воплощающих художественное творчество и, наконец, вопрос о характере творческой личности, лирического "я".

В стихотворениях Мандельштама, написанных в 1908-1910 годах тема разных видов искусства еще не выступает самостоятельной, самоценной темой, а только в тесной взаимосвязи с темой природы. Тем не менее, интерпретация этих стихов едва ли возможна без затрагивания темы искусства, так как она проникает стихотворения как бы "подводным течением» и в каком-то аспекте присутствует почти в каждом из ранних стихотворений Мандельштама. Как мы уже отметили, искусство становится языком самоопределения для поэта именно в этот период творчества. Связанные с ним мотивы, таким образом, постепенно выкристаллизовываются, осознаются, чтобы в итоге поэт не только интегрировал их в свои стихотворения, но и провозгласил их главной темой своего творчества. До программного провозглашения, однако, эти мотивы появляются в тесном соотношении с темой природы и личной судьбы. Попробуем проиллюстрировать эту закономерность на некоторых примерах раннего периода творчества Мандельштама:

На бледно-голубой эмали,
Какая мыслима в апреле,
Березы ветви поднимали
И незаметно вечерели.

Узор отточенный и мелкий,
Застыла тоненькая сетка
Как на фарфоровой тарелке
Рисунок, вычерченный метко, –

Когда его художник милый
Выводит на стеклянной тверди,
В сознании минутной силы,
В забвении печальной смертию
(1909)

Истончается тонкий тлен.
Фиолетовый гобелен.

К нам на воды и на леса
Опускаются небеса.

Нерешительная рука
Эти вывела облака,

И печальный встречает взор
Отуманенный их узор.

Недоволен стою и тих,
Я – создатель миров моих,

Где искусственны небеса
И хрустальная спит роса.
(1909)

В начальной строфе обоих стихотворений наблюдается уподобление явлений природы – произведениям искусства, то есть представителям окультуренного предметного мира. В первом случае это уподобление небосвода и вырисовывающихся на его синеватом фоне деревьев и облаков – эмалированному предмету, а во втором – "фиолетовому гобелену". Живописная параллель этих образов, нам думается, можно опознать в ранних, импрессионистических картинах Михаила Ларионова, сквозной темой которых являются ветви деревьев, образующие на фоне неба арабески. Лилово-розовая цветовая гамма картин Ларионова представляет собой не только насаждение импрессионистской палитры в русской живописи, но и могла бы послужить отличным образцом для мандельштамовского "фиолетового

гобелена".[12]

Эти уподобления, которые часто образуют метафорические сочетания, впоследствии реализуются, развертываются в строящиеся почти по аллегорическому принципу образные ряды, проникающие целый смысловой и композиционный объем стихотворения. Эту особенность построения образов в мандельштамовском творчестве отмечают многие авторитетные исследователи, в том числе и Ю.И. Левин, изучающий крымско-эллинские стихи поэта.[13] Описанное им явление "двуслойности" художественного пространства, однако, можно проследить на семантической структуре не только крымско-эллинских стихов. Применительно к ранним стихотворениям поэта также можно установить, что их семантическое пространство складывается из нескольких, как правило двух, пространственных слоев, например, (в случае крымско-эллинских стихов) из психологического и мифологического пространств. В приведенных выше стихотворениях, и в ранних стихотворениях в общей сложности, эти два пространственные слоя представляют собой природа и предметный мир (включая сюда и мир предметов искусства), к которым примыкает – хотя и не в прямой форме – еще и собственно-лирическое пространство лично-экзистенциальных переживаний, чаще всего в опредмеченном виде. Возникающее таким образом смысловое единство нерасчленимо, так как его элементы находятся в тесном взаимодействии, то есть каждый его составный элемент должен быть осмыслен в каждом из упомянутых выше измерений в отдельности. Таким способом, описание природы превращается сначала в описание произведения искусства, потом, соприкасаясь с проблемой художественного творчества и/или с проблемой самоопределения творческой личности, в философское размышление о смысле творчества.

Эта логика перерастания темы природы в тему художественного творчества с особой ясностью представлена в образной структуре первого приведенного стихотворения. Его первая строфа посвящена теме природы, вторая – описанию произведения искусства, а третья – творческой личности и деятельности художника. Первая строфа начинается с "обычной" картины природы, в пределах которой даются почти конкретные пространственные и временные координаты: вид бледно-голубого неба только напоминает апрельскую пору, следовательно, "сюжетная ситуация" стихотворения не может быть отнесена к времени апреля: на более точное время "лирического действия" – на вечернюю пору – указывает необычная языковая

---

[12] Пунин 1976:132-135.
[13] Левин 1995:99.

конструкция *березы вечерели*, построенная на метонимическом принципе. Мотив же березы создает впечатление "русскости" запечатленной в стихотворении среды. Описательный тон первой строфы уже несколько трансформируется в следующей строфе, в которой он уступает место более прямой форме лирической речи. "Отвлеченность" лирической ситуации второй строфы, в сущности, вытекает из накопления метафорических образов и различных определений, относящихся к тому же предмету, к предмету описания. Такое накопление образов в данном случае служит такой поэтической установке, согласно которой больше граней того же самого явления должны быть освещены в различных аспектах. *Узор, сетка, рисунок* – образы, каждый из которых соответствует одному определенному визуальному впечатлению, созданному ветвями деревьев на фоне неба, главной чертой которого является тонкость, артистичность орнаментального рисунка, как на это указывают определения *отточенный, мелкий, тоненький, меткий*. "Носителем" узора, однако, в каждой строфе оказывается другой художественный предмет; сначала нечто, сделанное из эмали (сам предмет не идентифицируется), потом фарфоровая тарелка, а в конце стекло, (материал тоже неизвестного нам предмета). Несмотря на разнородность перечисленных материалов, нам представляется очевидным, что их роднят во-первых, свойственные им качества, а именно признаки твердости, негибкости и жесткости, (к этому же смысловому ряду относятся по своим семантическим признакам слова *застыла, твердь*[14]), а во-вторых кругах употребления (посуда благородного сорта, домашние предметы художественного оформления). Этим материалам свойственно, что они отличаются твердостью, но тем не менее они легко обрабатываются (например, с помощью огня), раскрашиваются и расписываются, на них легко остается след от царапины. Чаще всего, однако, предметы, сделанные из перечисленных материалов снабжаются орнаментальным украшением; на это указывает в данном случае слово *узор*: деревья рисуют плоскостный, линейный орнамент на синеве небосвода. Вторая и третья строфа, в сущности, образуют одно, распространенное предложение: *узор* и *сетка* представляют собой метафоры веток, за ними следует уподобление (они уподобляются тонкому рисунку, вычерченному на фарфоровой тарелке), и в конце примыкает к этому развернутому поэтическому образу дополнительное предложение: рисунок как бы вычерчивается на наших глазах, то есть мы становимся свидетелями самого творческого процесса. Творческая деятельность, однако, – как это представлено в заключительных строках

---

[14] См. Ожегов (1990:789) *твердь*: (высок.) 1. *земная твердь* – "земля, суща", 2. *небесная твердь* – "небо, небесный свод".

стихотворения – соотносима всего лишь с одним мгновением. Это же мгновение есть и мгновение забвения смерти, в коротких пределах которого художнику достается ощущение своей творческой энергии. Изложенные в последней строфе поэтические мысли, однако, придают новый смысловой оттенок первым двум строфам, в результате чего возникает особая "обратная связь" в смысловой организации стихотворения.[15] "Интимный" образ расписывающего тарелку художника, эпитет названия которого (*художник милый*) носит оценочный характер, свидетельствует о таком подходе к художественной деятельности, который отличается глубокой эмоциональностью и необыкновенной нежностью. Любопытно отметить, что, благодаря соприкосновению "природной" и "художественной" темы образ художника проецируется на образ создателя природного космоса, то есть на образ Творца. Таким образом, мотив создания художественного предмета соотносится с образом создания Богом целого мироздания. Следовательно, природа предстает перед нами в своем становлении, точнее, явление природы воспроизводимого вечернего пейзажа осмысляется и на "мифологическом" уровне, благодаря соотнесению с процессом космогенеза. В то же время план уподобляемых в образной структуре стихотворения, а именно план природных реалий небосвода и деревьев трансформируется в реалии цивилизации, в интимные, ласкающие своими деталями глаза предметы быта и создают впечатление совершенно иного пространства, обладающей сокровенной, семейной атмосферой мастерской художника. Несколько удивительно, однако, что параллель проводится между образом Бога-Творца и анонимной, незначительной фигурой художника-мастера, которому досталось бороться за творческие моменты хоть и ценой полной самоотдачи, смерти и для которого ощущение своей творческой силы означает выход из глубокого экзистенциального кризиса. В стихотворении, таким образом, благодаря многократному смысловому взаимодействию поэтических образов, реалии космического и метафизического планов сводятся на одинаковый уровень с реалиями повседневного, практически-бытового характера. Миры, обладающие по своей первоначальной природе разным масштабом, в результате описанных выше семантических процессов приобретают одинаковые измерения, и вследствие этого, оправдывается такой новый подход к разнородным явлениям мира, который с точки зрения традиционной ценностной иерархии, унаследованной от XIX века и от философского и эстетического миропонимания русского символизма, был бы

---

[15] Ср. Б.А. Ларин, *О лирике, как разновидности художественной речи.* In: Русская речь, 1927, 42-73.

немыслимым. Вполне возможно, что именно в этом «приравнивании» интерпретационных планов разного уровня находится объяснение того, что София Парнок в приведенной выше рецензии назвала это стихотворение "натюрмортом", несмотря на то, что исходным положением смысловой организации стихотворения оказалось описание природы. Как мы уже могли в этом убедиться, стихотворение Мандельштама начинается с "пейзажного" образа, но при развертывании его образной структуры, "описание природы" превращается в "натюрморт", то есть в "описание" предметного мира.

Стихотворение *Истончается тонкий тлен...* также "вырастает" из смыслового акта отождествления разных свойств мира природы и мира искусства. Шесть строф, составляющие стержень этого стихотворения, могут быть разделены на три композиционные единицы, каждая из которых включает в себя две строфы. В первой композиционной единице мы опять встречаем природный "ландшафт": "небеса опускаются", то есть, по всей вероятности, перед нами картина наступающих сумерек. Вторая строфа, которая как бы разъясняет для нас поэтический образ предыдущей строфы, вносит ясность в понимание ее смысла. В первой строфе словосочетания *тонкий тлен* и *фиолетовый гобелен* образуют параллельные синтаксические конструкции, устанавливая, таким образом, смысловую связь между темами природы и текстильного мастерства. Общей семой, соединяющей эти две синтагмы является смысловой оттенок тонкости, артистичности, который получает особый акцент благодаря однокоренному глаголу *истончается* в выделенном, начальном положении стихотворения. Оркестровка начальной строки стихотворения, основанная на звуковом повторе согласных "т", еще больше акцентирует ее особый семантический статус. Понятия тонкости (в художественном значении слова) и тленности, благодаря аллитерации, ставятся в один смысловой ряд. Развертывающийся таким образом метафорический образ достигает своей полноты в следующей строфе, в которой уподобляемый смысловой ряд *небеса* примыкает к отмеченным выше двум значениям, выполняющим функцию уподобляющих. На этом этапе стихотворного текста разъясняется смысл исходного визуального впечатления: лиловая полоса сумеречного неба постепенно суживается и уступает место "опускающейся" темноте. Два глагола (*истончается* и *опускаются*), перекликающихся вследствие начинающего стих синтаксического параллелизма и также вследствие сходного звучания, добавляют к значению тонкости и связанному с ним смыслового оттенка тления еще и дополнительное значение движения вниз. Движение вниз направлено к "водам и лесам", и, в то же время, и в сторону лирического субъекта стихотворения, который обозначается личным местоимением первого лица множественного числа. Определяемый таким образом субъект,

предполагает какую-то совокупность людей; остальные существительные множественного числа (которые, в основном, в таком грамматическом употреблении являются необычными, уже устаревшими[16] формами) внушают нам, что в стихотворении говорится об общности, объединении людей более широкого масштаба, отождествляемом, например, с образом человечества. Посредством словоформы *небеса*, в такой же мере устаревшей, как словоформы "воды", мобилизуется такое значение этого поэтического локуса, как "потусторонний мир, обитель Бога", в результате чего "героями" данной строфы оказываются бинарные оппозиции вниз – верх, земная жизнь – потусторонняя жизнь, и смертность – вечность. Описание, активизирующее в начале стихотворения смысловые оттенки тонкости и хрупкости, на этой точке смысловой структуры стихотворения, приобретает космические масштабы. Такую логику смысловой организации мы могли уже наблюдать в предыдущем стихотворении. Опускание небес в первой строфе переживается лирическим субъектом как трагическое событие, поскольку оно обозначает некую убыль, во второй же строфе тому же явлению придается положительный оценочный оттенок, так как "опускание небес" осмысляется уже не как наступление ночи, а как приближение потустороннего мира к земному.

В третьей строфе наблюдается тенденция к поэтическому истолкованию возникновения описанного в первых строфах природного явления. Синекдоха, представляющая "нерешительную руку" творящего субъекта, может быть осмыслена в обоих, созданных в первых строфах интерпретационных планах.[17] В плане художественной деятельности, представленной образом гобелена, "нерешительная рука" принадлежит художнику, в "космическом" плане же – Творцу. Рука характеризуется нерешительностью, роднящей образ художника с образом мастера предыдущего стихотворения. При осмыслении этого образа в плане природного космоса, однако, несколько неожиданным оказывается эпитет *нерешительная* для характеристики руки высшего Творца, конвенционально воспринимаемого как носителя атрибутов совершенства, безукоризненности и всемогущества. Такое восприятие образа Бога обнаруживает нерешительность, колебание оценок молодого Мандельштама в вопросах о смысле трансцендентального

---

[16] Устаревшим считается и слово *тлен*. В словаре Ожегова (1990:797) также указывается на стилистический оттенок этого слова как высокий: "тлеть – 1. (...), 2. гореть без пламени, 3. существовать в скрытом виде." В данном контексте, опираясь на разные значения производящего существительное *тлен* глагола, как нам кажется, активизируется его второе указанное значение, которое мотивируется фиолетовым цветом неба, напоминающим тление дерева, например.

[17] Ср. с вышеупомянутым семантическим явлением "двуслойности".

мира.

В четвертой строфе, в нашем прочтении, наблюдается дальнейшее развитие темы нерешительности, поскольку мы предполагаем тождество обладателя "руки" с обладателем "взора". (Колебание в истолковании того, кто же является носителем этих творческих способностей, вытекает из синекдохического характера образа, называющего часть вместо целого, то есть часть тела вместо названия человека.) Согласно такому истолкованию (предполагающему тождество двух носителей-субъектов), следовательно, объяснительной причиной печали взора оказывается *отуманенный узор*, который по всей вероятности, относится к орнаменту гобелена, то есть к метафоре облачного неба. Прилагательное *отуманенный* указывает на несовершенство, на отмеченное выше ощущение убыли, а на уровне исходного впечатления стихотворения, на тему сумерек. Изложенная выше интерпретация стихотворения поддерживается и пятой строфой, вносящей неожиданные изменения в общую модальность стихотворения. В этой строфе художник, условно называющий себя Творцом, – уже совсем эксплицитным образом отождествляется с лирическим субъектом стихотворения. Лирический субъект заявляет о причине своего недовольства в последней строфе: созданные им "миры" его не удовлетворяют, ибо в них небеса искусственны, и роса – из хрусталя. Появление лирического "я" вызывает недоумение потому, что лирический субъект предстает перед нами в совсем другой форме самоидентификации, характеризующейся отсутствием скромности, и даже слишком сильным жестом самоутверждения. В первых двух строфах лирический субъект грамматически не выражается в индивидуальном виде, даже во второй композиционной единице (в последующих двух строфах) субъект стихотворения, с помощью приема грамматического отстранения, отодвинут на второй план, и таким образом, его фигура не получает отчетливые черты. Именно вследствие этого его внезапное выступление в последней композиционной единице производит несколько странное впечатление, даже придает некий трагизм его образу. О лирическом субъекте, как бы присваивающем себе значительность Творца, все же выясняется уже посредством употребления синтагмы "мой мир" во множественном смысле *миров моих*, что он не Господь-Вседержитель, обладающий космической властью и создавший мироздание, а наоборот – безуспешный создатель "своих миров".[18] При таком истолковании статуса лирического

---

[18] Такой тон, который можно осмыслить как иронический, особенно характерен для поэзии постсимволистской эпохи; несмотря на то, что рассматриваемое стихотворение по своей теме также не отказывается от символистской традиции, как и, в сущности, все ранние стихи Мандельштама, тем не менее наблюдается, что в модальной фактуре

субъекта перед нами открывается новый пространственный слой в стихотворении, а именно внутреннее, глубоко личное пространство психики художника, с одной стороны жалующегося на бессмысленность своей деятельности, а с другой стороны, как нам кажется, осмысляющего свое существование с определенной дистанции, тонкой самоиронией. Художника не может удовлетворить созданное им произведение, так как оно не является настоящей, а только условным миром, созданной художником фиктивной действительностью, то есть оно неспособно соизмеряться с первичной действительностью, а именно с сотворенной Богом природой. В основе лирической ситуации стихотворения, таким образом, лежит не только личное переживание творческого кризиса, но и вековечный вопрос философии искусства о воспроизводимости первичной действительности. Значение слова *искусственны* принадлежит двум семантическим полям: первое представляет собой круг понятий, связанных со значением "не природное, сделанное наподобие подлинного", а второе, производимое корнем слова *искусств-*, и имеющее в значительной мере более положительные коннотации – понятие художественности, то есть круг значений, относящихся к сфере искусства.[19] Образ *хрустальной росы* включает в себя эту же двойственность осмысления: роса из хрусталя с одной стороны, лишена подлинности, гибкости, живости и материальности настоящей росы, с другой же стороны предполагает прочность (материала) и рукотворность, даже ювелирный характер, вследствие чего она переходит в область искусства. Сам этот образ также способствует

стихотворения, наряду с тоном символистского мифологического пафоса присутствует некий игривый, являющий самоиронию тон. Jan M. Meijer (MEIJER 1979:528), изучая взаимосвязь раннего Мандельштама и символизма освещает эту двойственность лексической фактуры ранних стихов поэта. Продолжением символистской лексики можно считать такие часто встречаемые слова, как например *печальный, далекий, хрустальный*, другой же лексический слой ранних стихов Мандельштама обнаруживается в словах *искусственный, мелкий, милый, игрушечный*, или же, в важном с нашей точки зрения слове *узор*, которые создают – по словам Мейера – "атмосферу мелкости и искусственности" ("atmosphere of smallness or artificiality"), и указывают на свойственное акмеизму предпочтение земной сферы мироздания. О "детскости" восприятия раннего Мандельштама см. также: ДАРВИН 1990:60, МУСАТОВ 1991:237, ГАСПАРОВ 1993:42. М. Гаспаров приводит слова самого поэта, когда пишет о верленовском происхождении "ребячества" Мандельштама.

[19] Семантический избыток прилагательного *искусственный* также используется Мандельштамом в стихотворении *В безветрии моих садов...*, которое во многих его аспектах повторяет идейный и смысловой строй разбираемого нами стихотворения.

разностороннему освещению вопроса о назначении любой творческой деятельности и о смысле искусства вообще.

Как мы видим, в основе обоих, анализируемых нами стихотворений, наряду с лично-экзистенциальными переживаниями лежит вопрос о смысле творчества, а тема разных видов искусства появляется в тесном сочетании с этим вопросом. Проблематика нерешительности творческого субъекта и созданной им вторичной действительности, в равной мере, как и выводимый из этой проблематики вопрос о правомерности, о сущности творческой деятельности, представляют собой сквозные темы ранней лирики Мандельштама. Любопытно, однако, охарактеризовать особенности разных видов произведений искусства, появляющихся в этих стихах. Эти предметы, в сущности, могут быть названы артефактами только в метафорическом употреблении слова, так как они являются лишь сравнивающими, опосредующими средствами для воплощения природных явлений, выполняющих функции сравниваемого. Эти природные явления становятся произведениями искусства лишь в творческом восприятии и воображении, и описываются впоследствии как квази-реальные предметы только в силу воздействующего в организации стихотворений смыслового механизма, условно названной нами "развертыванием тропов". Далее мы можем наблюдать, что подчеркивается иллюзорный характер и даже фиктивное – основанное на обмане чувств, на особом механизме работы чувственного восприятия – происхождение этих "артефактов". В действительности они представляют собой нерукотворные, созданные природой (в другой формулировке: Творцом) произведения. Неслучайно возникает для нас вопрос: кем же сотворены эти произведения, и в более общем плане, существует ли их "творец", или же их возникновение независимо от намерений "художника", значит, они случайно возникают и их создание предопределено сверхиндивидуальными силами. Видимо, при воссоздании в своих стихотворениях древнего топоса художника-творца, молодой Мандельштам, старается раскрыть некую имперсональную творческую интенцию за явлениями природы. Не кончается ли неудачей подобное стремление? Именно эта проблема оказывается порождающим началом для смыслового строя рассматриваемых стихотворений: способна ли творческая рука создать такие – в данном случае остающиеся лишь в плане фикции – произведения, способно ли искусство "победить" природу? Истолкование творчества как монументального, божественного действия имеет своим прямым последствием отрицательную самооценку, нерешительность творческой позиции субъекта стихотворений и, не в последнюю очередь, сомнение в смысле самого творчества (и в предельных случаях даже полное отрицание его смысла).

Среди стихотворений, сюжет которых вырастает из описания явлений природы и трансформируется в истолкование темы искусства, следует также упомянуть стихотворения *На темном небе, как узор* ... и *Сквозь восковую занавесь* ... . Их роднит появляющийся в них сумрачный, предвещающий беду пейзаж, который окутывается ночной темнотой или густым туманом, и в котором особую роль играют метонимические представители «высшей сферы» мироздания: небо и луна (в первом они даже оказываются субъектами, к которым обращается говорящий). "Описание" природы строится по принципу бинарных оппозиций верх – вниз, свет – темнота, подчиненность – власть; в основе такой смысловой структуры стихотворения, однако, лежат глубокие онтологические вопросы, опредмеченные самыми этими оппозициями, а именно: мысль о кончине, о вере в запредельное существование (в трансцендентальность), одним словом, проблема личной судьбы.

Деталь пейзажной картины, открывающая стихотворение *На темном небе, как узор...*, – силуэты деревьев на фоне сумеречного неба –, нам уже известна. В многоярусном построении метафорического образа отождествляются следующие сопоставляемые реалии природы и искусства: темное небо – с текстилем, а деревья – во-первых, с узором, вышитым на нем, а во-вторых, с кружевом. Пейзажная картина овеяна атмосферой холода и смерти (см. слово *неживые*). Тема наступления темноты и кончины вносит в стихотворение трагический акцент осмысления темпорального бытия вещей, которое предстает в различных трансформациях: в смене разных промежутков дня (наступление вечера), в более длинном промежутке сменяющихся дней (через мотив суживающейся луны), в круговороте времен года (образ неживых деревьев вызывает в нас ощущение зимнего периода природы), и в конце, в более отвлеченном плане, в исчезновении человеческой жизни. Разрушительная сила времени оставляет свой отпечаток на появляющихся в стихотворении "произведениях" искусства: кружево рвется, темнеет, исчезает. Первый предполагаемый адресат стихотворения, который поднимает взор к небу, с точки зрения лирического субъекта действует напрасно, его "искания" в области "высшего" бессмысленны. Из подобного положения говорящего субъекта вытекает, что лирическому "я" стихотворения сфера "высшего" не означает утешение, не обещает надежду, (см. *Вверху – такая темнота*), а наоборот, его устрашает неостанавливаемое течение времени и вследствие этого он переживает вечные законы природы трагическим событием.

В стихотворении *Сквозь восковую занавесь...* мир природы ассоциируется с миром театра. В описании покрытого туманом ландшафта, подобно рассмотренному выше стихотворению, также появляется образ-заместитель текстильных изделий (канва), в данном

контексте в виде театрального занавеса, за которым вырисовывается пейзаж, напоминающий кулисы. Посредством мотивов, взятых из области театрального искусства, как нам кажется, оспаривается именно подлинность, правдоподобность и достоверность изображаемого мира. Такое истолкование мотивов театра во многих своих чертах перекликается с изложенной выше двойной смысловой характеристикой темы "искусственности". Однако следует отметить, что к указанным осмыслениям "искусственности" мира в этом стихотворении – посредством наречия *нежно* – примыкает и признак нежности, представленный в тексте темой окутывания, объятия, которая может быть осмыслена как защищающий жест материнской любви, а также и как жест окутывания мертвого. Посредством выступающей в третьей строфе оптативной модальности, которая, нам думается, сходна с заключительным восклицанием предыдущего стихотворения (*О месяц, только ты не суживай / Серпа внезапно почернев!*), передается желание обнять мир, или же по-другому, желание охватить сферу неба и луны (представленное так же в предыдущем стихотворении). Последнее стремление оказывается единственным выходом из мира вечной убыли, из сферы постепенного исчезновения. С помощью коннотаций глагола *занавеситься,* театральность мира, то есть его "сделанность", искусственность, рукотворность, все же обретает свое оправдание, так как "первичная природа", превращенная (ценой отдачи своей "природности") во "вторичную", становится именно таким образом доступной для человеческого восприятия: природа превращается в сферу цивилизации, становится игрушечной, соизмеримой с человеческим миром.[20]

Охарактеризованные выше свойства ранних стихов поэта известный знаток его творчества С.Н. Бройтман в своей статье о символистских корнях поэзии Мандельштама сформулировал следующим образом: "Теургия направлена здесь на создание художественного мира, а не на преобразование непосредственно самой жизни. Та творческая энергия (...) у Мандельштама сконцентрирована и обращена вовнутрь, в мир самого произведения."[21] Из такого подхода к творческой деятельности вытекает, что уже на этом этапе развития поэтической системы Мандельштама художественная деятельность обращена на самого себя, то есть становится сама по себе ценной реалией мира. Недаром эту черту мандельштамовского творчества осмысляет С.Н. Бройтман таким образом: "...сегодня ясно, что в данном случае следует говорить не о тривиальной ориентации искусства на искусство, а о

---

[20] См. примечание №17.

[21] Бройтман 1996:33

самоосознании искусства, его метарефлексивной обращенности на себя (...)."[22] Именно это, по всей видимости самое существенное – и тем самым "преодолевающее символизм" – свойство мандельштамовского творчества служило основным исходным положением для настоящей работы, которая пыталась выявить его наличие и его поле действия в раннем творчестве поэта на примере некоторых стихотворений, написанных в 1909-1911 годах.

Литература

БРОЙТМАН 1996: Бройтман, С.Н., Ранний О. Мандельштам и Ф. Сологуб. In: Известия РАН, СЛИЯ, т.55, № 2, 27-36.

ДАРВИН 1990: Дарвин, М.Н., "Камень" Осипа Мандельштама: поэтика заглавия. In: Творчество Мандельштама и вопросы исторической поэтики. Кемерово, 57–65.

ГАСПАРОВ 1993: Гаспаров, М.Л., Поэт и культура. Три поэтики О. Мандельштама. In: De visu 10 (11)

КАМЕНЬ 1990: Осип Мандельштам, Камень. Академия Наук СССР. Литературные памятники. Ленинград

КАНТОР 1991: Кантор, Е., В толпокрылатом воздухе картин (Искусство и архитектура в творчестве О.Э. Мандельштама). In: Литературное обозрение, 1991/1. 59-68.

ЛЕВИН 1995: Левин, Ю.И., Заметки о "крымско-эллинских" стихах О. Мандельштама. In: Мандельштам и античность, Москва, 77-103.

МАНДЕЛЬШТАМ 1991: О.Э. Мандельштам, Собрание сочинений в четырёх томах. ред. Г.П. Струве и Б.А. Филиппов. Москва

МЕЦ 1990: Мец, А.Г. «Камень» (к творческой истории книги). In: Осип Мандельштам. Камень. Академия Наук СССР. Литературные памятники. ред. Рейсер. Ленинград, 277-285.

МУСАТОВ 1991: Мусатов, В.В., Ранняя лирика Осипа Мандельштама. In: Известия Академии Наук СССР. Серия литературы и языка. т. 50. Москва, 236-247.

МУСАТОВ 1992: Мусатов, В.В., Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины XX века. От Анненского до Пастернака. Москва

ОЖЕГОВ 1990: Ожегов, С.И., Словарь русского языка. 22-е издание. Под ред. Н.Ю. Шведовой. Москва

ПУНИН 1976: Пунин, Н.Н., Импрессионистический период в творчестве М.Ф. Ларионова. In: Русское и советское искусство. Избранные труды о русском и советском изобразительном искусстве. Москва 132-135.

MEIJER 1979: Meijer, J.M., The Early Mandel'štam and Symbolism. In: Russian

---

[22] БРОЙТМАН 1996:29. Ср. Мандельштам отдает предпочтение именно "искусственности" искусства, т. е. описывает художественные миры, создание которых подчинено комплексу условных правил *(...)* (КАНТОР 1991:62)

Literature, VII–5.
RONEN 1973: Ronen, O., Лексический повтор, подтекст и смысл в поэтике Осипа Мандельштама. In: Slavic Poetics. Essays in honour of Kiril Taranovsky. The Hague – Paris

Correlation of Motives of the Art and the Nature in Osip Mandel'štam's Early Poems

Summary

This paper attempts to study various aspects and correlation of non-verbal art forms in the semantic and motivic structure of some early poems (*Na bledno-goluboj emali...*, *Istončaetsja tonkij tlen...*, etc.) of Osip Mandel'štam. It focuses on three major aspects of art: 1) the characteristics of artefacts, 2) the interpretation of the artistic production, 3) the features of the personality of the artists that appear in the analysed poems. It deals with one of the potential typological groups of poems the main characteristic feature of which is the correlation of motives of art with the poetic images of natural phenomena. In these poems images of primary, God-created Nature are gradually transformed into images of graphic and decorative arts – into realia of secondary, human-made, artistically constructed "nature". This "duality" in the thematic, rhetoric and semantic structure of certain poems written in 1909-1911 can be interpreted as a prefiguration of the later acmeistic poetics based on metareflexivity (poems dealing with the philosophical problems of art and artistic production) and the artistic ideal of architectonic construction.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS

SLAVICA XXX, 133-151 2000 DEBRECEN

Dovlatov's *Sanctuary* and Pushkin

J. YOUNG

Dovlatov's story *The Sanctuary* (*Заповедник*) is loosely based upon the author's own experiences during a period spent working in the "Pushkin Hills" (Pushkinskie Gory) museum at Mikhailovskoe. It was not unusual for members of the Moscow and Leningrad intelligentsia to work as guides at the museum, and when Dovlatov's life in Estonia became unbearable and he could neither find employment in Leningrad nor persuade publishers there to accept his work, he took a job in Mikhailovskoe as a way of earning a living. It is clear from letter to Liudmila Shtern that he actually worked there in the mid 1970s;[1] the action of the story, however, is attributed to a slightly later time, no earlier than 1978, since mention is made Likhonosov's novel *When shall we meet?* (*Когда же мы встретимся?*) which was published in that year. Dovlatov wrote the story in 1982, and it was published in America in 1983.

The museum is known as "Пушкинский Заповедник", a name which has connotations of "nature reserve", or "bird sanctuary", a place for the preservation of rare and exotic species, but which also has reverberations akin to the modern English "theme park". It is a kind of Pushkinland. That is to say, Dovlatov presents it not merely as a museum, a legitimate preservation in the present of something valuable from the past, but as a fictionalised past, a wilfully manipulated version of the past designed to fulfil a specific function in the present.

Paul Debreczeny has discussed in his book *Social Functions of Literature. Alexander Pushkin and Russian Culture* how the cult of Pushkin has evolved through the last two centuries: "There have been other poets in history whose

1 In a letter to Liudmila Shtern dated 7 December 1976 he writes: В Пушкинских Горах было замечательно." In: *Малоизвестный Довлатов.* Журнал "Звезда" , Санкт-Петербург, 1995, сс. 301-2. *Maloizvestnyi Dovlatov,* Zvezda, Sankt-Peterburg, 1995, pp. 301-2.

cult was engendered as much by personal myth as by poetic works. What makes Pushkin unique is an unprecedented reinforcement of literary achievement by social circumstance and the need for a national myth."[2] Through the centuries there were different reasons for Pushkin's elevation to sainthood; one of the compelling reasons for this in post-revolutionary Russia, when the myth of Lenin was a more logical choice, is explained by Debreczeny: "If the official version of Lenin's personality presented to the public for adoration lacked the complexities of a human being, Pushkin's image was not flattened out and thus provided an opportunity for vicarious enjoyment of vivid images in the midst of grey soviet reality. Needless to say, his colourful literary texts continually reinforced the text of his life."[3] It also needs to be added that the reading and studying of Pushkin mainly in hagiographic terms was encouraged by the Soviet authorities with a particular aim in mind. He was used to manipulate society, to deflect interest from real issues, but at the same time to allow some safe topics for public discussion. No diversion from ready-made clichés about Pushkin was possible. This is one aspect of Dovlatov's story *The Sanctuary.*

Dovlatov was not alone at this time in re-evaluating his attitude to Pushkin. From the late 1960's onwards the soviet intelligentsia began to approach Pushkin with light-hearted irreverence (Andrei Siniavskii's *Walks with Pushkin* (*Прогулки с Пушкиным*) written around the mid seventies is perhaps the most famous example), and to establish distance from official writing on Pushkin. This state of affairs is illustrated in the story, when the narrator is examined on Pushkin and tries to express his own opinion of the poet's achievement, saying that Pushkin's writing goes beyond Russian tradition, that Pushkin is not such a typical Russian writer, and concluding that "Пушкин – наш запоздалый Ренессанс."[4] (Pushkin is our belated Renaissance). The reaction to such a non-standard answer (however banal it may seem) is complete bafflement and hostility: "При чем здесь Гете? [...] И при чем здесь Ренессанс?" (What has Goethe to do with it? Not to mention the Renaissance!) (SD: 1993, I, 340) Dovlatov shows that this culture of false enlightenment has become the dominant culture of the Sanctuary/Soviet Union.

Siniavskii's *Walks with Pushkin* evoked outrage and fierce polemics in the émigré press when it eventually reached the soviet Union during perestroika. Rodnianskaia, in *The Liberated Captive...* (*Освобожденный пленник...*), points out that the polemics about Pushkin go back a long way and cites an earlier exchange between V. Rozanov and V. Soloviev. What is the key to Tertz-Siniavskii's book? Why do writers, Dovlatov included, in the seventies

---

2 Paul Debreczeny, *Social Functions of Literature. Alexander Pushkin and Russian Culture.* Stanford University Press, Stanford, California, 1997, p.219.

3 Ibid. p. 244.

4 Сергей Довлатов, *Собрание прозы в трех томах.* Лимбус-пресс, Санкт-Петербург, 1993, т. 1, с. 340. (All further references to this work are inserted in the text: SD: 193, I, 340)

turn to a re-evaluation of Pushkin? Rodnianskaia convincingly shows how Pushkin was manipulated to serve the totalitarian state. Just as Schiller in Nazi Germany was proclaimed "Hitler's comrade in arms", so Stalin exploited Pushkin particularly in the ambitious 1937 celebrations of the centenary of the poet's death. However, what Siniavskii and others saw in Pushkin was freedom, and they rebelled against this political usurpation of a writer's personality:

"Дело, говоря шире, в той свободе, в том острове свободы, который хочет отвоевать себе автор книги посреди моря всяческой несвободы. [...] Скажу сразу – это свобода искусства.".[5]

(Broadly speaking the point is freedom, an island of freedom, which the author of the book seeks to secure amidst the ocean of miscellaneous restrictions. [...] I will say straightaway – it is the freedom of art).

This island of freedom is also important for Dovlatov and his contemporaries. As Siniavskii wrote in response to the hostile émigré community: "... я писал «Прогулки с Пушкиным», [...] Как продолжение моего последнего слова на суде, – в защиту свободного творчества."[6] (... I wrote *Walks with Pushkin,* [...] as a continuation of my concluding speech at the trial - in defence of free art).

Writing about Bitov's *Pushkin House* (*Пушкинский дом.* 1978), Susanne Fusso describes the position of the Soviet postmodernist writer, as "alienated from the history of culture, which has been preserved and petrified by hegemonic forces. Culture is a museum, not a living presence."[7] This is exactly the situation that Dovlatov depicts in Pushkinland.

The sanctuary is a microcosm of Soviet reality (as, indeed, could be said of Dovlatov's earlier work, *The Zone* (*Зона*). At the forefront of the author's attention is the double life of the sanctuary (Soviet Union) which reveals the

---

5 Ирина Роднянская, *Литературное семилетие (1987-1994).* Издательство "Книжный сад", 1995, сс. 264-272. (Irina Rodnianskaia, *Literaturnoe semiletie (1987-1994),* Knizhnyi sad, 1995, pp. 264-72) Взошла заря, Тропой далекой / *Освобожденный пленник шел...* This quotation from one of Pushkin's early poems Rodnianskaia considers the key to understanding Siniavskii's notion of freedom.

6 "... я писал «Прогулки с Пушкиным» в самых что не есть в подцензурных обстоятельствах. Писал в 1966-68 гг., как продолжение моего последнего слова на суд (только в другом стиле), – в защиту свободного творчества. [...] И никакая это не "критика", и напрасно меня Солженицын именует "критиком". Это лирическая проза Абрама Терца, в которой я, по своему, пытаюсь объясниться в любви к Пушкину и высказать благодарность его тени, спасавшей меня в лагере." А. Синьявский, *Чтение в сердцах.* In: Синтаксис, 17, 1987, pp. 191-206.

7 Susanne Fusso, *The Romantic Tradition.* In: Malcolm V. Jones and Robin F. Miller (eds.), *The Cambridge Companion to the Classic Russian Novel.* Cambridge University Press, 1998, p.185.

prevalent underlying hypocrisy. Pushkin is the great national treasure. He is in the hands of the authorities and becomes an instrument of propaganda. Crowds of tourists flock to this national park. Some come here because they have received travel vouchers from the trade union, some because they are compelled to take part in cultural and educational programmes. Some come here seeking adventure:

"Татуся, слышишь?! Ехать не советую... Погода на четыре с минусом... А главное, тут абсолютно нету мужиков... Але! Ты слышишь?! Многие девушки уезжают, так и не отдохнув..." (SD: 1993, I, 405)

(Tatusia, can you hear? Stay at home... The weather is lousy... But the main thing is – there aren't any fellers there at all... Hello! Can you hear? Lots of girls come away without getting a proper holiday), records the narrator of *The Sanctuary.*

On the whole the tourists (the term preferred by the staff of the Sanctuary is 'pilgrims') are indifferent to poetry and if instead of Pushkin a few lines of Esenin are read to them, nobody even notices. "Поэт то и дело обращался к няне в стихах. Всем известны такие, например, задушевные строки... [...] Ты еще жива, моя старушка, Жив и я, привет тебе, привет! Пусть струится над твоей избушкой...".[8] For most tourists who come the mere fact that they are there is important, because they know that Pushkin is the symbol of culture. However, the visitors' level of ignorance about Pushkin is illustrated in Dovlatov's letter to Liudmila Shtern:[9]

"Туристы задают дивные вопросы:
1) Была ли Анна Каренина любовницей Есенина?
2) Кто такой Борис Годунов?
3) Из-за чего вышла дуэль у Пушкина с Лермонтовым?

(The tourist ask weird questions:
1. Was Anna Karenina Esenin's mistress?
2. Who was Boris Godunov?
3. Why did Pushkin and Lermontov fight a duel?)

This ignorance on the part of the tourists is matched by the wilful falsity of much of the information purveyed. When the narrator indicates that he wants to become a guide in the *Sanctuary* he is told that he needs to train: "Проштудировать методичку. В жизни Пушкина еще так много неисследованного... Кое-что изменилось с прошлого года... – В жизни Пушкина? – удивился я." (SD: 1993, I 332) (Study the instructions. In

8 Ibid., p. 352. This event recorded as a true story by Евгений Рейн, *Мне скучно без Довлатова. Новые сцены из жизни московской богемы.* (I miss Dovlatov. Life of Moscow's Bohemia) Санкт-Петербург, Лимбус Пресс, 1997.

9 *Maloizvestnyi Dovlatov,* op.cit. p. 302.

Pushkin's life there is so much that is still not researched. One or two things have changed since last year... - In Pushkin's life? - I exclaimed.) There is no portrait of Pushkin's ancestors available, so a substitute is found: a white, sunburned (because he fought in Asia) general:

"– Да какая разница– Ганнибал, Закомельский... Туристы желают видеть Ганнибала, Они за это деньги платят. На фига им Закомельский?! Вот наш директор и повесил Ганнибала... Точнее, Закомельского под видом Ганнибала (SD: 1993, I, 332)

(Well, what's the difference, Hannibal or Zakomelskii... The tourists want to see Hannibal. That's what they pay the money for. They don't give a toss for Zakomelskii?! So, our director put Hannibal up... To be precise, he put Zakomelskii up to stand for Hannibal.)

Dovlatov is not concerned to contrast with this falsehood and ignorance some notional 'truth' about Pushkin. Nevertheless, it can be seen that in *The Sanctuary* he is pursuing the process of recuperating the cultural legacy of the Pushkin period in his own way. This essay will argue that Dovlatov's account of his semi-fictitious narrator's experience in Pushkinland is at the time an exploration of parallels between the literary scene in Pushkin's time and his own, raising questions of style and narration, and of parallels in the relationship between the artist and the state in those two periods.

The Sanctuary is framed by the journeys of the narrator (called Boris Alikhanov, a name Dovlatov used for the narrator of *The Zone*) from Leningrad to Pushkinskie Gory at the beginning, and back again at the end, some two or three months later. Arrival and departure are marked by bouts of heavy drinking. On his journey to the Sanctuary, the narrator hints at his inebriated (post-zapoi) state: "Безобразно дрожали руки." (SD: 1993, I, 327) (My hands were trembling terribly.) "Я колебался – добавлять или не добавлять?" (I paused, wondering whether to have another drink.) (SD: 193, I, 329) At the end of the story the narrator is alone in his Leningrad flat: "На одиннадцатые сутки у меня появились галлюцинации." (On the eleventh day hallucinations began.) (SD: 1993, I, 414) The climax of the story is the visit by the narrator's wife to the Sanctuary, which is their last meeting before her impending emigration with their child. Their dialogue on this occasion picks up themes from earlier conversations between them that have been given in flashback. The story's closed structure emphasises the sense of a dead-end experienced by the narrator, which is intimated on the journey out "Попытаться рассеять ощущение катастрофы, тупика." (I tried to dispel the feeling of catastrophe and dead-end) (SD: 1993, I, 335) and fully realised at the end, as he returns to his empty Leningrad flat. His wife and child are far away, he is not sure he will ever see them again, he has no money, has run out of alcohol and finds it difficult to move his limbs (because he is too drunk); he is also on the verge of a psychological breakdown. His flat is under siege by the KGB and the militia.

There is a last telephone conversation with his wife, who is calling from Austria. There is no escape. "Теперь надо было уснуть в пустой и гусной комнате..." (I needed to get to sleep in an empty, stifling room ...) (SD: 1993, I, 415) The narrator's last 'optimistic mirage' is the sentence that emerges from his hallucinations: "Непоправима только смерть!" (Only death is irreparable!) (SD: 1993, I, 415)

Apart from these arrivals and departures there is little in *The Sanctuary* that can be called action. The story is essentially plotless, since, as Lotman argues, the movement of the protagonist within defined boundaries cannot be seen as an event or action.[10] The story's focus of interest lies in the development, largely through dialogue, of various themes, all of which are concerned, in one way or another, with literature. Foremost among these is the exploitation of Pushkin's biography, as revealed in conversations with various guides and administrators. The problem of literary recognition and the difficulty of being published, besides being the primary motivation of the journey, is the subject of discussions between the narrator and his wife, as well as with officers of the KGB. His situation is contrasted with that of Stasik Potoskii, who, having read a dozen contemporary books, decided to become a writer. His trivial, anodyne stories, produced at the rate of one a day, are published with success. "Наиболее яркими в них были стилистические погрешности и опечатки" (The most vivid features of his stories were the stylistic flaws and the misprints) writes Dovlatov. Of his approach to writing, Potoskii says: "... Я – писатель, бля, типа Чехова. Чехов был абсолютно прав. (I am a writer like Chekov, sod it. Chekov was quite right. Stories can be written about anything.) (SD: 1993, I, 357)[11]

Dovlatov introduces into the text a direct polemic with Viktor Likhonosov, as a representative of the *derevenshchiki* (village prose writers). The main trends and characteristics of village prose have been extensively studied. Deming Brown describes the main preoccupation of the genre thus: "Village literature is oriented on peasant families – their antecedents and traditions, their formation and ferment, and often their alienation and break-up. Village writers like to dwell on memories of rural childhood and youth – sometimes idyllically happy, sometimes confused, deprived, and impoverished. The contrast, and frequently the conflict, of generations is emphasised. Particular prominence is given to elderly persons, especially women, who are shown to embody the best elements of peasant culture and serve as the last repositories of ancient Russian spiritual

---

10 Ю. М. Лотман, *Структура художественного текста.* Издательство "Искусство", Москва, 1970, с. 288. ("Перемещение героя *внутри* отведенного ему пространства событием не является.")

11 Dovlatov admitted that he himself wrote very slowly and the writer and translator Boris Rokhlin recalls that Dovlatov used to tell his stories a couple of times to an informal gathering of this friends first and only then put them down on paper. This is perhaps one of the reasons why Dovlatov's style strikes one as confiding and intimate. Boris Rokhlin, special issue of *Zvezda*, 1994 (3) dedicated to Sergei Dovlatov, p. 132-3.

values.

The village writers lovingly describe their own birthplaces and the fields, forests, meadows, rivers, lakes, and living creatures around them. Their characters speak in local dialects; the characters' folk beliefs and their arts and crafts display regional peculiarities. In paying such close attention to ethnic detail, writers are not only attempting to preserve a cultural heritage but also pleading against the obliteration of the culture itself.'[12]

Viktor Likhonosov describes in his novels the contradictions between town and country, and the description of bygone life in the village is most nostalgic. In his comments on village prose, Dovlatov's narrator warns against false patriotism, anticipating, perhaps, the movement's later swing to the right wing chauvinism: "Я думаю, любовь к березам торжествует за счет любви к человеку. И развивается, как суррогат патриотизма..." (I think that the love of birch trees triumphs at the expense of love for human beings. It develops as a substitute for patriotism...). (SD: 1993, I, 331)

The narrator's response to Likhonosov's work subtly indicates a parallel between the official 'culture-as-museum', embodied in Pushkinland, and the village prose writers' attitude to the preservation of the past:[13]

"Конечно, хороший писатель. Талантливый, яркий, пластичный. Живую речь воспроизводит замечательно. (Услышал бы Толстой подобный комплимент!) И тем не менее, в основе – безнадежное, унылое, назойливое чувство. Худосочный и нудный мотив: «Где ты, Русь?! Куда все подевалось?! Где частушки, рушники, кокошники? Где хлебосольство, удаль и размах?! Где самовары, иконы, подвижники, юродивые?! Где обыкновенные лошади, черт побери?! Где целомудренная стыдливость чувств?!» Голову ломают: «Где ты, Русь?! Куда девалась?! Кто тебя обезобразил?!» Кто, кто... Известно кто... И нечего голову ломать..." (SD: 1993, I, 362)

(Of course, he is a good writer. Talented, vivid, supple. He's marvellous at reproducing live speech. (Tolstoi would have loved to hear such a compliment!) And all the same, at bottom – a hopeless, miserable feeling that you can't shake it off. A fleshless, tedious theme: "Where are you, Russia?! Where has everything disappeared?! Where are the songs, the embroidered towels, the head-dresses? Where is the hospitality, the daring and the grand scale? Where are the samovars, the icons, the feats of heroism and the Holy fools? Where are

---

12 Deming Brown, *The Last years of Soviet Russian Literature.* Cambridge University Press, Cambridge, 1993, p.80.

13 Dovlatov was a member of the short lived literary association of Leningrad writers *Горожане* (*City dwellers*) as opposed to the village, whose founder was Boris Vakhtin. His *Одна абсолютно счастливая деревня* (posthumously published in the Soviet Union only during perestroika in 1986) is a gentle satire on life in the village and describes a peasant woman whose husband perished in the war.

the ordinary horses for God's sake?! Where is the chaste bashfulness of feelings?! They rack their brains over it: Where are you Russia? Where did you disappear? Who disfigured you?!" Who! It's obvious who! There is no need to rack your brain over it...)

Dovlatov's description of the village of Sosnovo provides a sharp contrast to the loving descriptions found in village prose:

Я шел по деревне, надеясь кого-то встретить. Некрашенные серые дома выглядели убого. Колья покосившихся изгородей были увенчаны глиняными сосудами. В накрытых полиэтиленом загонах суетились цыплята. Нервной мультипликационной походкой выступали куры. Звонко тявкали лохматые приземистые собаки." (SD: 1993, I, 342)

I walked through the village hoping to meet someone. The grey unpainted houses looked miserable. The stakes of the ramshackle fences were crowned with earthenware pots. Chicks were fussing around in pens covered with sheets of plastic. Chickens strutted out with a nervy, cartoon-like step. Squat, shaggy-haired dogs were yapping loudly.)

Dovlatov takes an ironic view of the use of 'local dialects' by the inhabitants of Sosnovo. This is how he characterises the speech of Mikhail Ivanych[14] from whom the narrator rents a room in the village:

Речь его была сродни классической музыке, абстрактной живописи или пению щегла. Эмоции явно преобладали над смыслом. [...] Мишины выступления напоминали звукопись ремизовской школы." (SD: 1993, I, 363)

(His speech was akin to classical music, abstract painting or the singing of a goldfinch. Emotion clearly took precedence over meaning. [...] Misha's utterances reminded one of the sound patterning of the Remizov school.)

Mikhail Ivanych is, according to Dovlatov, a typical representative of the village folk and the narrator has only seen him sober twice during the whole summer. His character is a combination of cruelty and unexpected consideration, and is implicitly compared with the blacksmith. Arkhip in Pushkin's *Dubrovskii* (Дубровский). Dovlatov introduces *Dubrovskii*[15] into the

---

14 It was in the village of Berezino (in the novel Sosnovo) that Dovlatov rented a room from the forester (he died recently), who is the prototype of Mikhail Ivanych in the story. According to Ar'iev, editor of *Zvezda* and Dovlatov's close friend, he was pleased with what Dovlatov wrote about him: "Как о леснике он обо мне ничего плохого не говорит".

15 Professor Bialyi is examining Gur'ianov:

– Вы читали *Повести* Белкина?

– Как-то не довелось, – ответил Леня. – Вы рекомендуете?

story through an anecdote about the informer, Lenia Gur'ianov's student days. In *Dubrovskii* Arkhip is watching a burning house in which people are trapped:

"В одну минуту пламя обхватило весь дом. Красный дым вился над кровлею. Стекла трещали, сыпались, пылающие бревна стали падать, раздался жалобный вопль и крики: «Горим, помогите, помогите».
Как не так, – сказал Архип, с злобной улыбкой взирающий на пожар."[16]

However, when Arkhip notices a cat on the roof of the burning house, he risks his own life to save it:

"Чему смеетеся, беснята, – сказал им сердито кузнец. – Бога вы не боитесь: божия тварь погибает, а вы сдуру радуетесь, – и поставя лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою."[17]

As with Arkhip, it is difficult to understand Mikhail Ivanych's mentality. Mikhail has not himself burned anybody alive, but approves of Germans killing Jews and Gypsies. These are not the humane and ethical values that village writers were so keen to promote, but for Pushkin and Dovlatov it showed the narrow line dividing good and evil in the human personality.

"Что за личность, я так и не понял. С виду – нелепый, добрый, бестолковый. Однажды повесил двух кошек на рябине. Петли смастерил из рыболовной лески.
– Расплодились, – говорит, – шумовки, сопсюду лузгают...
Как-то раз я нечаянно задвинул изнутри щеколду. И он до утра просидел на крыльце, боялся меня разбудить..." (SD: 1993, I, 363)

(I never did understand what sort of a person he was. On the surface he was ridiculous, kind, muddle-headed. Once he hanged two cats on the rowan-tree. He made the noose out of fishing line.
–They multiply everywhere, – he said, – the bastards...
Once I inadvertently bolted the door from inside and he sat on the porch the whole night, not wanting to wake me...)

The ethical ambiguity which Dovlatov show in Mikhail Ivanych is a topic that runs through some other stories, notably *The Zone*. What fascinated Dovlatov in Pushkin was Pushkin's ability to rise above moral judgements, above the

---

– Да, – сдержался Бялый, – я вам настоятельно рекомендую прочесть эту книгу...
Леня явился к Бялому через месяц и говорит:
– Прочел. Спасибо. Многое понравилось...
– Что же вам понравилось? – заинтересовался Бялый.
Леня напрягся, вспомнил и ответил:
– Повесть *Домбровский*... (SD: 1993, I, 406)

16 op.cit. А. С. Пушкин, vol. 3, pp. 346-47.
17 Ibid. p. 347

antagonism of good and evil: "Подобно луне, которая освещает дорогу и хищнику и жертве." (Like the moon which lights the way to predator and victim alike). (SD: 1993, I, 361) He echoes the sentence in *The Captain's Daughter* (*Капитанская дочка*), that struck him by its apparent indifference: "Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу." [18] (The night was quiet and cold. The moon and the stars shone brightly, lighting the square and the gallows).

Igor Sukhikh considers that in *The Sanctuary* Dovlatov is presenting a portrait of an unsuccessful contemporary writer; shown in contrast with Pushkin: "Портрет современного писателя-неудачника на фоне Пушкина. Пушкина из Пушкинского заповедника и его служителей (которые отчасти тоже портреты)." (He shows a portrait of an unsuccessful writer contrasted with Pushkin. With Pushkin from the Pushkin Sanctuary and his attendants (who are also partly portraits)).[19] I would argue that it is not so much a question of using Pushkin as a background, but rather of Dovlatov drawing a comparison of the restrictions under which Russian writers lived in the past and the present. Informers, denunciation and betrayal have long held a fascination for Russian writers not only in the Soviet period. Pushkin's works contain references to an earlier antecedent, the novelist, critic and informer of the Third Department, Faddei Bulgarin, with whom he came into conflict. Bulgarin was a prolific and successful writer, whose novel *Ivan Vyzhigin* (Иван Выжигин) was a sell-out, while Pushkin's work was not a commercial success. Bulgarin was also a publisher, editor or *Severnaia pchela*, in which capacity he manipulated the Third Department and used it to destroy competition and other talented writers.

The theme of censorship and surveillance is introduced by Dovlatov not only as a contemporary feature, but also as a parallel with Pushkin's times. It gives him the opportunity to look at the eternal Russian question of the relationship of intelligentsia and Establishment from a different historical angle. The theme of creativity and conflict with the State runs through the whole story and it is interesting to follow its escalation, with the State's inevitable victory.

The first meeting with the informer in the story is at the beginning, when the narrator arrives in the *Sanctuary*:

"Тут же живет и дышит Пушкиным, – сказала Галя, – буквально каждая веточка, каждая травинка. Так и ждешь, что он выйдет сейчас из-за поворота... Цилиндр, крылатка, знакомый профиль... Между тем из-за поворота вышел Леня Гурьянов, бывший университетский стукач." (SD: 1993, I, 333)

('Everything here lives and breathes Pushkin,' said Galia, 'literally every branch,

---

18 А. С. Пушкин, op.cit. vol.3, p. 489.

19 Игорь Сухих, *"Сергей Довлатов: время, место, судьба."* КультИнформ Пресс, Санкт-Петербург, 1966. стр. 154

every blade of grass. You keep expecting to seen him coming round the corner... Top-hat, cloak, the familiar profile...' But round the corner came Lenia Gur'ianov, the police informer from university days.)

This omnipresence of the informer mirrors the omnipresence of Faddei Bulgarin in Pushkin's life.[20] The narrator in *The Sanctuary* is also under constant police surveillance (of course Pushkin was under surveillance in Mikhailovskoe). "– Я знал, что ты придешь". (I knew you were coming) (SD: 1993, I, 334) – the university informer Gur'ianov greets him; and the local KGB man at an informal gathering volunteers information about the narrator:

"Чекист сосредоточенно поедал тушеную утку, Затем приподнял голову и коротко высказался:
– Есть данные– собирается в Пушкинские Горы..." (SD: 1993, I, 334)

(The security agent concentrated his attention on the braised duck. Then he raised his head and briefly spoke his mind:
– There is evidence that he is coming to Pushkinskie Gory...)

Eventually, when at the end of the story the narrator's wife and daughter receive their visa to emigrate, it is clear that the local KGB man Beliaev has been informed about it first, but that he also knows about the narrator's every step. It is not surprising that the narrator has excuses ready:

"Доходили слухи о каких-то публикациях на Западе. Я старался об этом не думать. Ведь мне безразлично, что делается на том свете. Прямо так и скажу, если вызовут..." (SD: 1993, I, 365)

(Rumours were reaching us about publications in the West. I tried not to think about it. After all, it does not concern me what goes on in the other world. That's just what I'll say if I am questioned.)

The reaction of the bleached blond Galia to the departure of Alikhanov's wife is typical. The narrator wants to borrow some money to return to Leningrad and say farewell to his family, but does not want to tell her. However, she knows already:"...– А я и так все знаю. Ваша супруга изменила Родине", (I know already. Your wife has betrayed our Motherland), (SD: 1993, I, 404) says Galia.

The narrator is summoned to the KGB whose duty (like the Third

---

20 1998 saw the publication of Bulgarin's letters and denunciations: Видок Фиглярин, *Письма и агентурные записки Фаддея Булгарина в III отделение.* Публ., сост., предисловие и комментарии А. И. Рейтблата. Новое литературное обозрение, Москва, 1998, стр. 704. And А. Г. Алтунян, *"Политические мнения" Фаддея Булгарина.* Идейно-стилистический анализ записок Ф. В. Булгарина к Николаю I. A considerable polemic has since arisen in the press about the morality of informing (Voprosy literatury, Novoe literaturnoe obozrenie, Nezavisimaia gazeta).

Department's last century) it is to educate citizens who go astray. At the KGB offices the narrator again bumps into Gur'ianov:

"– Ну, здравствуй, здравствуй... Тебя Беляев ждет... [...] Он захотел показать, что все нормально. Как будто мы столкнулись в поликлинике, а не в гестапо.
Я спросил:
– Он – твой начальник?
– Кто?
– Беляев... Или подчиненный?
– Не иронизируй, – сказал Гурьянов.
В голосе его звучали строгие руководящие нотки.
– И помни. КГБ сейчас – наиболее прогрессивная организация. Наиболее реальная сила в государстве. И, кстати, наиболее гуманная. Если бы ты знал, какие это люди!..." (SD: 1993, I, 406)

('Oh, hello...Beliaev is expecting you...' [...] He wanted to show that everything was all right. As if we had bumped into each other in the doctor's surgery and not in the Gestapo headquarters.
I asked him: 'Is he your superior?'
'Who?'
'Beliaev. Or is he your subordinate?'
'Don't make fun', said Gur'ianov.
His voice acquired a strict managerial tone.
'And remember. The KGB is currently the most progressive organisation. It's the only real force in the state. And, by the way, the most humane. If only you knew those people!...')

The 'humaneness' of the KGB consisted in the fact that in the late seventies they did not on the whole imprison writers simply for their writing, particularly the ones who had publications abroad, but 'humanely' hounded them out of the country. Only a few years before the events in the story Solzhenitsyn was similarly 'humanely' transported abroad. The KGB officer Beliaev who significantly now has a portrait of Makarenko above his desk rather than Dzerzhinskii, tries to educate and influence the narrator.[21] The essence of suppression and its manifestations for Pushkin and Dovlatov were barely distinguishable.[22] However, these considerations were common in the lives of

---

21 E. A. Tudorovskaia describes this episode in her article *Путеводитель по "Заповеднику"* , in the special issue of *Zvezda*, 1994(3) dedicated to Sergei Dovlatov. The scene where the narrator is being 'educated' by the KGB reminds Tudorovskaia of A. K. Tolstoi's satirical poem *Сон Попова* (Popov's dream). For detailed analysis see pp. 197-198. The objectives of the Third department are in no way different from those of the KGB as Tudorovskaia indicates.

22 Pushkin, as his letters to A. N. Woolfe (of August 1825 and 10 October 1825 from

most Russian writers through the centuries.

Just before his death Dovlatov gave an interview to John Glad in which he discussed Russian traditions of story-telling. At their basis is Pushkin's refined and laconic prose,[23] but according to Dovlatov this tradition was interrupted and in spite of the brilliance of Tolstoi, Dostoevskii, Turgenev and many others, and the respect and admiration that their prose commands, the style of writing that they developed in the decades following Pushkin's death cannot be called laconic. However, such a tradition in Russia does continue to exist.

"Время от времени мы видим всплески пушкинской изысканности и пушкинского лаконизма (а лаконизм и изысканность это почти синонимы, потому что сделать что-то безупречно можно только отмечая все лишнее). Ведь опять-таки, «лаконично» – это не только то, что коротко. [...] Пушкинская традиция давала вспышки в лице Зощенко, который писал коротко и четко."[24]

(From time to time we can see sparks of pushkinian refinement and pushkinian laconism (laconism and refinement are almost synonyms, because one can do something faultlessly only by sweeping aside all that is redundant). In many ways, 'laconic' does not mean just using few words. [...] There were flashes of the Pushkin tradition in the person of Zoshchenko, who wrote very concisely and clearly.)

Among writers continuing the Pushkin tradition, apart from Zoshchenko Dovlatov singles out Venedikt Erofeev, Fazil' Iskander, and Georgii Vladimov in *Faithful Ruslan* (*Верный Руслан*). To write concise and laconic Russian, following the criteria established by Pushkin, was the task Dovlatov set himself in *The Sanctuary*.

Pushkin's dissatisfaction with state of contemporary prose is well known. He found it flowery, poeticised and affected. He demanded that prose should be clear, precise, laconic, but not without ideas. "Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ни к чему не служат." (Precision and brevity are the two foremost merits of prose. It requires ideas and more ideas. Without ideas

---

Mikhailovskoe) testify was hoping to travel abroad either illegally or under a pretext of an operation abroad. Pushkin was advised to have his operation on aneurysm in Pskov, which he declined. In: *Переписка А. С. Пушкина в двух томах.* Москва, "Художественная литература", 1982, том 2, стр. 180, 181.

23 Pushkin is often considered by many critics as 'osnovopolozhnik' of Russian prose. However, there were also reservations expressed about Pushkin's prose. This is discussed in R. Clegg, Pushkin's Novelistic Prose: A Dead End?, Slavic Review, vol. 57, no. 1, Spring, 1998, pp. 1-27.

24 Писать об абсурде из любви к гармонии. Интервью Джона Глэда с Сергеем Довлатовым. In: *Время и мы.* Нью-Йорк, 1990 (110), сс. 159-173.

brilliant expressions serve no purpose)[25] Pushkin's writings about the style of prose fiction are often perceived as symptomatic of his tendency towards realism. In equal measure though they can be seen as an attempt to create a specific poetics of prose fiction.

Obviously Pushkin was not alone in this preoccupation. Russian prose generally was tending towards the creation of a new poetics in this sense. But Pushkin seems to have been more consistent than others. He sensed the necessity of establishing prose as an independent genre alongside poetry.

Lotman draws attention to the specific literary circumstances in which this process took place. In that period the dominance of poetry was overwhelming. This demonstrated itself among other things in the poeticisation of prose. It was in opposition to this that the poetics of *Tales of Belkin* became so clearly defined. "...эстетическое восприятие прозы оказалось возможным лишь на фоне поэтической культуры".[26] (... the aesthetic perception of prose become possible only against the background of poetic culture).

A parallel can be drawn here with the romanticism of the 1960's, the prevalence of poetry over prose, and the search for a new idiom. Apart from 'official' poets such as Evtushenko, Voznesenskii and Akhmadulina who filled sports stadiums with listeners to their poetry, the 1960's saw an incredible flourishing of guitar poetry and underground alternative poetry. In terms of prose, the most popular writers were Aksenov and Gladilin, who were the idols for the younger generations of writers.[27] There were, of course, other writers, such as Siniavskii and Solzhenitsyn. Nevertheless, it was the 'romantic' quality that appealed in Aksenov's and Gladilin's writing. So an atmosphere of romantic prose and the dominance of poetry were also typical of the sixties and seventies.

The description of scenery is considered by Lezhnev a touchstone of a writer's stylistic skill. He shows that Pushkin distances himself from the prevailing description tradition of Russian prose of the time. In Dovlatov's writing we will look in vain for verbose and extensive description of landscape or detailed description of surroundings and interiors. And if in Dostoevskii we just note the absence of nature descriptions, then Pushkin and, following in his footsteps, Dovlatov puts scenery in a subordinate position, reducing its function and extent. There is no need to quote the well-known passage with the terse, laconic description of the onset of the blizzard in *The Captain's Daughter.* The smells and sounds of a summer's day are outlined by Dovlatov in short,

---

25 Quoted from: А. Лежнев, *Проза Пушкина. Опыт стилевого исследования.* Издательство "Художественная литература", Москва, 1966, с. 22.

26 Ю. Лотман, *Анализ поэтического текста.* In: Ю. М. Лотман, О поэтах и поэзии. "Искусство–СПБ", Санкт–Петербург, 1996, с. 38.

27 Dovlatov himself confesses to this: "Их герои были нашими сверстниками. Я сам был немного Виктором Подгурским. С тенденцией к звездным маршрутам..." Сергей Довлатов, *Литература продолжается.* стр. 117, in special issue of *Zvezda,* 1994(3) dedicated to Sergei Dovlatov.

minimalist strokes:

"В детстве лето было озвучено гудками паровозов. Пригородные дачи... Запах вокзальной гари и нагретого песка... настольный теннис под ветками... Тугой и звонкий стук мяча...

Выжженный солнцем пляж... Жесткая осока... Длинные трусы и следы резинок на икрах... Набившийся в сандалии песок..." (SD: 1993, I, 337)

(Summer in childhood had a soundtrack of train whistles. Holiday houses... The smell of soot in the station and warm sand... table tennis under the trees... the taut, resonant tapping of the ball.

The sunscorched beach... Spiky sedge-grass... Long swimming trunks, and elastic marks on your calves... Shoes full of sand...)

Distinctive characteristics of Pushkin's style find a continuation in Dovlatov's work. "У него короткая, твердая, быстрая фраза, охотнее всего обходящаяся без придаточных предложений."[28] (He uses short, firm, swift phrases, and prefers to avoid subordinate clauses). Just such an alteration of short, energetic phrases creates the swift pace of Dovlatov's prose. This deliberate restraint became his hallmark. Dovlatov's conscious continuation of Pushkin's style is expressed in a number of stylistic devices. Lezhnev notes how the sparing uses of epithets in Pushkin's prose combines with a great wealth and variety of verbs. He observes that an over-abundance of epithets slows the phrase down and makes it static. The use of verbs, on the other hand, adds liveliness and intensity. The absolute limit Pushkin is aiming for is described as: "...это – существительное плюс глагол, нагая фраза без украшений."[29] (...it is a noun plus verb, the naked phrase without adornments). Dovlatov's own expressiveness is likewise achieved by a predominant emphasis on the verb over all other parts of speech. Like Pushkin he reduces his sentences to a bare expressive minimum, using noun+verb constructions: "Я *пересек* деревню, *вернулся*. *Помедлил* возле одного из домов. *Хлопнула дверь*." (I walked across the village, then returned. I lingered by one of the houses. A door banged.) (SD: 1993, I, 342) Or take the following description of the narrator's day: "Дни мои *проходили* однообразно. Экскурсия *заканчивалась* в два. Я *обедал* в Лукоморье и *шел* домой. Несколько раз Митрофанов с Потоцким *звали* выпить. Я *отказывался*..."

(My days passed monotonously. The tours usually finished around two. I had lunch in the Lukomor'e and went home. Mitrofanov and Pototskii asked me out for a drink a few times. I refused...) (SD: 1993, I, 362)[30]

---

28 А. Лежнев, op.cit., p. 30

29 Ibid. p. 33

30 (Italics JY).

This stylistic feature even attracts an admiring comment from the narrator when is observed in his semi-literate landlord: "Миша выговаривал лишь существительные и глаголы." (Misha only uttered nouns and verbs). (SD: 1993, I, 363)

It was illustrated by Lezhnev that "В пушкинской прозе (метафора) строго служебна и фиксирует какое-нибудь свойство предмета."[31] (In Pushkin's prose the metaphor is strictly subordinate and establishes a particular feature of the object.) Dovlatov's metaphors and comparisons are similarly specific:

"Я направился в Сосново. Дорога тянулась к вершине холма, огибая унылое поле. По краям его бесформенными грудами темнели валуны. Слева зиял поросший кустами овраг. Спускаясь под гору, я увидел несколько изб, окруженных березами. В стороне бродили одноцветные коровы, плоские, как театральные декорации. Грязные овцы с декадентскими физиономиями вяло щипали траву. Над крышами летали галки." (SD: 1993, I, 342)

(I headed for Sosnovo. The road led to the summit of a hill, curving round a dejected/melancholy field. Dark boulders lay in shapeless heaps around its edges. On the left gaped a ravine, overgrown with bushes. As I went down the hill I caught sight of a few huts surrounded by birch trees. Some monochrome cows, two-dimensional like stage scenery, were ambling round nearby. Dirty sheep with decadent physiognomies were languidly nibbling the grass. Jackdaws were flying around over the roofs.)

The means of depiction convey the essential qualities of the landscape: its static nature, the squalor of the village and the surrounding field. The sobriety of description is emphasised by 'prosaic' details "я увидел несколько изб" and almost ironic comparisons:"плоские, как театральные декорации".

The breakthrough Pushkin made in adapting the Russian language by combining its different layers into a single literary language is well documented. Beyond this, however, his particular achievement was in the creation of lively dialogues and the conversational intonation of much of his prose. Dovlatov's stories are similarly written in an everyday language. Their ordinariness is such that many perceive his writing as made up of direct quotes or verbatim renderings of actual conversations, rather that fiction. But just like Pushkin's dialogue, Dovlatov's has a descriptive function as well as a function in the plot. This, too, is brought out clearly in *The Sanctuary*. Pushkin made a point of using simple, 'democratic' language. He distanced himself from Karamzin's abstractness of expression and, more importantly, from Dal's[32] stylised

---

31 А. Лежнев, op.cit., p. 69.

32 Dal's Russkie skazki - pyatok pervyi (1932) are stylised fairy tales and were hailed by many (including Pushkin) for the invention of a folk narrator.

naturalism. In this respect, too, Dovlatov differs from his contemporaries. The discussion of village prose, introduced into *The Sanctuary*, is a pointer to Dovlatov's rejection not only of its ideological stance, but also of the idea of the artificial conservation of language.[33]

Stylistic reorientation of such a kind requires a simultaneous re-assessment of the persona of the narrators. The moralising tone that Pushkin ridiculed in Bulgarin has its parallel in the didacticism of much poetry and prose in the 1960s, such as the rhymed journalism of Evtushenko, or (at an entirely different level of seriousness) the much-quoted conclusion of Solzhenitsyn's *Matriona's Home* (*Матренин двор*), from which village prose is often thought to stem. Both Pushkin and Dovlatov avoid cautionary tales and allegories, never allowing their narrators to utter obiter dicta of a moral nature. The place of moralizing is taken by irony.

V. V. Vinogradov remarked that 'Pushkin's contemporaries were struck by the author's intention to make the image of the story teller (повествователя) the constructive and stylistic centre of *Tales of Belkin* (*Повести Белкина*).[34] The text of *Tales of Belkin* is divided between several types of narrators. Pushkin went out of his way to prove the 'authenticity' of the narrators and place the image of the storyteller to the forefront of *Tales of Belkin.* " У Пушкина граница между автором и героями подвижна... Он не сливается с ними и не растворяет их в себе."[35] (Pushkin leaves the dividing line between author and characters flexible... He does not become one of them and does not dissolve the characters in the author's voice.) The consciousness of the 'publisher' constantly merges with Belkin's. The relationship of Belkin and the narrators is similar. The texts of the 'original' stories are oral: each story bears Belkin's inscription слышано мною от такой-то особы".[36] (heard by me from such and such a person).

It could equally be said of the relationship between Dovlatov's semi-fictitious narrator, Alikhanov, and the biographical author that the boundary between the two is unstable. The narrator is not distanced from the author by any so complicated mechanism as in the case of Belkin, and it is often impossible to tell for certain which voice is the bearer of a particular utterance. That is why a number of scholars have been inclined to read his prose as purely autobiographical. However, Pushkin in *Tales of Belkin* and Dovlatov in *The Sanctuary* share the crucial feature of ironically subverting a tradition of naive, romantic sentimentality.

---

33 The parallel here is A. S. Shishkov (1754-1841) and his society Beseda Liubitelei Russkogo Slova and Shishkov's defense of the Russian literary language against Europeanisation.

34 This issue is discussed in detail by S. Schwarzband, *The History of Belkin's Tales,* The Magness Press, The Hebrew University, Jerusalem, 1993

35 В. В. Виноградов, *Стиль Пушкина.* Москва, 1941, стр. 535

36 А. С. Пушкин, *Сочинения в трех томах.* Государственное издательство художественной литературы, Москва, 1958, стр. 232.

Writing later in the USA, Dovlatov admitted that he would not have written such a work as *The Sanctuary* in emigration:

"В 1982 году я написал *Заповедник*, и многие считают, что это наиболее сносная из всех моих книг, так вот сейчас я *Заповедник* писать не стал бы, – это типичная российская история, шансов удачно издать ее по-английски маловато." (SD: 1993, I, 345)

(In 1982 I wrote *The Sanctuary* and many people consider that this is the most tolerable of my books. Now I would not have written *The Sanctuary*. It is a typically Russian story and the chances of successful publication in English are minimal.)

In this article I have attempted to show how Dovlatov exploited the almost anecdotal episode of his sojourn in Pushkinland to develop a number of related topics, each of which displays a particular aspect of that 'typically Russian story', which he felt would not be appreciated in the West. On the level of the action, perhaps the most 'typically Russian', and in that sense untransportable, aspect of the story is the unchanging relationship between the writer and the state. Both Pushkin in the 1820s and Dovlatov in the 1970s were under police surveillance at Mikhailovskoe, suspected of seditious intentions and a wish to leave the country. The state organisations of both periods used other writers to assist in that ignoble task, creating divisions between writers and offering opportunities to the unscrupulous. There is a continuity in Russian life and culture revealed here which is at variance with the relationship of past and present as embodied in the theme park itself, where, for ideological reasons, a distorted and fictionalized version of the past is casually retailed to a largely indifferent public. This is parallelled in the work of the *derevenshchiki*, the village writers who bewail the passing of a rural Russian, embellished in their imagination, which can be used as a stick with which to beat the present. I have suggested that behind the text itself stand also the typical literary modes of the 1960s, the flamboyant prose of Aksenov and the rhetorical poetry of Evtushenko. Alikhanov/Dovlatov, the narrator/author of *The Sanctuary,* stands aloof from all of these tendencies. His open polemic with the *derevenshchiki,* and his implicit rejection of the 1960s, have much in common with Pushkin's opposition to the archaicizing tendencies of his own time. In his quest for the narrative manner appropriate to his own purpose it is to Pushkin that Dovlatov turns, finding in Pushkin's prose both a style of writing and an approach to the persona of the narrator that serve him well.

Lotman wrote of the Pushkin period:

"Пушкинский период, как период начальный, был отмечен значительной внутренней противоречивостью, которая позволяет видеть в нем и истоки Толстого, и корни Достоевского. При этом он

бесспорно не исчерпывается этими двумя тенденциями, в дальнейшем занявшими главенствующее положение в русской литературе. Богатство его (пушкинского периода) заключается в изображении потенциальных, так и оставшихся до сих пор нереализованными, моделей, которым возможно, еще предстоит проявить себя в будущем."[37]

(The Pushkin period, as the initial period, was marked by considerable internal contradiction, which allows us to see in it both the origins of Tolstoi and the roots of Dostoevskii. At the same time there is no doubt that this period is not exhausted by those two tendencies, which came to occupy such a dominant role in Russian literature. The richness of this period [the Pushkin period] consists in the depiction of potential, hitherto unrealized models, which are perhaps still waiting to reveal themselves in the future.)

It seems to me that in writing *The Sanctuary* Dovlatov recuperated the Pushkin tradition for his own time in just such a way as to create one of those 'hitherto unrealized models' of which Lotman spoke.

Заповедник Довлатова и Пушкин
Резюме

В статье рассматривается произведение Сергея Довлатова *Заповедник,* впервые опубликованное в США в 1983 году.

Уже в 60-е годы советская интеллигенция пытается переосмыслить произведения Пушкина и установить разницу между официальными исследованиями о Пушкине, большинство которых писалось в агиографическом ключе.

В статье уделяется внимание вопросу стилистики, эстетическому восприятию прозы; прослеживаются некоторые параллели между эпохой Пушкина и 60-70-ми годами. Рассматриваются вопросы личной свободы, которые были столь важны и для Пушкина.

Нет сомнения в том, что *Повестями Белкина* Пушкин положил основу русскому рассказу. Довлатов сознательно следовал пушкинской модели повествования, и своим *Заповедником* продолжил традицию пушкинской изысканности и лаконичности.

37 Ю. М. Лотман, *О русской литературе. Статьи и исследования: история русской прозы, теория литературы.* "Искусство–СПБ", Санкт-Петербург, 1997, стр. 601.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS

SLAVICA XXX, 153-170 2000 DEBRECEN

Czytelniczy sukces polskiej martyrologicznej prozy łagrowej
Reinterpretacja intertekstualna

L. K. NAGY

Zmiany polityczne, które na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zaszły w Polsce i na Węgrzech, spowodowały, że periodyzacja literatury okresu powojennego wciąż jeszcze w większym stopniu zależy od czynników historyczno-politycznych niż artystycznych. Jak na razie był to ostatni przełom tego typu, ponieważ życie kulturalne i literackie w końcu poprzedniej dekady uległo gruntownym przeobrażeniom. W Polsce została zniesiona cenzurę, zaś na Węgrzech powoli zamierała zmistyfikowana autocenzura, dużo groźniejsza, bo bardziej zakamuflowana niż instytucjonalna kontrola, którą sprawowali srodzy lub – specjalnie czy przypadkowo – mniej uważni zawodowi cenzorzy. Rozpoczął się okres, w której rozwój literatury może wreszcie w mniejszym stopniu będzie uzależniony od polityki.

Etap ten zamyka w piśmiennictwie większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej pewną formację historycznoliteracką. Literatury narodowe Węgrów i Polaków też nie stanowią pod tym względem wyjątku. W odniesieniu do polskiego piśmiennictwa, to przekonanie zostało wyrażone w prasie kulturalnej już ponad dziesięć lat temu. Jan Błoński pisał wówczas, że "przełom polityczny roku 1989 jest zarazem podsumowaniem pewnej epoki literackiej. Zmiana, z którą obecnie mamy do czynienia, porównywalna jest w moim przekonaniu tylko z rokiem 1918."[1]

Jeżeli chodzi o literaturę o tematyce wojenno-obozowej, przełom ten ma charakter szczególny. Umożliwił on powszechny dostęp do dzieł literatury

[1] Zob.: *Czarna dziura lat osiemdziesiątych.* O literaturze ostatniej dekady dyskutują: Jan Błoński, Tadeusz Nyczek, Jerzy Jarzębski, Marian Stala oraz – ze strony redakcji "TP" – Jerzy Pilch. Tygodnik Powszechny 1990, 1-4.

emigracyjnej, wcześniej nielegalnie przywożonych do kraju oraz pozwolił jawnie zaistnieć utworom, które dotychczas ukazywały się w wydawnictwach drugiego obiegu, funkcjonującym od połowy lat siedemdziesiątych. Wreszcie legalnie zaczęto publikować książki Józefa Czapskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Aleksandra Wata i wielu innych pisarzy, którzy przedstawiają realia życia w łagrach sowieckich. Z drugiej zaś strony ów przełom sprawił, iż tematyka wojny i okupacji nabrała nowej żywotności, ujawniła nieznane aspekty. Trzeba było przejść wyjątkowo długi okres od zakończenia drugiej wojny światowej, aby z wystarczającej perspektywy historycznej można było oceniać nie tylko wydarzenia, lecz także ich literackie świadectwa.

Znamienne, że fala tekstów o tematyce obozowo-łagrowej ciągle powraca w prozie współczesnej. Po roku 1993 można było zaobserwować pewien zastój. Wtedy wydawało się, że wszystko, co dotyczy tego typu przeżyć, już ujrzało światło dzienne, i temat ten będzie można wkrótce zaliczyć do wyczerpanych, czyli do takich problemów, które nie wpływają już w istotny sposób na oblicze literatury przełomu tysiącleci. Okazało się jednak, że zainteresowanie czytelników martyrologią Polaków w czasie drugiej wojny światowej i w okresie stalinizmu wciąż nie słabnie, co skłania autorów do pisania i wydawania kolejnych książek. Dotyczy to – w obrębie literatury wojenno-okupacyjnej – również pokrewnych nurtów: cywilnego oraz podejmującego temat zagłady Żydów. Wymownym przykładem tych tendencji są między innymi następujące pozycje, które ukazały się dopiero w ostatnich kilku latach:

Kazimierza Albin, *List gończy. Historia mojej ucieczki z Oświęcimia i działalności konspiracyjnej* (1989, 1996), Karolina Bilińska, *Dzienniczek Karolinki* (1998), Kazimierz Cybulski, *Przerwany bieg życia. Syberyjskie wspomnienia nastolatka* (1999), ks. Zygmunt Hałuniewicz, *Zostaje tylko pamięć. Listy z łagrów 1947-1953* (1998), Henryk Hoffmann, *Z Drohobycza do Ziemi Obiecanej* (1999), Witold Janda, *Dotrwać do świtu. Wspomnienie z lat wojny* (1998), Grażyna Jonkajtys-Luba (Maria Januszkiewicz), *Kazachstan 1940-1946. "...was na to zdieś priwiezli, sztob wy podochli"* (1999), Sabina Rachel Kałowska, *Uciekać, aby żyć* (2000), Waldemar Krzyżewski (opracowanie), *Listy z Syberii* (1997), Alina Margolis-Edelman, *Tego, co mówili, nie powtórzę* (1999), Barbara Powroźnik z Bilewiczów, *Między nocą rozpaczy a świtem nadziei* (1998), Bronisław Troński, *Tędy przeszła śmierć. Zapiski z Powstania Warszawskiego* (1999), Adam Uziębło – Aniela Uziębło, *Kanwa i na kanwie. Okruchy wspomnień z lat 1939-1945* (1999), Mirosław Wigierski, *Ze Lwowa na Kołymę* (1998).

Taka obfitość tekstów każe zastanowić się nad przyczynami popularności łagrowej literatury martyrologicznej[2]. Jest to bez wątpienia niezwykle

[2] L. K. Nagy, Emigracyjne utwory o tematyce łagrowej jako literatura tendencyjna. In:

interesujące zjawisko literackie, bo dzieła najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku są znane i wysoko cenione od dawna, ale reprezentują raczej niemartyrologiczną postawę autorską. Historycznoliteracka ocena tego pisarstwa jest już w dużym stopniu wykrystalizowana. Racjonalne argumenty sugerowałyby, że po dziełach Tadeusza Borowskiego czy Herlinga-Grudzińskiego nie warto już podejmować tego zagadnienia, nie sposób bowiem nic nowego napisać o tym problemie.

Widocznie dużo większe znaczenie odgrywają jednak argumenty i czynniki nieracjonalne oraz pozaliterackie. Drukiem wydawane są coraz to nowe teksty, które reprezentują właśnie ten, niedoceniany wcześniej przez historyków i krytyków literatury nurt martyrologiczno-mitotwórczy lub spokrewnioną z nim postawę, którą za Kazimierzem Wyką[3] i Lidią Burską[4] można określić jako koncepcję "solidarnej pamięci". Podejmują te nowe książki temat nie tylko łagrów, lecz odsłaniają – a raczej powielają – pewne aspekty życia za drutami w faszystowskich obozach koncentracyjnych. Świadczy to nie tylko o permanentnej żywotności tematu wojenno-okupacyjnego, lecz także o głębokim przywiązaniu czytelników do zakorzenionych w świadomości zbiorowej walorów romantyczno-mitotwórczych. Autorzy chętniej bowiem powracają do czasów bardziej odległych, a więc lat czterdziestych i pięćdziesiątych niż do okresu stanu wojennego, kiedy doświadczenia w obozach dla internowanych stanowiły również dość bogaty materiał literacki, choć niewątpliwie mniej "romantyczny" i daleki od martyrologicznego stereotypu.

Pojawienie się nowej fali tekstów o charakterze martyrologiczno-mitotwórczym prawdopodobnie związane jest z renesansem piśmiennictwa o zagładzie Żydów, które z natury rzeczy bliższe jest ujęciu mitotwórczemu niż koncepcji "kamiennego świata". Ta literatura działa więc inspirująco na tę twórczość, która przedstawia los ludności polskiej w czasie wojny, i *vice versa* – akcentowanie w licznych utworach martyrologii Polaków skłania autorów podejmujących temat Holocaustu, aby po raz kolejny powrócić do przedstawienia cierpień narodu żydowskiego.

Pozostając w kręgu literatury łagrowej należy podkreślić, że z przyczyn cenzuralnych przez dziesiątki lat uprawiana była ona przede wszystkim przez pisarzy emigracyjnych, podczas gdy książki o obozach faszystowskich ukazywały się w kraju, w oficjalnym obiegu. Zazwyczaj ich wydawanie było popierane i hojnie dotowane przez ówczesne władze polityczne. Przez wiele lat literatura łagrowa stanowiła więc synonim literatury emigracyjnej. Rozmaite względy polityczne, walka dwóch przeciwstawnych systemów i emocjonalny

---

Polono – Hungarica 8, Budapest, 2000.

[3] K. Wyka, *Pogranicze powieści.* Warszawa, 1974, 67.

[4] Por.: L. Burska, *Obozowa literatura.* In: *Słownik literatury polskiej XX wieku.* Wrocław – Warszawa – Kraków, 1992, 742.

stosunek Polaków do spraw drugiej wojny światowej w znacznej mierze utrudniały obiektywne spojrzenie na literaturę lagrową jak też łagrową i odbiór tej twórczości w kategoriach wyłącznie estetyczno-literackich; mimo że to pisarstwo, jako całość, jest czymś więcej niż pozostałe nurty i poszczególne świadectwa piśmiennictwa wojenno-okupacyjnego. Z dzisiejszej perspektywy literatura ta pełniej ukazuje kształt systemów totalitarnych oraz wnika w ich konstytutywne cechy.

Pierwszym w Polsce historykiem i krytykiem literackim, który w pełnym wymiarze zajął się tym zjawiskiem, był Andrzej Werner, autor *Zwyczajnej Apokalipsy* (1975), dzieła poświęconego obozowym utworom Tadeusza Borowskiego. Po zmianach ustrojowych, w Polsce wolnej od cenzury, Eugeniusz Czaplejewicz – sumując niejako upowszechnione już przeświadczenie napisał, iż literatura łagrowa "odsłaniała jako pierwsza, przed filozofami, politologami i socjologami, jakościową różnicę między zastosowaniem przemocy i terroru w XX wieku a posługiwaniem się nimi w wiekach poprzednich. [...] Można powiedzieć, że [...] odkryła totalitaryzm jako centralny problem XX wieku, wiarygodnie i wszechstronnie go opisała, udokumentowała i [...] zbadała."[5]

Nurt polskiej literatury emigracyjnej o tematyce łagrowej od połowy lat czterdziestych aż po kres istnienia "realnego socjalizmu" miał niezaprzeczalne zasługi w odsłanianiu istoty czerwonego totalitaryzmu. Jednak od ponad dziesięciu lat, odkąd już nie dzieli się literatury na dyptyk krajowy i emigracyjny, należące do tego nurtu utwory przestały pełnić misję polityczną. Będą one oceniane przez nowe pokolenia czytelników wyłącznie według ich rzeczywistych wartości literackich i dokumentalnych, a nie wedle kryteriów pozaartystycznych i pozamerytorycznych.

Wspomniane wyżej współdziałanie i współistnienie literatury Holocaustu i literatury łagrowej nie stanowi jednak dostatecznego wytłumaczenia jej dalszego rozkwitu oraz pojawienia się nowej fali literatury zsyłkowej. Nie można było tego się spodziewać, zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy w ogromnym stopniu zmieniły się gusty i wymagania czytelników, którzy zdecydowanie zwrócili się ku współczesnej tematyce. Powstaje więc pytanie, skąd to zainteresowanie, skoro z góry założyliśmy, że wymienione na wstępie teksty w dużej mierze utraciły już swą podstawową funkcję – funkcję polityczną.

Wydaje się, że na tle najnowszych badań historycznoliterackich przyczyn powinniśmy szukać między innymi w powiązaniach intertekstualnych literatury łagrowej. Mimo podobnych przeżyć Polaków w obozach hitlerowskich i łagrach stalinowskich związki intertekstualne tych książek są diametralnie inne.

Dwudziestowieczny totalitaryzm generalnie różni się od wszystkich poprzednich systemów represji. Przedstawiając nowoczesny totalitaryzm, twórcy

---

[5] E. Czaplejewicz, *Polska literatura łagrowa*. Warszawa, 1992, 25.

literatury polskiej stanęli przed ogromnym i bardzo trudnym zadaniem pokazania takich przeżyć, których praktycznie nie można opisać przy użyciu ukształtowanego przez wieki języka literackiego. Temu zadaniu w pełni potrafili sprostać tylko najwięksi, a zapewne nieprzypadkowo akurat ci, którzy podejmowali temat lagrów hitlerowskich. Wśród tych pisarzy na plan pierwszy wysuwa się Tadeusz Borowski, którego twórczość uważa się za genialną w swoim rodzaju.

Brak możliwości posługiwania się tradycyjnymi środkami literackimi oraz dawnymi gatunkami – przede wszystkim opowiadaniem i powieścią – sprawił, iż wobec obozów i łagrów, które miały swoje wewnętrzne prawa, nie można było też zastosować ukształtowanych przez wieki kategorii moralnych i wartości humanistycznych. Dlatego utwory obozowe, które charakteryzują się stałą obecnością wyraźnej nuty martyrologicznej, wywodzącej się z dziewiętnastowiecznego martyrologizmu oraz światopoglądu katolickiego, brzmią nieco fałszywie. Nie są one w stanie w pełni pokazać tego, na co człowieka stać w ekstremalnych warunkach, kim staje się człowiek, gdy otrzymuje numer i przebywa na dnie upodlenia. Właśnie teksty martyrologiczno-mitotwórcze o obozach faszystowskich wspominają historycy literatury jako najsłabsze pod względem estetycznym, mające ograniczoną wartość poznawczą. Anektują one bowiem fałszywe przekonanie o dobroci człowieka i systemie stałych wartości etycznych.

Jako kontekst intertekstualny istnieje dla tych dzieł wspomniana już literatura martyrologiczna okresu romantyzmu, w szczególności poglądy mesjanistyczne Adama Mickiewicza oraz cała twórczość pozostałych wieszczów narodowych. Są to wzorce i stereotypy bardzo lubiane, historycznie od dawna zakorzenione w świadomości Polaków, ale w warunkach nowoczesnego totalitaryzmu nie miały już racji bytu.

Zupełnie inaczej wygląda los martyrologicznej literatury łagrowej, która mimo silnej tendencyjności o charakterze politycznym i również obecnej nuty mitotwórczo-mesjanistycznej nigdy nie była tak negatywnie odbierana, jak teksty o brunatnym totalitaryzmie, które należą do analogicznej grupy.

W tym miejscu powinniśmy zwrócić większą uwagę na tendencyjny charakter tej twórczości. Przypomnijmy, że pojęcia "literatura tendencyjna" najczęściej używa się w odniesieniu do literatury polskiej okresu pozytywizmu. Pisało o niej wielu badaczy, na przykład Alina Brodzka czy Janusz Barczyński. Jest to zresztą temat dawno opracowany. Wystarczy przypomnieć, że książka Barczyńskiego pt. *Narracja i tendencja. O powieściach tendencyjnych Elizy Orzeszkowej* ukazała się już ponad dwadzieścia lat temu. Zgodnie z definicją podaną w *Słowniku terminów literackich* za tendencyjną literaturę uważa się na ogół ten typ powieści i dramatu, który główny swój cel upatruje w propagowaniu idei społecznych lub politycznych. Konstrukcja fabularna i charakterystyka

bohaterów są kształtowane w taki sposób, by służyły one upowszechnianej tezie i podkreślały słuszność przyjętego założenia[6]. Warto nadmienić i koniecznie trzeba podkreślić, że termin "tendencyjność" według autorów *Słownika* nie jest pojęciem wartościującym, lecz klasyfikującym. W takim też rozumieniu nim się posługuję. Ogromne znaczenie ma również charakter propagowanych idei, sposób i rodzaj używanych środków artystycznych oraz skala ograniczenia swobody interpretacyjnej, narzucanej przez strukturę tekstu. Tym niemniej pojęcie to w literaturoznawstwie polskim, a także w języku potocznym stale obciążone jest ujemną konotacją.

Niewątpliwie do powstania pejoratywnych skojarzeń przyczyniła się silna tendencyjność utworów wywodzących się z okresu "błędów i wypaczeń", czyli czasów socrealizmu, na co zwrócił uwagę między innymi Wojciech Tomasik w książce *Polska powieść tendencyjna 1949-1955*, rozszerzając użycie terminu gatunkowego poza zamkniętą i opisaną fazę rozwoju polskiego powieściopisarstwa w okresie wczesnego pozytywizmu. Mimo że piśmiennictwa lat schematyzmu niepodobna wymazać z dziejów powojennej literatury, rozpatrywanie okresu socrealizmu – według słów Tadeusza Drewnowskiego – "nie należy do rzeczy przyjemnych ani zabawnych (zwłaszcza jeśli się go nie ominęło samemu i nie ma się skłonności sadomasochistycznych)."[7]

Tego, co dotyczy literatury emigracyjnej lat czterdziestych i pięćdziesiątych, ani wcześniej, ani po roku 1989 po prostu nie wypadało rozpatrywać na tle literatury krajowej analogicznego okresu. Po pierwsze, w oficjalnym obiegu było to z reguły niemożliwe wobec cenzuralnych obostrzeń. Po drugie zaś, owe utwory – dzięki swej tematyce – już wcześniej zostały otoczone pewnym mitem, który doskonale chronił je przed krytycznymi uwagami natury estetycznej. Stały się one prawie nietykalne. Nie tylko zresztą w kręgach krajowej opinii publicznej. Także Maria Danilewicz-Zielińska w wydanych w Paryżu w 1977, a w Polsce w 1992 roku *Szkicach o literaturze emigracyjnej* zwraca uwagę tylko na stronę tematyczną tych tekstów, nie zajmuje się literacką konstrukcją i kompozycją przedstawionego w nich świata.

Z góry pragnę zaznaczyć, iż w dziełach emigracyjnych o tematyce łagrowej owa literacka konstrukcja ma charakter tendencyjności specyficznego rodzaju, który można by nazwać tendencyjnością "odwróconą". W tych utworach nie chodzi bowiem o propagowanie pewnych idei, lecz wyłącznie o silną antypropagandę, czyli demaskowanie i ośmieszanie systemu sowieckiego. Gdyby nie specyficzny i bardzo przygnębiający temat łagrowy (lub łagrowo-zsyłkowy), to chyba cały czas mielibyśmy do czynienia z parodią lub groteską, czego przykładem są książki Witolda Olszewskiego *Budujemy kanał. Wspomnienia*

---

[6] Por.: *S³ownik terminów literackich* pod red. J. S³awiñskiego. Wroc³aw – Warszawa – Kraków – Gdañsk, 1989. 531.

[7] T. Drewnowski: *Próba scalenia. Obiegi. Wzorce. Style*. Warszawa, 1997, 114.

kierownika Biura Planowania (Rzym 1947) i Tadeusza Wittlina *Diabeł w raju* (Londyn 1951, Warszawa 1990).

Mimo istotnych podobieństw lagrów i łagrów oraz przedstawiających je świadectw, największa różnica między krajową literaturą obozową a emigracyjną łagrową polega na głębokim upolitycznieniu tej drugiej. Ostra wymowa o charakterze politycznym jest wyrażona w niej pośrednio lub niekiedy wprost. Autorzy oskarżają nie tyle stalinowski system totalitarny, co samo państwo, w którym patologiczne zjawiska są uważane za normalne i od którego nie można oczekiwać dobra. Pokazanie w emigracyjnych tekstach rozszerzenia systemu represji na obszar całego kraju nie znajduje odpowiednika w żadnym utworze podejmującym temat obozów faszystowskich. Nie zestawiają bowiem one obozu jako systemu represji z faszystowskim państwem niemieckim. Paralela między łagrem a państwem przebiega tylko w tych utworach, które opisują obozy stalinowskie. Właśnie ta różnica i wynikające z niej konsekwencje decydują w największej mierze o tendencyjnym charakterze wielu utworów emigracyjnych.

W grupie tekstów, które powstały na emigracji, i mają znamiona tendencyjności, przykładowo można wymienić następujące pozycje: *Wspomnienia starobielskie* (Rzym 1944) i *Na nieludzkiej ziemi* (Paryż 1949, Warszawa 1990) Józefa Czapskiego; *Tyfus, teraz słowiki* (Londyn 1951) Mariana (Dominika Benedykta) Czuchnowskiego[8]; *Powiedz Zachodowi. Wspomnienia autora z okresu niewoli w obozie pracy przymusowej w Związku Sowieckich Socjalistycznych Republik* (Nowy York 1951) Jerzego Gliksmana; *Między młotem a sierpem* (Londyn 1948, Warszawa 1990) Wacława Grubińskiego; *W domu niewoli* (Rzym 1946, Warszawa 1991) Beaty Obertyńskiej (pseud. Marta Rudzka); *Więźniowie nocy* (1956) Andrzeja Romańskiego; opowiadanie Andrzeja Stockiego *Barża* z antologii opracowanej przez Marię Czapską pt. *Polacy w ZSRR 1939–1942* (Paryż 1963, Warszawa 1991); *Sprawiedliwość sowiecką* (Włochy 1945) Kazimierza Zamorskiego i Stanisława Starzewskiego[9] oraz wspomniane wcześniej książki Olszewskiego i Wittlina.

Przeglądając tę twórczość możemy się przekonać, iż pisarze polscy, niezależnie od tego, czy tworzyli w kraju, czy za granicą, pod pewnym względem przeszli bardzo podobną drogę. Po obu stronach wzięli udział w walce dwóch przeciwstawnych, wschodnich i zachodnich systemów politycznych. Tak więc publikujący na emigracji autorzy – poza naturalną potrzebą powiedzenia

---

[8] M. Czuchnowski publikowa³ tak¿e pod nastêpuj¹cymi licznymi pseudonimami i kryptonimami: Józef Buczyna, Michalina Borkowska, Stanis³awa Jazówna, M.D.C., M.Cz., Franciszek Radus, Szczepan Rawa, Micha³ Srebrzak, Apolinary Œwieæ, Bazyli Tur, strzelec Marian.

[9] Wydanie z 1945 r. ukaza³o siê pod pseudonimami Sylwester Mora — Piotr Zwierniak.

swojej prawdy o "czasach pogardy" – chcieli także odpowiadać pewnym, jasno określonym kryteriom politycznym. To pragnienie wiązało się z takim przedstawianiem ZSRR i jego obywateli, które by jednoznacznie uwypukliło przewagę demokracji nad antagonistycznym systemem, któremu na imię było komunizm. W schemacie kreślącym przejrzyste kategorie aksjologiczne nie mieścił się obraz zdeprawowanego Polaka, którego autorem byłby polski pisarz emigracyjny. Dlatego też znikoma jest ilość emigracyjnych tekstów łagrowych, reprezentujących koncepcję "kamiennego świata".

We wspomnianych powyżej utworach wyraźnie zarysowują się więc cechy, które można określić mianem tendencyjności. Podkreślam, że punktem wyjścia są teksty, których nie poddaję weryfikacji aksjologicznej, historycznej czy kulturowej. Interesuje mnie tylko to, co piśmiennictwo potrafiło zrobić z całym zespołem tragicznych przeżyć. Znamiona tendencyjności – w wielkim skrócie – skupiają się wokół następujących zagadnień:

Permanentnie w analizowanych utworach przedwojenna Polska i Rosja Sowiecka porównywane są w antynomicznych kategoriach raju i piekła, rozkwitu gospodarczego i dobrobytu oraz skrajnej nędzy i zacofania.

W tych tekstach zaznacza się również ostra opozycja: Polaka jako prawego katolika i obywatela radzieckiego jako grzesznego ateisty. Ateizm w utworach emigracyjnych pojawia się jako synonim zła, niemoralności czy też braku jakichkolwiek zasad etycznych.

Dla tendencyjnej wymowy utworów ważny okazuje się również sposób przedstawiania natury i otaczającego świata. Autorzy czynią to zawsze poprzez pryzmat przeżyć jednostki, które nakazują prezentowanie widzialnej rzeczywistości, a nawet przyrody wyłącznie w kategoriach brzydoty, niezależnie od obiektywnej wartości.

Tendencyjność przejawia się również w nazewnictwie, które związane jest z intymną sferą ludzkich zachowań. Pejoratywny termin "miłość sowiecka" łączy się tylko z wulgarnością i dewiacjami seksualnymi. Został zarezerwowany również na określenie związków homoerotycznych, zarówno męskich, jak też kobiecych.

Charakterystyczne, iż opozycja cech jawi się zawsze w kolorach czarno-białych. Podobne zestawienia występują zresztą także w obozowej literaturze martyrologicznej, z tą jednak zasadniczą różnicą, że chodzi tam przede wszystkim o uniwersalną opozycję okrutnego kata i bezbronnej ofiary, zaś inne negatywne zjawiska nie uzyskują politycznego wymiaru. Dla zilustrowania przedstawionych skrótowo tez w ramach niniejszego artykułu ograniczę się do przytoczenia nielicznych tylko przykładów, które mają wartość argumentów przemawiających za tendencyjnością emigracyjnych utworów o tematyce łagrowej.

Między młotem a sierpem (prwdr. 1948) **Wacława Grubińskiego** (1883-

1973) to jeden z utworów, który reprezentuje głęboko upolitycznioną i zaangażowaną literaturę. Grubiński widzi w idei komunistycznej przede wszystkim zło i szaleństwo. Dlatego też w odróżnieniu od wielu innych autorów-świadków, jak relacjonuje, nie przeżył żadnego szoku z powodu aresztowania we Lwowie w styczniu 1940 roku. Nie dziwił się, gdy trafił do więzienia, a następnie do łagru w Magnitogorsku. Nie oczekujący niczego dobrego od "Bolszewii", Grubiński patrzy na barbarzyństwo wschodnie z poczuciem wyższości i z taką obojętnością, jakby nie o jego życie chodziło. Wyniosła i spokojna postawa autora zaznacza się w sposobie postrzegania wszystkich przedstawianych zjawisk. Nie opisuje on cierpień ani własnych, ani innych. Nawet nieludzkie warunki i głód ogląda jakby z zewnątrz. Ów rzeczowy zapis zdarzeń stanowi główny wątek utworu. Wydaje się, że osobiste losy autora służą tylko za kanwę do sformułowania refleksji o sowieckim państwie.

Nawiasem mówiąc, sytuacja Grubińskiego była rzeczywiście groteskowa. Został bowiem skazany za napisanie dramatu pt. *Lenin*, powstałego w Polsce jeszcze w latach dwudziestych, w którym – jak twierdzili oskarżyciele – oczerniał wodza proletariatu i rewolucję bolszewicką.

Niewątpliwie w narracji Grubińskiego dotyczącej uwięzienia i pobytu w łagrze zaobserwować można wyrazisty schemat porównań między Polską międzywojenną a Rosją Radziecką. Zdaniem autora, w Polsce panowała całkowita wolność słowa i dobrobyt, obejmujący wszystkich, w ZSRR zaś było gorzej niż za cara. Jest w tym ujęciu pewna apriorycznoś, nie będziemy jej jednak w tym miejscu komentować.

Dzięki drobiazgowemu opisowi zdarzeń Grubińskiemu udało się dostrzec kilka ważnych cech czerwonego totalitaryzmu. Charakteryzuje je bardzo wnikliwie, z odrobiną kpiny i swoistego poczucia humoru. Tym sposobem odsłania obłudę radzieckiego systemu więzienno-łagrowego, w którym rzekomo wszystko dzieje się dla dobra skazanego. W utworach, które podejmują temat obozów hitlerowskich, niezliczone są przykłady poniżania skazanych i okrutnych żartów ich kosztem. Jednak nikt z nazistowskich oprawców nie pozorował, że znęcanie się nad człowiekiem i tortury mają cel wychowawczy.

Kolejne fragmenty utworu Grubińskiego pokazują inną ważną cechę systemu sowieckiego. Nie dzieli on ludzi na rasy lepsze i gorsze, natomiast z istoty tego systemu, z jego założeń wynika zmienność ról kata i ofiary. Pobieżne przedstawienie przez autora oprawców staje się również okazją do krytyki państwa komunistycznego. Ciekawy jest paralelny opis ładnego psa enkawudzistów (autor używa wyrazu "enkawedzista") i samych strażników: "było po nim widać, że jada dużo i regularnie, lepiej, oczywiście, niżeli my, a kto wie, czy nie lepiej nawet niż żołnierze. Bo ani jeden enkawedzista nie tryskał takim zdrowiem, jak ten pies, żaden z enkawedzistów nie miał tak wesołych oczu i tak pańskiej swobody w ruchach. Wszystkie psy, trzymane na smyczach,

zdawały się być panami tych, którzy je trzymali."[10]

Grubiński słusznie zauważył, że czerwony totalitaryzm pod względem gospodarczym jest nieefektywnym systemem, w którym niewolnicza praca przyczynia się może do wzrostu zamożności samych oprawców, ale nie wzbogaca społeczeństwa. Autorowi na każdym kroku rzuca się w oczy niewiarygodna nędza ludzi żyjących w pobliżu największych na świecie pieców martenowskich w Magnitogorsku.

W utworze Grubińskiego uchwycona została też inna istotna – tym razem podobna właściwości brunatnego totalitaryzmu – cecha sowieckiego systemu więziennego: ludzie nagminnie dostawali się do łagrów z powodu czynów popełnionych (lub nie popełnionych) przez ich bliskich. Różnica polega na tym, że w "Bolszewii" takie kary nawet więźniowie uważają za normalne. Oto wstrząsająca w swej lakoniczności relacja. Pewną pracownicę kołchozu aresztowano z powodu ucieczki syna z wojska: "Jego brat służy w wojsku. Ojciec też w wojsku. Więc kogo mieli aresztować? Przyszli do kołchozu i zabrali mnie. Już ja z więzienia nie wyjdę."[11]

Karę odbywał Grubiński w gułagach uralskich. Jego łagrowe losy można uznać za wyjątkowo szczęśliwe. Ze względu na słaby stan zdrowia często dostawał zwolnienia i doświadczył życzliwości niektórych współwięźniów. Przede wszystkim jednak ocalał dzięki temu, iż został zwolniony w siedem miesięcy po podpisaniu umowy między generałem Sikorskim a rządem radzieckim.

W domu niewoli (prwdr. 1946) **Beaty Obertyńskiej** (1898-1980) jest obszernym świadectwem więziennej i łagrowej tułaczki autorki. Walory artystyczne książki zapewniają jej przychylnych odbiorców nawet po długich latach.

W prologu powieści opisane zostały wydarzenia od lata 1939 roku do chwili aresztowania autorki w lipcu 1940 roku. Obertyńska niezwykle ekspresywnie przedstawia życie we Lwowie po wkroczeniu wojsk radzieckich. Poznajemy więc okupacyjną codzienność sowiecką. Pod piórem emocjonalnie zaangażowanej obserwatorki podział na przyjaciół i wrogów jest bezsporny i jednoznaczny, w którym nie ma żadnych "przejęzyczeń". Mocno zaakcentowana została zarówno solidarność Polaków i chęć niesienia bezinteresownej pomocy, bez względu na zajmowaną przez nich pozycję społeczną, jak też dyskryminujący charakter zarządzeń nowych władz. W jednoznacznych kontrastach przedstawia autorka również różnice obyczajowe, kulturowe i moralne między Polakami a ludźmi radzieckimi, uwypuklane przez światopoglądową odmienność katolików i ateistów.

---

[10] W. Grubiński, *Między młotem a sierpem*. Warszawa, 1990, 185.

[11] *Ibidem*, 193.

Część pierwsza utworu nosi tytuł *Przez więzienia*. Składa się z pięciu mniejszych podrozdziałów: *Brygidki*, *W sowieckich tiurmach*, *Starobielsk*, *Transport na północ*, *Łagier pod biegunem*. W tej części na szerokim tle historycznym, obyczajowym i moralnym został naszkicowany szokujący obraz więziennictwa radzieckiego i sowieckich łagrów. Obertyńska, podobnie jak Grubiński, bardzo rzadko pisze o własnych cierpieniach i równie rzadko wspomina swoich oprawców. Jeżeli o tym napomyka, to zawsze z intencją potępienia sowieckiego systemu.

W partiach książki dotyczących uwięzienia centralne miejsce zajmuje opis "Brygidek" we Lwowie. "Brygidki" to stare więzienie, które w swej historii kilka razy zmieniało właścicieli. Do września 1939 roku było ono polskim więzieniem. Potem przejęła je władza sowiecka wraz ze wszystkimi dawniejszymi więźniarkami. Warunki życia w tym więzieniu były, wedle autorki, bardzo prymitywne, szczególnie od chwili zajęcia Lwowa przez Sowietów i uwięzienia setek kolejnych osób. Dla znaczącego porównania dawnych czasów z obecnymi autorka posługuje się zdaniem wieloletniej mieszkanki "Brygidek", co roku załatwiającej sobie zakwaterowanie w więzieniu na okres zimowy. Na tle obecnych warunków "stare dobre czasy" tego więzienia przypominają jakieś sanatorium czy zakład rehabilitacyjny:"„z nas każda jedna miała swoje łóżko i siennik i prześcieradło. I jeść też dawali dobrze... Nie mogę powiedzieć... Słoninę, mięso – bo chleb nawet nie mówię. Tu, na jednej celi byli warsztaty. Kto chciał, to się uczył kilimów. W niedzielę to my zawsze szli na nabożeństwo do kaplicy! A jakże czysto poubierane, zaczesane".[12]

Cierpienia uwięzionych zwiększał w czasie okupacji straszny tłok i brud, świerzb i pluskwy. Na sto trzydzieści kobiet przypadało tylko osiemdziesiąt legowisk i dwie miednice w brudnej łazience. A jednak, nawet wobec tych warunków, autorka w swej relacji zachowuje pewien dystans. Jej kunszt pisarski polega na tym, że sama nie ocenia, jest tylko relacjonującym obserwatorem. Oceny i gotowe schematy myślowe wypowiadają u niej zawsze inni, jak widzieliśmy na przykładzie współwięźniarki, zadowolonej z przedwojennego "pensjonatu".

Obertyńska nie selekcjonuje przedstawionych zdarzeń według ich apriorycznej ważności. U niej na jednej płaszczyźnie funkcjonują przesłuchania, sprzątanie celi lub tępienie pluskiew, co jest zajęciem jak każde inne.[13] W rezultacie czytelnik ma wrażenie spontaniczności wyboru materiału. Dopiero wnikliwa analiza tekstu pozwala zauważyć, jak bardzo staranna i dopracowana jest technika warsztatu pisarskiego autorki. Polega ona na takim wyborze elementów świata przedstawionego, aby jak najmocniej – i bez dosadnej

---

[12] B . Obertyńska, *W domu niewoli*. Warszawa, 1991, 40.
[13] Ibidem, 39.

perswazyjności – uwydatnić ostry przedział pomiędzy dobrem a złem, aby odbiorca za własne przyjął stanowisko prezentowane przez autorkę.

Dotyczy to także autorskiej klasyfikacji więźniarek. W momentach psychicznego załamania współwięźniarki są dla Obertyńskiej złośliwą masą bez twarzy, tłumem półnagich, brudnych i wulgarnych kobiet. Innym razem autorka posługuje się zakorzeniowymi w świadomości Polaków stereotypami. Najwyżej w hierarchii więziennej sytuuje Obertyńska "zeki"[14] polityczne, które pod każdym względem przewyższają pozostałe. Do politycznych zalicza autorka zarówno siebie, jak i wszystkie Polki aresztowane za nielegalne przekroczenie granicy. One są ciche i spokojne, robią różańce z chleba i wspólnie się modlą. Niektóre z nich (np. "złota" Cesia) charakteryzują się niezwykłą ofiarnością. Pomagają innym we wszystkim, dzielą się ostatnim kęsem chleba.

Pod względem kultury osobistej od tych Polek znacznie odbiega następna grupa. Tworzą ją Żydówki, "bogata granica" i ą"spekulanci", do których władze sowieckie zaliczały każdego sklepikarza, kupca i handlarza.

Jeszcze niżej w zarysowywanej przez Obertyńską hierarchii sytuują się Ukrainki z miast i ze wsi, w szczególności spoza Karpat. Autorka nazywa je Węgierkami.

Najniżej zostały umieszczone kryminalistki pospolite i prostytutki, pozbawione wszelkich skrupułów i – zdaniem autorki – czujące się znakomicie w więzieniu. Właśnie im Obertyńska przeciwstawia grupę inteligencji, przede wszystkim polskiej, nie umiejącej siłą zdobywać miejsc, wymyślać dyżurnym czy walczyć o dodatkową porcję marnej zupy. Stosując te kontrasty, autorka trafnie zauważa jednak powszechną potrzebę dostosowania się do warunków po to, aby przetrwać.

Ostry przedział między Polakami a więźniami innych narodowości w dalszych partiach utworu, przedstawiających łagry, ulega z jednej strony pewnemu złagodzeniu, z drugiej jeszcze dobitniej akcentowana zostanie przewaga moralna tych pierwszych. Łagier w Starobielsku został opisany ze wszystkimi szczegółami. Ten fragment książki niemalże w czystej formie ilustruje cechy martyrologicznej literatury łagrowej. Konflikty wśród więźniarek zostały tu zatuszowane lub opisane pobłażliwie, z wielkim poczuciem humoru. Na plan pierwszy wysuwa się stan zamknięcia, beznadziejnego czekania i permanentnego głodu. W tych nieludzkich warunkach właśnie Polki prowadzą "otwarty dom", dzielą się paczkami, organizują życie kulturalne. Pozostałe więźniarki przychodzą do nich po to, aby posłuchać bajek i opowiadać lub pograć w brydża. Mężczyźni przygotowują dla kobiet drobne upominki z drewna i kości, na przykład krzyżyki albo medaliki. Więźniarki odwzajemniają się

[14] **zek** — to rosyjski skrót od słowa **заключённый**, oznacza to samo, co **häftling** w obozach hitlerowskich (więzień).

papierosami, tytoniem, zapałkami lub chlebem. Obertyńska akcentuje znaczenie prawdziwej przyjaźni, sama zaprzyjaźniła się na całe życie z dwiema łagrowymi koleżankami. "Człowiek przecież zżywa się w takiej celi łatwiej, prędzej i serdeczniej niż na wolności."[15]

Chociaż autorka najwięcej uwagi poświęca opisowi zachowania swoich rodaków, to stara się również pokazać przedstawicieli innych narodowości. W dalszym ciągu opiera się nie tylko na własnych obserwacjach, lecz także na stereotypach kulturowych.

Zgodnie z przeświadczeniami Obertyńskiej Rosjanie w jej relacji charakteryzują się wrodzoną dobrocią. Rosyjscy lekarze-więźniowie ratują współwięźniów wszystkimi możliwymi środkami, którymi dysponują w nędznych warunkach łagrowych.

Z kolei bogatsze Ukrainki wedle świadectwa autorki *W domu niewoli* są inteligentne, natomiast te "dzikie" z Zakarpacia – głupie. Odnoszą się one do Polek zawsze z nienawiścią.

Autorka opisuje także zachowanie niektórych innych więźniarek. Przedstawia między innymi węgierską Żydówkę, która często wróżyła, oraz Czeszkę, która mówiła śmieszną, rosyjsko-węgierską polszczyzną.[16] Na podstawie jej mieszanego języka wolno sądzić, iż autorka się pomyliła i owa Marzenka musiała być raczej Słowaczką lub Rusinką z Zakarpacia.

Mimo dosyć stronniczego obrazu współwięźniarek niezaprzeczalną zasługą autorki jest posłużenie się instynktownym i subtelnym humorem. Jego obecność świadczy o specyficznym widzeniu świata oraz o możliwości zachowania odrębnej postawy psychiczno-intelektualnej, nawet w warunkach ekstremalnych, które nie sprzyjają indywidualizmowi.

W rozdziale czwartym (*Transport na Północ*) autorka na pewien czas zrywa z mityzacją cech ludzkich współwięźniarek. Kiedy ciężkie warunki podróży odsłaniają słabości ludzkiej natury, zamiast słów o godności słyszymy więc znowu: "Jakąż straszną rzeczą staje się w gromadzie – człowiek!"[17] A przy tym, co może zastanawiać, uwagi autorki jednak nie dotyczą wszystkich więźniarek. Odnoszą się przeważnie do "Zakarpacia" i Żydówek, podczas gdy Polki, udostępniające swe porcje jedzenia najbardziej „krzyczącym", zachowują się nadal wzorowo.

Bezpośrednie zetknięcie z Krajem Rad sprowokowało autorkę do wyrażenia jak najgorszej o nim opinii. Na przykład więzienie w Kijowie kojarzyło się jej z grobowcem. Gdy bramę zamknięto, autorka odniosła wrażenie, iż podobne uczucie muszą mieć dusze wchodzące do czyśćca.[18] Jedynym ratunkiem była dla

---

[15] B. Obertyńska, *op. cit.*, 116.
[16] Ibidem, 112.
[17] Ibidem, 130.
[18] Ibidem, 63.

niej nadzieja, umocniona głęboką wiarą w Boga, pomagająca znieść każdą trudność. Obertyńska znajduje usprawiedliwienie doznawanych cierpień w wierze katolickiej, która daje jej moralne wsparcie i możliwość samoobrony przed niebezpieczeństwem utraty człowieczeństwa.

ZSRR wspomina jako największą "tiurmę świata i historii",[19] jako „ponurego kolosa, którego samo imię było [...] zmorą od lat".[20] Do takich — tym razem jawnie oceniających rozważań — autorka wraca kilkakrotnie, nazywając państwo Stalina "krajem zbrodniarzy", "hermetycznie zamkniętą kaźnią", gdzie dzieją się rzeczy gorsze niż za cara Iwana Groźnego.[21]

Z taką jednoznaczną interpretacją w pełni koresponduje ostatni rozdział pierwszej części (*Łagier pod biegunem*) i cała druga część, zatytułowana *Na tak zwanej wolności.* W tych partiach, które traktują o innych łagrach (Workuta) oraz o życiu w kołchozie pod Bucharą, autorka świadomie nawiązuje do wcześniejszego opisu Starobielska, wskazując na podobieństwa i różnice między tymi łagrami.

Poza opisem warunków i zachowania więźniarek ważne miejsce w tych fragmentach powieści zajmują refleksje dotyczące skutków wychowania łagrowego. Autorka dokonuje oceny moralnej w duchu przedwojennego kanonu wartości humanistycznych. W dalszym ciągu nie traci również na ważności kontrast Polaka i nie-Polaka. Dominuje w tej części utworu tonacja patetyczna; Polacy zostali ocaleni z obszaru zła. Ta konstatacja nie dotyczy innych więźniów i "wolnych" obywateli radzieckich, do zachowania których stosuje Obertyńska na przykład określenia "sowiecka miłość" lub "sowieckie dzieci". Te pojęcia autorka sytuuje w szerokim kontekście moralno-znaczeniowym. Generalizuje je jako typ, jako stałe cechy właśnie człowieka sowieckiego, przeciwstawiając je polskim, przedwojennym typom zachowania. Opinia autorki o życiu w ZSRR utrzymana jest w przygnębiającej tonacji. Obertyńska dochodzi do wniosku, iż wszyscy w tym kraju są uwięzieni. Codzienny byt tak zwanych wolnych obywateli niewiele się różni od życia zeków, skazanych na pracę przymusową.

W tej sytuacji, mimo ocalenia z obozu, przeżycie totalnego uwięzienia trwa. Wyzwala z niego autorkę dopiero ów moment, gdy w roku 1942 opuszcza granice ZSRR i wraz z Armią Andersa wyjeżdża na Bliski Wschód.

Znamienne, iż w analizowanej powieści Obertyńskiej opisy przyrody odbiegają od ujęć stosowanych przez autorów piszących o lagrach faszystowskich w duchu piśmiennictwa martyrologiczno-mitotwórczego. Warto przypomnieć, iż w tekstach lagrowych zjawiska przyrody stanowią na ogół albo fizyczną udrękę, jak na przykład deszcz u Marii Zarębińskiej-Broniewskiej (*Opowiadania oświęcimskie*, 1960), albo swoją sielankowością, na zasadzie

---

19 Ibidem, 62.

20 Ibidem.

21 Ibidem, 96-97.

antynomii, uwypuklają niedolę więźniów. Tak przedstawia Gustaw Morcinek bliskość Alp w tomie *Dziewczyna z pól Elizejskich* (1946) czy Wanda Żółkiewska opisuje malownicze miasteczko w Niemczech (*Kobiety z Limbach*, 1946).

Jak już wspominałem, pisarze emigracyjni bardzo często snują refleksje o przyrodzie poprzez pryzmat indywidualnych przeżyć. Tu także ważne są opisy nieznośnych upałów i mrozów, ale poza tym natura nabiera w tych utworach cech politycznych. Jest ona obca i wroga lub – poprzez swoją bezbronność – natura budzi u autorów współczucie. Na przykład Obertyńska nie bez powodu wprowadza w tok narracji zdania typu: "Biedna jabłoń! Jakie to musi być straszne rosnąć na zawsze w Rosji!"[22] Innego przykładu dostarcza opowiadanie Andrzeja Stockiego *Barża*, w którym piękna majowa przyroda stanowi przede wszystkim psychiczną udrękę. Budzi większą grozę aniżeli psy i strażnicy. Księżyc jest "ohydnie wykrzywiony", miliony "małych księżyców", czyli gwiazdy, śledzą i kontrolują każdy ruch więźniów. Jedynie słońce jest tworem bezgranicznie dobrego Boga. Także u Grubińskiego słońce jest synonimem szczęścia, dobroci i boskiej opieki, zaś deszcz i błoto – brudu i zacofania. Tadeusz Wittlin w książce pt. *Diabeł w raju* opisuje ogromny pożar wokół obozu w Workucie. Pożaru nikt nie gasi, bo las jest sowiecki, więc niczyj. Majestatyczne drzewa syberyjskie – jak więźniowie – są zdane na pastwę losu. Jałowce giną "po męsku", ich śmierć budzi prawdziwy żal i współczucie narratora.

Naszkicowane powyżej zagadnienia tylko pobieżnie charakteryzują bogaty wachlarz konkretnych realizacji tendencyjności wielu utworów z kręgu piśmiennictwa o tematyce łagrowej. Autorzy, podejmujący tę problematykę, nasycali swe utwory pierwiastkami politycznymi o jednoznacznie antyradzieckiej wymowie. Tuż po wojnie, w dobie największego kryzysu wszelkich wartości, właśnie te dzieła, klasyfikowane tu jako tendencyjne, wskazywały na nieuchronny rozłam w koalicji antyhitlerowskiej aliantów i polaryzację politycznych stanowisk.

Po roku 1989 te utwory były nowością dla większości polskich czytelników i ich tendencyjność najwyraźniej nie została dostrzeżona. Uwagę zwracano przede wszystkim na demaskatorski charakter tych książek oraz na ich dokumentalne wartości.

Sprzyjające po zmianach ustrojowych warunki polityczne nie były jedyną przyczyną kariery tych utworów. Upadek komunizmu nie tłumaczy również w pełni wydawania dalszych pozycji aż do dnia dzisiejszego. W kręgu utworów, które ujrzały światło dzienne dopiero w ostatnich latach, widać zresztą wyraźną zmianę w sposobie opisu przedstawionego świata i również w charakterze cech

[22] Ibidem, 113.

tendencyjnych. Miejsce wprost wyrażonych sądów politycznych zajmują bardziej wyważone refleksje i komentarze autorskie. Osoby mówiące w tych tekstach więcej niż wcześniej uwagi poświęcają opisowi własnego losu, przeżycia zbiorowości mają mniejsze znaczenie. Zanika w utworach też euforia, która związana była z powrotem po wojnie czy dopiero po roku 1953, kiedy ocaleli świadkowie znaleźli się wreszcie w kraju. Wielu autorów przekazuje informacje o późniejszym okresie, o tym, że zastali Polskę inną, niż tę, jaka żyła w pamięci zeków podczas pobytu w łagrze czy na zsyłce.

Książki napisane z zachowaniem dużego dystansu czasowego charakteryzują się też pewną nostalgią za utraconą i okaleczoną młodością. Pod tym względem doskonale wpisują się w kresowy nurt polskiej prozy. Ten nurt, który można by też nazwać nurtem ocalającym ginące kultury, począwszy od lat siedemdziesiątych zdobył w kulturze polskiej ogromną popularność. Nic dziwnego, skoro jest on reprezentowany między innymi przez twórczość Tadeusza Konwickiego, Andrzeja Kuśniewicza, Czesława Miłosza i Juliana Stryjkowskiego. Wystarczy wspomnieć sukces *Kroniki wypadków miłosnych* (1974), *Lekcji martwego języka* (1977), *Doliny Issy* (1955, wydanie krajowe 1981) lub *Austerii* (1966), aby się przekonać o zbieżności oczekiwań czytelniczych i faktu, że nurt ten reprezentowany jest akurat przez najlepszych pisarzy polskich okresu powojennego.

Warto podkreślić, że sam nurt kresowy istnieje też nie od wczoraj, przecież fale emigracyjne po klęsce powstania listopadowego i styczniowego niemalże w naturalny sposób wytworzyły tę nostalgiczną twórczość, odzwierciedlającą arkadyjski mit utraconej ojczyzny. Za prekursora tej literatury uważa się znów Adama Mickiewicza, którego słowa z *Pana Tadeusza*, "Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;" – będące notabene parafrazą znanej fraszki Jana Kochanowskiego – zdaje się, że na zawsze określiły wyobrażenie ojczyzny między innymi wyżej wspomnianych twórców.

W życiu i twórczości autorów dzieł, które mieszczą się w nurcie kresowym, ważną rolę odgrywały okolice Wilna czy Lwowa. Stamtąd przecież najczęściej oni pochodzili. Nie trzeba również tłumaczyć, że emocjonalny stosunek Polaków do tych krain jest jednoznacznie pozytywny. Młode pokolenia mogą ich nie znać z autopsji, mimo to już same nazwy geograficznie brzmią swojsko i nacechowane są odpowiednią pozytywną konotacją.

Przenikanie w piśmiennictwo łagrowe dziedzictwa romantycznego za pośrednictwem współczesnej literatury kresowej w dużej mierze ułatwia odbiór tego pisarstwa jako wciąż żywego i aktualnego. Utwory te powstają wysiłkiem ostatnich ocalałych świadków, którzy są jeszcze są wśród żywych lub odeszli niedługo po ukazaniu się swoich książek.

W przyswajaniu najnowszych książek o tematyce łagrowo-zsyłkowej duże znaczenie mają również bogate tradycje dziewiętnastowiecznej polskiej

literatury zsyłkowej, która jako pierwsza pokazała niedolę Polaków rzuconych na tereny surowych krain Sybiru i innych regionów Rosji. Tę właśnie literaturę nazywa Czaplejewicz w swej książce literaturą "syberyjską". Między nią a współczesną literaturą łagrową istnieje wprawdzie zasadnicza różnica w typie przekazywanych przeżyć i charakterze władzy, której Polacy zostali poddani, niemniej jednak doskonale przygotowała ona pozytywny odbiór martyrologicznych tekstów łagrowych.

Nakładanie się upowszechnianych przez utwory skojarzeń kulturowych i historycznych, których wyrazem są dzieła o tematyce kresowej, oraz książki, które opowiadają o doświadczeniach łagrowych, a zatem intertekstualne wzajemne przenikanie się tekstów – przesłania bardzo wyrazistą zresztą i naszkicowaną wyżej tendencyjność literatury łagrowej. Dzieje się tak dlatego, iż prototyp owej literatury, czyli tendencyjna literatura pozytywistyczna tematycznie zupełnie się różni zarówno od kresowego, jak też łagrowo-zsyłkowego nurtu polskiej prozy. Ponadto opóźniony odbiór krajowy prozy emigracyjnej nie pozwalał rozpatrywać tej twórczości na tle tendencyjnej literatury okresu socrealizmu. Z kolei sposób prezentowania człowieka radzieckiego czyli – posługując się słowami Józefa Tischnera – *homo sovieticus* w tekstach łagrowych nie znajduje wprawdzie potwierdzenia w innych nurtach, w szczególności w tekstach o obozach hitlerowskich, ale odwołuje się on do pewnych utartych stereotypów nie tylko z czasów carskich, lecz także z lat powojennych.

Rozpowszechniany w książkach łagrowych wizerunek Rosji i Rosjan jednak tylko na pozór jest negatywny. Większość autorów ostro oddziela bowiem przedstawicieli władzy totalitarnej od reszty społeczeństwa i nawet na niektórych wykonawców stalinowskich patrzy z taką pobłażliwością, jakiej się nie spotyka w analogicznym nurcie lagrowym, który przynosi z reguł „czarny" wizerunek władców obozów koncentracyjnych. Wymienność roli oprawcy i ofiary miała bowiem zupełnie inny wymiar w obozach niż łagrach.

Success of Trends of Martyrdom
in Polish Concentration Camp Literature.
Intertextual Interpretation
Summary

In his article, the author sets out to investigate the causes, which led to the favourable reception of myth-creating prose of Stalin's labour camps. Up until 1989, it was primarily recognised by Polish emigrant authors and it only became known to the public after the political changes. The important feature of works of this kind is that they belong to the trend of martyrdom and myth creating, which is relatively highly appreciated by literary historians.

Of the prose depicting fascist labour camps, the brilliant short stories by Tadeusz Borowski have been considered most significant by later generations. Following a principle different from those of the above-mentioned works, he deprives man of the myth build around him throughout the centuries, and examining the essence of the totalitarian regime he proves that it is impossible to remain innocent in it, as the role of the executor and the victim can change.

The author maintains that the success of the artistically poorer and tendentious works about Soviet labour camps does not only lie in their strong political tone, harshly criticising Stalinism. One of the reasons for the favourable reception is that unlike books about fascist concentration camps, they appear in a different intertextual setting of works closer to the reader of today. These are the Siberian literature of great tradition about the Polish exiles of the 19th century and also the highly artistic literature of the "end of the country" popular since the 70s, that is the books about regions in today's Lithuania and the Ukraine.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS

SLAVICA XXX, 171-192 2000 DEBRECEN

Świadectwo epoki
O koncepcji literatury Stefana Kisielewskiego

M. RYSZKIEWICZ

1.

Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911-1991) obejmuje trzy działy: publicystykę, książki i artykuły o muzyce oraz beletrystykę, tzn. opowiadania i powieści. Sama bibliografia jego twórczości wykonana *lege artis* zajęłaby kilkadziesiąt stron druku. Opis treści tych pism, skorelowanie ich z wydarzeniami politycznymi i kulturalnymi ubiegłego półwiecza, a ponadto usytuowanie poglądów i tez autora w polskiej czasoprzestrzeni myślowej – to już setki stronic i lata pilnej pracy. Zważywszy wyjątkową pozycję Kisielewskiego w życiu umysłowym powojennej Polski, praca ta niewątpliwie zostanie kiedyś wykonana i te setki stronic zapisane[1].

Opinia Wojciecha Skalmowskiego, choć sformułowana przed kilkoma laty, nadal zachowuje aktualność, ponieważ pełne opracowanie pisarskiego dorobku publicysty, felietonisty, krytyka muzycznego i literackiego oraz powieściopisarza ciągle czeka na autora. Warto przy tym zauważyć, że Skalmowski pominął w swoim skrótowym wyliczeniu twórczych dokonań Kisielewskiego informacje o jego kompozycjach muzycznych[2], jak też o udziale w życiu politycznym, do którego Kisielewski włączył się aktywnie między innymi po przełomie październikowym 1956 roku, pełniąc przez dwie kadencje funkcję parlamentarzysty jako członek katolickiego koła poselskiego *Znak*.

Tym niemniej faktem pozostaje, iż ze względu na barwność sylwetki oraz rzadką do pewnego czasu postawę niezależnego opozycjonisty, jaką Kisielewski

---

[1] W. Skalmowski, *Przystanki w czasie. O powieściach Stefana Kisielewskiego*. Zeszyty Literackie 1, 1993, 130.

[2] *Melos, logos, etos*. Materiały sympozjum poświęconego twórczości Floriana Dąbrowskiego, Stefana Kisielewskiego, Zygmunta Mycielskiego. Warszawa, 1987; F. A. Dąbrowski, Stefan Kisielewski. Poznań, 1995.

konsekwentnie przyjmował od początku swojej prawie pięćdziesięcioletniej działalności politycznej, muzycznej, publicystycznej i literackiej – więcej uwagi poświęca się jego biografii, mniej zaś pisarstwu[3]. Świadczą o tym chociażby liczne książki przedstawiające niepospolitą osobowość Kisielewskiego[4], jak też zdobywające coraz większy prestiż nagrody jego imienia, którymi wyróżniani są corocznie nietuzinkowi Polacy, ale rzadziej literaci i ludzie kultury, częściej natomiast politycy, ekonomiści oraz dziennikarze[5].

Jako pisarz Kisielewski bardziej był znany w roli publicysty niż twórcy powieści. Popularność i autorytet przyniosły mu bowiem przede wszystkim felietony, które pod pseudonimem Kisiel publikował w *Tygodniku Powszechnym* od 1945 do 1990 roku. Przez niemal pół wieku w tym jedynym, opozycyjnym, a ukazującym się legalnie, katolickim piśmie społeczno-kulturalnym, mimo cenzuralnych ograniczeń, Kisielewski swoimi felietonami, wedle opinii Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, "w jakimś przynajmniej stopniu wytrącał inteligencję polską z grożącego jej stanu odrętwienia"[6]. Po 1976 roku teksty Kisiela były publikowane również systematycznie na łamach paryskiej *Kultury* oraz w periodykach drugoobiegowych, w których felietonista nie musiał już uciekać się do używania mowy ezopowej w celu ominięcia obostrzeń cenzury PRL oraz dla popularyzacji swoich nonkonformistycznych poglądów.

Felietonistyka, która w głównej mierze przyczyniła się do zdobycia i utrwalenia niezależnej pozycji Kisielewskiego w życiu kulturalnym Polski po II wojnie światowej, sprawiła również, iż jego powieściopisarska twórczość bywa na ogół marginalizowana lub zgoła lekceważona. Oprócz maski przewrotnego i szyderczego felietonisty, jaka na trwale przylgnęła do publicznego wizerunku Kisiela, także etykietka szybko, z natury rzeczy, dezaktualizujących się "powieści politycznych", pod którą to etykietką najczęściej funkcjonują utwory prozatorskie Kisielewskiego, jak też w końcu sposób ich wydawania nie sprzyja docenieniu wartości jego dzieł z zakresu prozy narracyjnej. Zaledwie kilka utworów ukazało się w kraju pod nazwiskiem Kisielewskiego (*Sprzysiężenie*, 1947; *Zbrodnia w Dzielnicy Północnej*, 1948; *Przygoda w Warszawie*, 1958) lub

---

[3] L. Szaruga, *Pisarz, którego nie było*. In: Literatura źle obecna. (Rekonesans). Londyn, 1984; M. Szpakowska, *Kisielewski: powieści dla dorosłych*. In: Literatura źle obecna; R. Zimand, *"O byciu zdrowym na umyśle w szalonym miejscu"*. In: Melos, logos, etos; M. Woźniakiewicz-Dziadosz, *Dyskursywna powieść Stefana Kisielewskiego "Wszystko inaczej". Opis formy otwartej*. In: Formy dyskursu w powieści. Pod red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Lublin, 1997.

[4] J. Jarocki, *Czterdzieści pięć lat w opozycji. (O ludziach "Tygodnika Powszechnego")*. Kraków, 1990; J. Waldorff, *Słowo o Kisielu*. Warszawa, 1994; M. Urbanek, *Kisiel*. Wrocław, 1997; *Kisiel*, (wywiady Joanny Pruszyńskiej). Warszawa, 1997.

[5] *Kisiel wprost. 10 lat Nagród Kisiela*. Poznań-Warszawa, 1999.

[6] G. Herling-Grudziński, *Kisiel i Kisielewski*. In: Kisiel, (wywiady Joanny Pruszyńskiej), 7.

Teodora Klona (*Miałem tylko jedno życie*, 1958; *Kobiety i telefon*, 1960), pozostałe natomiast były wydawane poza zasięgiem cenzury w emigracyjnych oficynach wydawniczych i sygnowane w większości pseudonimem Tomasz Staliński, który sam autor powieści rozszyfrował dopiero w 1980 roku (*Widziane z góry*, 1967; *Cienie w pieczarze*, 1971; *Romans zimowy*, 1974; *Śledztwo*, 1974; *Ludzie w akwarium*, 1976; *Podróż w czasie*, 1982; *Wszystko inaczej*, 1986).

Ze względu na polityczne uwarunkowania i w wyniku świadomej decyzji pisarza jego powieści dzieliły więc los d w ó c h n u r t ó w literatury polskiej: k r a j o w e g o , który poddawany był zmiennej opresywności nakazów cenzury zawisłych od chwiejnej koniunktury politycznej, oraz e m i g r a c y j n e g o , który z oczywistych powodów nie mógł liczyć na szeroki odbiór. Ukazujące się od 1995 roku *Pisma wybrane*, których kolejne tomy obejmują również między innymi pośmiertnie wydane teksty – ostatnią powieść i dzienniki – w niewielkim jak na razie stopniu przywróciły beletrystycznej twórczości Stefana Kisielewskiego należyte miejsce w historii polskiej literatury[7].

Jeszcze bardziej niż powieściopisarstwo Kisielewskiego w zapomnienie poszła jego, dyskursywnie wykładana koncepcja literatury, która zasługuje na uwagę z trzech co najmniej powodów. Po pierwsze, stanowi ona wyraz pisarskiej świadomości Kisielewskiego, którą systematycznie upowszechniał w utworach krytycznoliterackich poświęconych twórczości innych pisarzy oraz w pracach będących komentarzem do jego własnych utworów. Po drugie, wyłaniająca się z tych rozlicznych tekstów koncepcja literatury okazuje się zaskakująco spójna, konsekwentna i stabilna, ponieważ Kisielewski pozostawał jej wierny w ciągu całej twórczej działalności nie tylko jako krytyk literacki, lecz również jako powieściopisarz.

Trzecia przyczyna, która wyjaśnia powody zajęcia się "teorią literatury" Kisielewskiego, wiąże się właśnie z naukową refleksją o literaturze, bowiem poglądy na dzieło literackie, jakie Kisielewski formułował w recenzjach i artykułach oraz próbował realizować we własnej twórczości powieściopisarskiej, znajdują swój odpowiednik w tych literaturoznawczych koncepcjach, które za równouprawniony uznają status dzieła literackiego "o orientacji praktycznej" i "o orientacji czysto humanistycznej"[8], dzieła w "retorycznej" i "poetyckiej" jego odmianie[9], dzieła pojmowanego jako twór "heteroteliczny" i "autoteliczny"[10] lub

---

[7] S. Kisielewski, *Zanim nadejdzie śmierć*. Warszawa, 1995.

[8] S. Skwarczyńska, *Wstęp do nauki o literaturze*. T. 3, Warszawa, 1965, 100-101.

[9] J. Misiewicz, *Światopogląd i forma. O artystycznych wartościach literackich*. Lublin, 1983, 87.

[10] E. Czaplejewicz, *Pierwotne założenia: Czym jest poetyka pragmatyczna?* In: E. Czaplejewicz, Pragmatyka, dialog, historia. Problemy współczesnej teorii literatury. Warszawa, 1990, 22.

też dzieła wykorzystującego „użytkowe" i "artystyczne" formy piśmiennictwa[11]. Dopiero zrównanie w literaturze tego, co uznaje się czasem za nieliterackie (nieartystyczne i pozaestetyczne), oraz tego, co powszechnie uchodzi za literackie (artystyczne i estetyczne), pozwala ogarnąć całe bogactwo i różnorodność literatury oraz zbudować jedną spójną teorię dzieła literackiego bez uciekania się do takiego normatywnego i arbitralnego wyznaczania granic sztuki słowa, jak na przykład w istotnej skądinąd koncepcji Romana Ingardena[12]. Z tymi literaturoznawczymi zapatrywaniami na utwór literacki, które łączą dwoiste wartości i funkcje literatury, a przez to nie chybiają jej rozbieżnym przeznaczeniom i zróżnicowanym zadaniom, koresponduje teoria Stefana Kisielewskiego, chociaż nie uzurpuje ona sobie prawa do naukowości.

Te trzy przyczyny są już wystarczającymi powodami do przypomnienia poglądów Kisielewskiego. Istnieje wszakże jeszcze czwarta ważna przyczyna. Wynika ona z oczywistego poniekąd faktu, że budowaniu koncepcji Kisielewskiego towarzyszyły pewne szczególne uwarunkowania polityczne, które tworzy cała historia powojennej Polski. Z jednej strony te specyficzne okoliczności znajdują odzwierciedlenie w zapatrywaniach Kisielewskiego, ponieważ wpływały na ich charakter, chociaż, z drugiej strony, nie determinowały one bezpośrednio poglądów Kisielewskiego jako krytyka literackiego i jako powieściopisarza. Dlatego owe poglądy zarówno tworzą koherentny i niezmienny system myślowy, co stanowi jeszcze jeden dowód niezależności postawy jego twórcy, jak też są zwierciadłem niestabilnych czasów, w których ów system powstawał.

Ze względu na bogactwo, zróżnicowanie i niejednorodność pisarskiego dorobku nie sposób omówić w krótkim szkicu tych wszystkich jej rodzajów, w których Kisielewski zawarł swoją koncepcję literatury. Niniejszy artykuł nie będzie więc takim całościowym i usystematyzowanym "opisem treści pism" Kisielewskiego, którego powstanie, w przytoczonej na wstępie wypowiedzi, postulował Wojciech Skalmowski. Ten szkic stanowi zaledwie próbę rekonstrukcji podstaw systemu myślowego Kisielewskiego, ale tylko w zakresie jego poglądów na literaturę, nie zaś na sztukę w ogóle. W tym artykule nie zostaną również omówione wszystkie aspekty koncepcji literatury wypracowanej przez Kisielewskiego, jak też sposoby jej urzeczywistnienia w powieściach jego autorstwa, lecz zostaną odtworzone wyłącznie zręby autorskiej "teorii dzieła literackiego", która wyłania się z kilku prac.

Przedstawiana rekonstrukcja poglądów Kisielewskiego oparta została na trzech rodzajach tekstów, które w dyskursywny sposób podejmują zagadnienia natury literackiej. Są to w układzie chronologicznym: wybrane artykuły

---

[11] M. Woźniakiewicz-Dziadosz, *Obrzeża formy powieściowej*. Lublin, 1998, 9-18.

[12] R. Ingarden, *O dziele literackim*. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii kultury. Przeł. M. Turowicz, Warszawa, 1960.

publicystyczne, stanowiące zresztą ułamek imponującej liczby prac ogłaszanych w krajowych i zagranicznych periodykach; fragmenty *Dzienników* i autotematyczne dygresje z powieści *Wszystko inaczej*. Wybrane teksty mogą zaledwie przybliżyć dyskursywnie formułowane przez Kisielewskiego poglądy na literaturę. Skoro tworzą one jednak spójny i stabilny system, to wykorzystanie jedynie kilku, ale za to reprezentatywnych wypowiedzi gwarantuje rzetelną jego rekonstrukcję.

2.

Prowadzone na łamach powojennej prasy polskiej dyskusje, w których Stefan Kisielewski wielokrotnie zabierał głos począwszy od 1945 roku, tylko na pozór dotyczyły literalnie nazywanego w publikacjach przedmiotu polemik. Narastająca monopolizacja władzy i towarzyszące temu procesowi nasilenie presji cenzury sprawiało, że wszelkie kontrowersje wokół "literatury dla mas", "socjalistycznego humanizmu", "inteligencji", "realizmu" czy wydawanych wówczas książek przeradzały się w zakamuflowane dyskusje ideologiczne lub światopoglądowe, w których polaryzacja stanowisk odpowiadała dokonywanym wtedy, trudnym, politycznym wyborom za narzucaną autokratyczną władzą państwową lub przeciwko niej[13]. W zakresie sztuki te spory przybierały głównie postać prasowych polemik, które były publikowane między innymi na łamach katolickiego *Tygodnika Powszechnego* i marksistowskiej *Kuźnicy*.

W czasie, kiedy dopuszczano jeszcze do tych publicznych dyskusji, toczyły się one pomiędzy zwolennikami swobód twórczych, które nie powinny być ograniczane żadnymi pozaartystycznymi zakazami, a rzecznikami podporządkowania wolności twórczej zewnętrznym nakazom. Jedynym źródłem owych nakazów faktycznie stawała się zdobywająca hegemonię władza komunistyczna, która do tego celu wykorzystywała instytucję cenzury, zaś deklarytywnie i propagandowo podstawę do wprowadzenia ograniczeń wolności artystycznej wypowiedzi dawało rzekome zwycięstwo "przodującej" ideologii marksistowsko-leninowskiej. Jak wiadomo, ta konfrontacja zakończyła się w Polsce u schyłku lat czterdziestych całkowitym zmonopolizowaniem władzy politycznej oraz zadekretowaniem i narzuceniem tzw. realizmu socjalistycznego jako jedynej i obowiązującej w sztuce metody tworzenia.

Stanowisko, jakie zajął w tym pobieżnie przedstawionym sporze Kisielewski, było jednoznaczne i zdecydowane, lecz zarazem niezawisłe ani od artystycznych i estetycznych mód, ani od miejsca publikacji wypowiedzi, ani od zmiennej koniunktury politycznej. Ta wielokrotnie poświadczana przez biografię i pisarstwo Kisielewskiego niezależność postawy zaznaczyła się między innymi już w początkach jego powojennej działalności publicystycznej, dlatego też

[13] M. Fik, *Kultura polska po Jałcie*. Kronika lat 1944-1981. Londyn, 1989.

umożliwia zrekonstruowanie poglądów na literaturę bez wnikania w złożoną i ważną skądinąd problematykę aktualnych i skomplikowanych okoliczności, w jakich artykuły Kisielewskiego pojawiały się na forum publicznym, chociaż faktycznie prasową polemiką był pierwszy, przykładowo omawiany tekst[14].

Już tytuł publikacji, *O realizmie i formalizmie. (Na marginesie ostatnich dyskusji literackich)*, zdaje się sygnalizować wyłącznie polemiczny i doraźny charakter artykułu. Kolejny głos Stefana Kisielewskiego w dyspucie prasowej, prowadzonej tym razem przez Kazimierza Brandysa i Artura Sandauera oraz Mieczysława Jastruna i Czesława Miłosza, w rzeczywistości jednak pozwala odtworzyć zręby koncepcji literatury, a nawet sztuki, autora tej wypowiedzi. Tak oto we wstępie artykułu Kisielewski streszcza literacką polemikę:

W sumarycznym skrócie dyskusja robi wrażenie zasadniczego starcia pomiędzy odwiecznymi wrogami: pomiędzy zwolennikami literatury pojętej jako narzędzie w walce o osiągnięcia społeczne, moralne i polityczne z jednej strony a obrońcami niezależności i odrębności wartości czysto estetycznych literatury – z drugiej[15].

Cały spór o funkcje sztuki słowa "«absolutystów»" z "«użytkowcami»", zdaniem Kisielewskiego, wynikał w istocie z opacznego rozumienia kategorii realizmu, na którym konflikt się ogniskował, oraz z niewłaściwego usytuowania literatury bądź tylko w empirycznej rzeczywistości, bądź wyłącznie w odseparowanej od niej dziedzinie przynależnej jedynie sztuce, czyli w estetyce. Nawiązując do podstawowego przedmiotu sporu, Kisielewski pisze:

Realizm jest jedną z koncepcji literackich – ale nie jedyną – a jeśli chodzi o wpływ na związek literatury z życiem społecznym oraz z wielkimi przemianami dziejowymi, to w okresie panowania innych koncepcji literackich (np. operującego fantastyką romantyzmu) – wpływ ten był niepomiernie większy. Zresztą w ogóle realizm jest nie tyle osiągnięciem, co postulatem, sugestią, bo w gruncie rzeczy każdy literacki obraz świata przekazany nam przez pryzmat psychiki i artystycznej indywidualności autora jest obrazem przekształconym, a więc, jak powie Brandys, zafałszowanym. Czy na pewno *Ferdydurke* Gombrowicza jest mniej realistyczna od niewątpliwie "formalistycznie" skonstruowanej *Nadziei* Malraux i bezinteresownie amoralnego *Kuzyna Ponsa* Balzaka [...]? A jednak Jastrun i Brandys ze świętym oburzeniem odrzucą *Ferdydurke*, a zaaprobują – Balzaka i

---

[14] Tylko pominięciem aktualnych okoliczności publicystycznych wystąpień w okresie kształtowania pojęcia „realizmu socjologicznego" można tłumaczyć tę opinię Henryka Markiewicza, która poprzedza krótkie omówienie artykułów Kisielewskiego: "Na różne, nieraz sprzeczne z sobą sposoby atakował program realizmu Stefan Kisielewski [...]". (H. Markiewicz, Polskie teorie powieści. Od początków do schyłku XX wieku. Warszawa, 1998, 153-154).

[15] S. Kisielewski, *O realizmie i formalizmie. (Na marginesie ostatnich dyskusji literackich)*. In: S. Kisielewski, Polityka i sztuka. Warszawa, 1998, 105, (wydanie I – 1949, pierwodruk artykułu – Tygodnik Powszechny, 1945). Do ostatniego książkowego wydania publicystycznych prac Kisielewskiego, które drukowane są w ramach cyklu *Dzieła wybrane*, odsyłam w następnych przywołaniach. Dokładną lokalizację podaję w tekście bezpośrednio po cytacie.

Malraux. Nieporozumienie! (108).

Konsekwencją krytyki niewłaściwie pojmowanego i arbitralnie narzucanego realizmu staje się postulat przyjęcia formalistycznej koncepcji literatury, dla której uzasadnienia Kisielewski szuka w ogólnoestetycznym prawidle współwystępowania podobnych prądów artystycznych w różnych dziedzinach sztuki, niezależnym od uzurpatorskich nakazów pozaartystycznych, oraz w skrajnym przykładzie asemantycznej muzyki, która w ogóle nie poddaje się weryfikacji przy zastosowaniu kryterium specyficznie rozumianej, realistycznej wierności wobec obiektywnego świata, czyli w kategoriach prawdy i fałszu. Końcowe wnioski Kisielewskiego brzmią następująco:

Formalizm w literaturze określić by można jako dążność, aby z elementów dostarczonych nam przez świat zewnętrzny budować układy nowe, nie istniejące w realności, będące więc wyrazem twórczej i dynamicznej postawy człowieka wobec zewnętrzności. Człowiek w sztuce nie powinien być niewolnikiem świata zewnętrznego – powinien być jego panem. Naśladowanie świata (realizm) to postawa bierna, tworzenie nowego świata (formalizm) – to postawa czynna. [...] Nowe, twórcze systemy zbudowane z zaczerpniętych ze świata zewnętrznego elementów, zbudowane według nieśmiertelnych zasad harmonii i równowagi estetycznej – oto jak wyobraża sobie formalizm dzieło literackie (109).

Koncepcja dzieła literackiego, która znosi skrajności podziału na "artystyczne" i "użytkowe" teorie sztuki, jego przeznaczenia upatruje w "zaspokojeniu pewnych niezmiennych, wiecznych potrzeb ducha ludzkiego" (109). Precyzyjniej tę funkcję ujmuje Kisielewski w następnym artykule.

Już tylko w granicach zarysowanej formalistycznej teorii literatury, z zachowaniem dystansu wobec przeprowadzonych wcześniej polemik prasowych i w oparciu o prozatorskie dokonania literackie pierwszych lat powojennych – publicysta rozwija swoje poglądy w następnych tekstach, wskazując nową opozycję, której elementy zdradza tytuł innego artykułu: *Idea i wizja. Na marginesie polskiej prozy powojennej*. W niezobowiązującej, bo publicystycznej nomenklaturze istnienie "idei" przypisane zostało w ogóle prozie narracyjnej, która "jest ścisłą syntezą elementów formalnych z elementami intelektualno-ideologicznymi"[16]. Z kolei terminem "wizja" Kisielewski posługuje się dla uogólnienia dominującej cechy tych licznych utworów prozatorskich o tematyce wojennej i okupacyjnej wydanych po 1945 roku, które wbrew oczekiwaniom środowisk katolickich i marksistowskich na "ideologiczność" lub "polityczność" literatury ograniczały się wyłącznie "do p o k a z a n i a tej rzeczywistości [czasów wojny], bez żadnego komentarza, do stworzenia w i z j i, wizji

[16] S. Kisielewski, *Idea i wizja. Na marginesie polskiej prozy powojennej*. In: S. Kisielewski, Z literackiego lamusa. Kraków, 1979, 43; (pierwodruk – Tygodnik Powszechny 169, 1948). Z książki, która gromadzi rozproszone po czasopismach artykuły, recenzje i eseje Kisielewskiego, pochodzą wszystkie cytaty. W następnych przywołaniach numer strony podaję w nawiasie.

przefiltrowanej przez literackie rzemiosło, wizji ujętej w karby, w rytm formy literackiej" (43).

To rozróżnienie dzieła-"idei" i dzieła-"wizji" jako nazbyt schematyczne Kisielewski opatruje szeregiem zastrzeżeń: "przede wszystkim nie ma książek czysto wizjonerskich, zaś stopień bezinteresowności wizji jest zmienny, po drugie — książka wizjonerska również wyraża jakąś merytoryczną, ideową czy moralną tezę, jakąś myśl" (44). Mimo wszelkich wątpliwości, uzasadnioną podstawę do klasyfikowania dzieł w ramach proponowanej opozycji daje Kisielewskiemu dobitnie sygnalizowane w konkretnych utworach nastawienie do wyrażania w "wizji", przy całym jej formalnym bogactwie, myśli uproszczonych, jednoznacznych, "plakatowych"; w przeciwieństwie do "idei", która też wykorzystuje artystyczne ukształtowanie utworu, ale w celu oddania złożoności, niejednoznaczności i różnorodności świata.

W pierwszym nurcie literackim dzieł-"wizji" mieści się, według Kisielewskiego, powieść współczesna, "której antyintelektualistyczny ideał nakazuje rygorystyczną ekonomię myśli, mającej się wyrażać tylko poprzez postępki bohaterów, ogołoconych z wszelkiego komentarza. Chudy to, zaiste, ideał" (49). Zaś "walka z tym zjawiskiem musi pójść drogą rehabilitacji, drogą odbudowania praw komentarza autorskiego, komentarza ideologicznego, który formalnie rozwiązany być może w najrozmaitszy sposób, bądź podany jako słowa czy myśli osób działających, bądź w misterniejszy sposób, jako sugestia autora, bądź jako dygresja itd." (48). Tak powstają powieści-"idee", które sytuują się w drugim nurcie literackim.

Szeroka egzemplifikacja dawnych i współczesnych utworów prozatorskich, jak na przykład "wizyjne" *Oczekiwanie* Jerzego Broszkiewicza oraz "ideowa" *Historia jednego życia* Ludwika Hirszfelda, posłużyła Kisielewskiemu do sformułowania następującego postulatu:

> Mówiłem wyżej i powtarzam, że, moim zdaniem, w tych wielkich i zawiłych czasach powieść, jeśli nie chce zostać zdegradowana do roli estetycznej zabawki, musi od kultu wizji i czystej formy przejść do idei, od myśli prostych, plakatowych do myśli wielostronnych, wyczerpujących problem (51).

Podobnie jak w przypadku sporu między zwolennikami "realizmu" i rzecznikami "formalizmu" Kisielewski opowiedział się zdecydowanie za kreatywnym przetworzeniem rzeczywistości w sztuce, czyli za „formalizmem", tak też dostrzeżona przez niego opozycja "«wizjonerów»" i "«ideologów»" w beletrystyce posłużyła mu do jednoznacznego zakwestionowania poglądów na literaturę tych pisarzy, którzy zakładają "wizjonerski", czyli autonomiczny status dzieła literackiego. Dobitnie swoje stanowisko Kisielewski raz jeszcze przedstawia w zakończeniu artykułu, powtarzając główną tezę i wyraźniej określając przy okazji pozaestetyczne zobowiązania literatury: "przeciwieństwo w i z j i omnipotenckiej, która ma na celu jedynie p o k a z a n i e świata i na takiej autokontemplacji poprzestaje, oraz i d e i , która posługuje się wizjami, ale

celem jej jest świat o s ą d z i ć i u p o r z ą d k o w a ć, wymierzyć mu sprawiedliwość, jak mówił Conrad" (53-54).

Przywoływana wielokrotnie przez Kisielewskiego w innych tekstach opinia Conrada, która pojawiła się zresztą jako motto omawianego artykułu, wyraźnie dookreśla funkcje literatury. Wykraczają one daleko poza estetyczne przeznaczenie dzieł, zwłaszcza powieściowych. Jednakże do polskiego tłumaczenia słów ze wstępu do *Murzyna z załogi Narcyza* wkradł się istotny błąd, ponieważ – jak zauważył w paryskiej *Kulturze* stały recenzent powieści Tomasza Stalińskiego – angielski zwrot "to render justice to the visible universe" oznacza nie tyle "w y m i e r z a ć sprawiedliwość widzialnemu światu", co "o d d a w a ć sprawiedliwość"[17]. Taka korekta przekładu znacząco modyfikuje też cele, które Kisielewski stawiał literaturze.

Niezależnie od translatorskich poprawek wydawać by się mogło, iż forsowana przez Kisielewskiego koncepcja literatury i tak zmierzała ku teorii oraz praktyce literatury tendencyjnej, zwłaszcza w zakresie proponowanych technik powieściowych. O tym, że takie podejrzenia są nieuzasadnione, przekonuje następna wypowiedź publicystyczna, której tytuł, *Literatura z tezą*, wprost nawiązuje do problemu tendencji.

Jak w pierwszym omawianym artykule Kisielewski porządkował twórczość literacką w kategoriach realizmu i formalizmu, a w drugim wzbogacił ten schematyczny podział o przeciwstawienie dzieła-wizji i dzieła-idei oraz dookreślił funkcje literatury, tak w trzecim z kolei tekście publicysta podejmuje próbę wyjaśnienia jakości i rodzajów owych idei, których obecność w utworach warunkuje zrealizowanie przez nie postulowanych zadań pozaestetycznych. Przy czym autor artykułu raz jeszcze deklaruje się jako zdecydowany zwolennik owych funkcji, prowokacyjnie posługując się dyskredytującym w tym przypadku pojęciem "literatura z tezą".

Zgodnie ze sformułowaną w artykule definicją teza to "ważka treść ideowa i moralna", wyrażana w dziełach literackich, którą można klasyfikować przy użyciu kryterium merytorycznego (np. teza marksistowska, spirytualistyczna i in.) oraz – kryterium jej wewnętrznej struktury. Posługując się tym ostatnim probierzem Kisielewski z jednej strony rozróżnia i zarazem aprobuje tezę "wielopiętrową i wielopłaszczyznową, uwzględniającą (choć w intencjach przezwyciężającą) skomplikowanie, powikłanie świata oraz wewnętrzne sprzeczności ludzkie"; z drugiej zaś strony wydziela tezę jednowymiarową, która upraszcza ową naturalną złożoność rzeczywistości i człowieka. Innymi słowy, wyodrębnia "tezę-klimat, tezę-atmosferę czy tezę-ogólną sugestię" oraz przeciwstawianą im, a nieaprobowaną "tezę-klucz czy tezę-szyfr"[18].

---

[17] M. Broński [Wojciech Skalmowski], *Sprawy cieniste*. Kultura 7, 1971, 204; M. Broński [Wojciech Skalmowski], *Nauka o Polsce współczesnej*. Kultura 6, 1976, 133.

[18] S. Kisielewski, *Literatura z tezą*. In: Z literackiego lamusa. Kraków, 1979, 32;

Dla zilustrowania swoich twierdzeń Kisielewski sięga po obrazowe analogie do tkactwa (tezie prostej odpowiada nitka, zaś złożonej tezie tkanina) i do muzykologii. W tym przypadku podobieństwo między literaturą a muzyką polega na odpowiedniości tezy złożonej i złożonych dźwięków, które charakteryzują się występowaniem, obok zasadniczego tonu, szeregu tonów górnych nieuświadamianych, lecz rejestrowanych przez słuchacza i nadających dźwiękowi "masę, głębię i koloryt". Z kolei teza prosta ma swą analogię w skrzypcowych flażoletach, w których "istnieją tony proste, nie posiadające brzmień dodatkowych". Te porównania pozwalają Kisielewskiemu sformułować następującą opinię:

Jako tony proste, brzmią one [flażolety] zupełnie inaczej niż dźwięki złożone, choć mogą mieć tę samą co tamte wysokość. Sądzę, że teza literacka winna być dźwiękiem złożonym, nie flażoletem – co bynajmniej nie łączy się ze sprawą światopoglądowej jakości tezy, lecz ze sprawą pełnego (w ramach każdej ideologii) widzenia różnorodności i sprzeczności życia (33).

Ogólną egzemplifikacją twierdzenia o istnieniu dwu typów tez literackich są tytuły konkretnych utworów. Świadczą one również o braku ścisłej zależności między jakością tezy a jej rodzajem:

A więc na przykład: *Cichy Don* Szołochowa [...] czy *Burza* Erenburga to powieści marksistowskie o tezie złożonej, natomiast *Węgiel* Ścibora-Rylskiego to lekko przyozdobiona pozorną złożonością marksistowska powieść-flażolet. Podobnie *Sedno sprawy* Greene'a to katolicka powieść z tezą złożoną, a [...] niektóre powieści Rodziewiczówny to katolickie powieści-flażolety (33-34).

Swoją zasadniczą tezę o tezie literackiej Kisielewski rozwija w oparciu o bogatą argumentację i obwarowuje szeregiem zastrzeżeń. Przede wszystkim osadza przedstawianą koncepcję, ale też swoje wystąpienie publicystyczne, w liberalizmie pojmowanym jako postawa, w której szerokich, lecz wyraźnie zakreślonych granicach światopoglądowych mieszczą się zarówno idee aprobowane, jak też nieakceptowane, choć tolerowane. Taka wolnościowa postawa określa na przykład zasady swobodnej dyskusji, a tym samym w ogóle umożliwia jej skuteczne i owocne przeprowadzenie, co nie oznacza rezygnacji z własnych poglądów. Dlatego też zachowując niezależność sądu, ale również otwartość na inne zapatrywania, Kisielewski wieloaspektowo doprecyzowuje swoje stanowisko w kwestiach literackich.

Dowodzi między innymi, że tylko dzieła z tezą złożoną są w stanie oddać sprzeczności i różnorodność świata oraz człowieka (np. powieści Balzaka), bo w przeciwnym wypadku powstaje też dopuszczalna, ale nieaprobowana przez publicystę, "upraszczająco dydaktyczna umowna «powiastka filozoficzna»,

---

(pierwodruk – Tygodnik Powszechny. 1952, 364). W dalszej części pracy lokalizacja przytoczeń znajduje się w nawiasach, bezpośrednio po cytatach.

historyjka z morałem" (35). Kisielewski opatruje również tezę złożoną jeszcze innym epitetem i nazywa "tezą otwartą". Objaśnieniu tej cechy tezy literackiej służy odróżnienie funkcji słowa na przykład w nauce, czyli "zamykania", od funkcji słowa w literaturze, czyli "otwierania". Mimo jednorodnego pojęciowego charakteru języka w obydwu zastosowaniach, poprzez artystyczne ukształtowanie wypowiedzi, działa on jednak inaczej w utworach literackich niż w tekstach naukowych. I jakkolwiek w obu typach wypowiedzi słowa "nie przylegają" ściśle do rzeczy, a język stanowi niedoskonałe, choć jedyne dostępne człowiekowi narzędzie w akcie informowania i komunikacji, to w przypadku literatury, odmiennie niż w pozostałych dziedzinach piśmiennictwa, wykracza on poza literalne znaczenia słów, staje się bowiem dodatkowo "narzędziem sugestii, za pomocą której wytwarza się w psychice, w umysłowości czytelnika wizja wielowymiarowa, zaopatrzona w mnogość, w głębię, w czas, w przestrzeń" (38).

Tak więc sugestywny utwór literacki z tezą złożoną i otwartą, podobnie jak inne językowe artefakty, służy poznawaniu, które w dziele sztuki słowa dokonuje się za pośrednictwem owej tezy. Jednak w aprobowanym kształcie teza pozostaje właściwie nieprzekładalna na dyskursywny język. Ten epistemologiczny akt odbywa się zresztą niezależnie od woli pisarza, gdyż proces poznawczy doprowadzony zostaje do końca już przez samego odbiorcę w trakcie lektury, pod tym wszakże warunkiem, że autor wyposażył dzieło w odpowiednio skonstruowaną i skomponowaną tezę, która "oddaje sprawiedliwość widzialnemu światu":

Oczywiście, pisarz malując obraz świata dokonywa (musi dokonywać – jest to prawo jego rzemiosła) selekcji elementów; rzecz jednak w tym, aby selekcja nie miała na celu wyeliminowania złożoności i skomplikowań świata, pomniejszenia jego bogactw, lecz przeciwnie, aby wyselekcjonowane elementy jak najpełniej tę mnogość, sprzeczność i złożoność świata reprezentowały i sugerowały (teza otwarta). W pierwszym wypadku powstaje powieść-flażolet, która w ramach każdego światopoglądu jest niepożądana, bo daje świadectwo zasadzie filozoficznej kosztem prawdy o świecie, w drugim powieść o tezie złożonej i nieprzekładalnej, która w ramach każdego światopoglądu daje prawdę o świecie, niezależnie od swojej zasady filozoficznej. "Prawda przemawia bez języka" – mówi wschodnie przysłowie (41).

Chociaż w tytule artykułu pojawia się termin "literatura z tezą", a jego autor konsekwentnie obstaje przy tej nazwie i wzbogaca ją nowymi dystynkcjami, to omówiona argumentacja przekonuje, że z jednej strony wyjaśnienia Kisielewskiego odbiegają od literaturoznawczych definicji "literatury tendencyjnej", z drugiej zaś niewątpliwie sytuują jego poglądy na literaturę poza estetyzującym teoriami. O nieautonomicznym postrzeganiu dzieła literackiego decydują następujące postulaty: po pierwsze – wyrażanie przez każdy wartościowy utwór, zwłaszcza powieściowy, przekonań ideowych, po drugie –

zakorzenienie ich w zewnętrznym wobec artefaktu światopoglądzie, po trzecie zaś – przypisanie literaturze funkcji pozaestetycznych.

Zawarte w trzech artykułach Kisielewskiego refleksje o kwestiach literackich nie uprawniają co prawda do ich generalizowania, ale pozwalają odtworzyć zręby zarysowującej się, ogólnej koncepcji literatury. Przy czym odrębnego rozpatrzenia wymagałaby ocena stopnia oryginalności poglądów i ich powiązań na przykład z teoriami Karola Irzykowskiego, za ucznia którego Kisielewski wielokrotnie się podawał. Pojawia się też potrzeba osobnych badań poświęconych związkom publicystycznych wystąpień Kisielewskiego ze współczesną im sytuacją w polityce i kulturze. Takie rozważania przerodziłyby się zapewne w historię całej kultury polskiej po Jałcie, jakkolwiek na przykład literackie zapatrywania Kisielewskiego cechuje niewątpliwie stronniczość upodobań, która przejawia się choćby negowaniem znaczenia literatury autotelicznej.

Pozostawiając całościowy opis estetycznej teorii Kisielewskiego odrębnym studiom, nie sposób nie zauważyć, że wyrażane w publicystycznej formie poglądy na literaturę tworzą spójny system, zbudowany przede wszystkim w oparciu o prozę narracyjną, z pominięciem poezji, która, według Kisielewskiego, odegrała ważną, ale negatywną rolę w kształtowaniu postaw Polaków. Tym samym jednak potwierdzał on swoje przekonanie o skutecznym oddziaływaniu literatury na czytelników.

Koherentny system Kisielewskiego oprócz tego, że przedstawia szczegółowe propozycje technik powieściowych, rozstrzyga również takie kluczowe problemy teorii literatury, jak sposób istnienia dzieła literackiego ze wskazaniem na jego nieautonomiczny status oraz układ wartości i funkcji. Przekładając wywody krytyka literackiego ze wszystkich trzech artykułów na język pojęć, którego używa się w aksjologii, można stwierdzić, iż – wśród oczywistych w dziele literackim wartości estetycznych – nad wartościami konstrukcyjnymi, obrazowymi i emotywnymi prymat zdobywają wartości poznawczo-oceniające i postulowane[19]. Posługując się zaś inną klasyfikacją, można dojść do wniosku, że według Kisielewskiego – pośród wartości literackich – nad niekwestionowanymi wartościami artystycznymi dominują wartości poznawcze i etyczne, wskutek czego oddziaływanie estetyczne musi być podporządkowane oddziaływaniu kształcącemu i wychowawczemu[20].

Zrekonstruowana w ten sposób hierarchia wartości i funkcji dzieła w ujęciu Kisielewskiego dopełnia jego koncepcję literatury, jaką stworzył w tekstach publicystycznych głównie na podstawie analizy polskiej i obcej prozy fabularnej. Ważne uzupełnienie tej teorii stanowią refleksje Stefana Kisielewskiego nad

---

[19] H. Markiewicz, *Główne problemy wiedzy o literaturze*. Kraków, 1996, 316-339.

[20] J. Misiewicz, *Światopogląd i forma*. Lublin, 1983, 11-26.

jego własną twórczością powieściową, które zostały utrwalone w dzienniku i w jednym z utworów beletrystycznych.

3.

Prowadzone ze zmienną regularnością *Dzienniki* Stefana Kisielewskiego zamykają się w chronologicznej ramie czasowej lat 1968-1980 i zawierają generalnie dwa typy zapisków: jedne dotyczą kwestii publicznych, drugie zaś spraw osobistych. Diariusz Kisielewskiego łączy w sobie zatem elementy raptularza, podobnego obu wersjom *Dziennika 1954* Leopolda Tyrmanda, oraz dziennika intymnego, któremu w polskiej diarystyce patronują *Dzienniki* Stefana Żeromskiego.

Pierwszy, nieintymny rodzaj notatek, które w *Dziennikach* Kisielewskiego zajmują najwięcej miejsca, tworzy autorską kronikę aktualnych w danej chwili wydarzeń związanych z władzą państwową w Polsce i na świecie, przynosi rejestr środowiskowych i politycznych plotek, dowcipów, anegdot oraz obyczajowych niedyskrecji, jak też daje świadectwo nieustannych zmagań z cenzurą. Drugi rodzaj notatek to niekiedy pseudonimowane, a najczęściej wprost artykułowane wyznania, których przedmiotem są sprawy prywatne, rodzinne, warsztatowe, a nade wszystko natrętnie powracające myśli, czyli obsesje związane ze starością, niemocą twórczą, losami i znaczeniem dziennika itp.
Na pograniczu ściśle ze sobą splecionego publicznego i nieoficjalnego wymiaru *Dzienników* sytuują się liczne refleksje Kisielewskiego o własnej twórczości, w tym o twórczości beletrystycznej[21]. Wszak diariusz to również początkowo kamuflowana, a od drugiej połowy lat siedemdziesiątych bezpośrednio relacjonowana historia powstawania i wydawania kolejnych pięciu powieści, które sukcesywnie ukazywały się nakładem paryskiej *Kultury* pod pseudonimem Tomasz Staliński. Tej relacji stale towarzyszyło utrwalanie nieweryfikowanej w istocie, powieściopisarskiej świadomości diarysty.

Niewątpliwa stabilność opinii o własnych, jak zwykł mawiać z autoironią Kisielewski, „romansach" to nie jedyna zresztą cecha łącząca te dziennikowe refleksje z teoretyczną świadomością pisarza, której wcześniej dał wyraz w wielu wypowiedziach publicystycznych. Diariuszowe, rozproszone i okazjonalne

---

[21] Po pierwszej edycji *Dzienniki* Kisielewskiego zyskały jeszcze jeden, nowy, socjologiczny wymiar – wydawniczego i towarzyskiego wydarzenia. Świadczy o tym uznanie diariusza w wielu rankingach za książkę roku oraz szereg entuzjastycznych i krytycznych publikacji, np.: A. Hall, *Kisiel jak żywy*. Gazeta Wyborcza 4-5 stycznia, 1997; W. Władyka, *Przyszpilone motyle*. Polityka 2, 1997; Wywiad z ks. Andrzejem Bardeckim, przeprowadzony przez Annę Kluz-Łoś. Gazeta Wyborcza 17-18 maja, 1997; J. Zychowicz, *Zniewolony Kisiel*. Wiadomości Kulturalne 2, 1997; J. Szacki, *Pisane do szuflady*. Gazeta Bankowa 6, 1997; K. Nowosielski, *Europejczyk z duszą Sarmaty*. Nowe Książki 3, 1997.

notatki wiąże ze zrygoryzowanymi i logicznie skomponowanymi artykułami jeszcze asertoryczny charakter obu form wypowiedzi oraz ich zawartość, bowiem zapiski w *Dziennikach* właściwie powielały wyłożone w prasowych wystąpieniach przekonania dotyczące literatury. W przypadku diariusza odnosiły się one jednak niemal wyłącznie do własnej twórczości powieściowej autora *Romansu zimowego* oraz stanowiły zapis przynależnej każdemu dziennikowi pisarza, psychologicznej i warsztatowej autoanalizy.

Ścisły związek między pracami krytycznoliterackimi a dziennikowymi zapiskami zaznacza się między innymi w wyobrażeniu o roli pisarza, którą Kisielewski chciałby odgrywać, a zatem w rezultacie również w postrzeganiu funkcji, jakie miałyby, zgodnie z wolą autora, spełniać jego powieści. Do tej sprawy diarysta powracał wielokrotnie:

Polityka to zaraza – niszczy jak poker, ruletka czy wódka. A ja w dodatku nie chciałbym rządzić – ja chciałbym tylko pisać o tym. Taka niewinna rozrywka i też nie pozwalają![22]

Więc czego chcę? W końcu chyba tylko tego, żeby dali, do cholery, trochę pisać w tym kraju! Po prostu dać prawdziwe świadectwo temu, co było i co się zmieniło. Ba – kiedy właśnie prawdziwych, indywidualnych świadectw Moskaliki jak ognia nie znoszą [...] (54).

Cóż więc tu robić? Ano – dawać świadectwo, czyli pisać, trzymając się na uboczu. Nic mi chyba innego nie pozostaje [...] (300).

Wychodzi jednak na to, że nie jestem pożądany ani tu [w kraju], ani tam [na emigracji], zapewne dlatego, że zbrzydzony do marksistowskich metod literackich nie chcę wyrażać żadnej tendencji, lecz być obiektywnym świadkiem, fotografować (428).

Trzeba się jeszcze skoncentrować, może po raz ostatni, i dać świadectwo czasom. Nie wiem tak bardzo po co, ale trzeba (650).

Przywołane fragmenty *Dzienników* są echem zgłaszanych przez Kisielewskiego w artykułach prasowych postulatów, które były kierowane pod adresem twórców literatury. W innych słowach powtarza się przecież w zapiskach koncepcja nieautonomicznego dzieła literackiego jako "świadectwa", podporządkowania wartości artystycznych walorom poznawczym utworów powieściowych oraz prymat ich pozaestetycznych oddziaływań, które dalekie są jednak od manipulacji czytelnikiem i zniewalania odbiorcy, co wiąże się z odrzuceniem w literaturze nachalnej tendencyjności.

Ze względu na uwolnienie się od cenzuralnych zakazów formułowanemu w zapiskach diariusza programowi literackiemu towarzyszy również przywołanie, ale już bez jakiegokolwiek kamuflażu, socjologicznego kontekstu owej

[22] S. Kisielewski, *Dzienniki*. Warszawa, 1996, 39. Do tego pierwszego wydania odwołuję się w następnych cytatach; ich lokalizację podaję w nawiasach, po przywołanym fragmencie diariusza.

koncepcji, który tworzą znane dzisiaj, lecz do 1989 roku skrywane, polityczne uwarunkowania. Co istotne, powieściopisarskie plany Kisielewskiego miały swe źródło nie tylko w negacji powojennej polskiej rzeczywistości, bo wszak kontestacja systemu komunistycznego nie była niczym oryginalnym, zwłaszcza po 1976 roku. Wyrastały one też z braku zgody na inne ograniczenia wolności twórczej, nawet ze strony bliskich Kisielewskiemu środowisk antykomunistycznych, krajowych i emigracyjnych. Nieuleganie żadnym zewnętrznym naciskom dawało gwarancję maksymalnej bezstronności własnej, wyrażanej w powieściach, autorskiej prawdy o przedstawianym świecie. To jeszcze jeden dowód na niezależność postawy.

Zapiski w *Dziennikach* i teksty publicystyczne, oprócz wspólnych im, ogólnych założeń literackich, łączą również rozważania poświęcone technikom powieściowym. Propozycje szczegółowych rozwiązań konstrukcji i kompozycji utworów przedstawiane są zawsze w perspektywie naczelnych celów, które Kisielewski stawiał nie tylko swoim powieściom. Przy czym omówienie spraw warsztatowych nierzadko przeradza się w autorecenzję „romansów" Stalińskiego:

Ciekawe byłoby to wszystko opisać, ale czy się zdąży i czy się znajdzie odpowiednią formę? W końcu nie jestem przecież powieściopisarzem, a publicystyka nic tu nie pomoże (346).

W ogóle moda na ekspresjonizm [...] odzierża plac, intelektualizm jest w odwrocie. A ja chcę iść przeciw temu, pisać takie powieści, których w żaden sposób nie dałoby się przerobić na „pokazywankę", na film czy teatr, powieść w myślach, nie o czynach. Właściwie powieści dziejące się wewnątrz głowy (604).

Za swoje zadanie uważam utrwalić w beletrystycznej formie to co może zostać zapomniane, co wiadomo tylko tutaj [...]. Lecz jaką wybrać formę, aby rzecz była czytelna a zarazem prawdziwa? [...] Mrożek to potrafi, choć ma o tyle mniej ode mnie doświadczeń, on ma właśnie tę mądrość formy, formy, która przemawia własnym, niepowtarzalnym językiem, jest zarazem tutejsza, krakowska i – światowa, uniwersalna. A ja nie mam takiej formy, ja muszę wszystko mozolnie wypisać, każdą myśl, każde zdarzenie i jeszcze wcale mi sugestywność sprawy nie wychodzi – dużo gadulstwa a sugestywność mała. Może to niedopasowanie do formy beletrystycznej, brak tego typu talentu – bo do publicystyki akurat mam talent, tyle że przez tę przeklętą cenzurę mogę to robić tylko w pewnej granicy (679).

Nie chcę sławy, powodzenia, rozgłosu: chcę utrwalić moją r e l a c j ę o dzisiejszości. Może nie mam tyle talentu powieściopisarskiego, ale łącząc publicystykę z beletrystyką coś tam jednak uchwycę i utrwalę. Bo innej drogi przed sobą nie widzę [...] (770-771).

Niepewności związane z poszukiwaniem odpowiedniej dla realizacji pozaestetycznych zadań formy prozatorskiej, która spajałaby artystyczny kształt

powieści z publicystycznie niemal aktualną tematyką współczesną, to nie jedyny dylemat twórczy, jaki ujawniają przytoczone fragmenty. Nie mniejsze wątpliwości dotyczą efektu powstających utworów, które, wedle surowej oceny Kisielewskiego, nie spełniają podstawowego warunku dzieła literackiego: nie ma w nich bowiem należytej siły sugestii, czyli, używając nomenklatury literaturoznawczej, brakuje im obrazowości w jednym ze znaczeń tego terminu – "konkretnego uogólnienia"[23].

Niezależnie jednak od warsztatowych dylematów i kokieteryjnego niekiedy wartościowania swych beletrystycznych dokonań, Kisielewski potwierdza prezentowane wcześniej w publicystycznych tekstach przeświadczenie, że przy wszystkich ograniczeniach jedynie literatura potrafi utrwalić i przekazać niewyrażalną w innych formach piśmiennictwa, złożoną, autorską "„prawdę o świecie". Diarysta powiela też zarysowaną w artykułach, własną poetykę sformułowaną powieści, która marginalizuje fabułę jako tradycyjnie podstawowy nośnik znaczeń, przerzucając tym samym ich kształtowanie przede wszystkim na narracyjny komentarz.

Towarzysząca pisaniu świadomość teoretyczna doprowadziła autora dziennika także do ogólnego rozróżnienia "powieści w myślach" i "powieści o czynach", przy zamianie opozycji "wizji" i "idei" antynomią "ekspresjonizmu" i "intelektualizmu"[24]. Sprawiła również, iż pokusił się nawet o genologiczną klasyfikację swoich utworów:

Ciekawe, że dla mnie akcja jest najtrudniejsza, a za to znam atmosferę i myśli, jakie chciałbym wyrazić. Nie mam talentu powieściopisarskiego, lecz publicystyczny – tak mi zawsze klarował Tyrmand. Ale ja się pocieszam, że uprawiam p o w i e ś ć r e z o n e r s k ą i że jest to nowy rodzaj powieściowy, który może być tak samo uprawomocniony jak każdy inny typ powieści – przecież Prousta czy Joyce'a też nie uznawano za powieści (841).

Użyty przez Kisielewskiego termin "powieść rezonerska", który miałby obejmować wszystkie jego dzieła beletrystyczne, wykracza poza propozycje taksonomiczne, które znane są z omówionych już tekstów krytycznoliterackich. To nowe określenie przywołuje, niezależnie od intencji diarysty, zarówno literaturoznawcze pojęcie "rezonera", jak też znaczenia zapomnianego nieco czasownika "rezonować", czyli 'dowodzić, mówić z dużą pewnością siebie, zwłaszcza krytycznie lub umoralniająco; rozprawiać, pouczać, mędrkować'[25]. Oba leksemy nie przywodzą na myśl pozytywnych konotacji.

Ani pejoratywne skojarzenia, ani zasada niemnożenia ponad potrzebę bytów, ani ewentualna weryfikacja niezbyt skromnej samooceny własnych powieści

---

[23] H. Markiewicz, *Główne problemy wiedzy o literaturze*. Kraków, 1996, 60.

[24] Do tego tematu Kisielewski powrócił w jednym z felietonów: *O ekspresjonizmie i relacji*. Tygodnik Powszechny 14, 1973.

[25] *Słownik Języka Polskiego*. Pod red. M. Szymczaka, t. 3, Warszawa, 1981.

Kisielewskiego – nie są jednak głównymi powodami, które każą pominąć tę autorską propozycję nazewniczą. Podstawowa przyczyna leży w znanych niedostatkach wszelkich genologicznych rozstrzygnięć. Systematyka gatunków oraz ich odmian porządkuje wprawdzie niejednorodną i zróżnicowaną, w tym przypadku powieściopisarską twórczość, ale zarazem kryje w sobie też uprzednią i stereotypizującą ocenę, która z reguły nie przystaje do inherentnych wartości oraz funkcji konkretnego dzieła poznawanego przez odbiorcę w trakcie konkretyzacji, czego najlepszym przykładem są utwory opatrywane etykietkami "powieści z tezą" lub "powieści politycznej".

Inna przyczyna, która uniemożliwia akceptację proponowanego przez Kisielewskiego terminu genologicznego, wynika z przyjętej powszechnie we współczesnym literaturoznawstwie reguły metodologicznej. Nakazuje ona oddzielenie teoretycznej świadomości pisarza, której wyrazem są w tym przypadku publicystyczne artykuły i dzienniki, od jego dzieł literackich. Podobne zastrzeżenia odnoszą się do następnego źródła wiedzy o zapatrywaniach Kisielewskiego na jego własne utwory, chociaż użycie powieści jako dyskursywnej wykładni poglądów na literaturę może budzić jeszcze wiele innych uzasadnionych wątpliwości.

4.

Przedostatnia powieść Stefana Kisielewskiego bardziej niż wszystkie wcześniejsze powieści tego autora zaskakiwała swoim prowokacyjnie "nieliterackim" kształtem. Chwiejny status *Wszystko inaczej*, oscylujący na pograniczu literatury i publicystyki, zdawała się potwierdzać pośrednio nie tylko sama forma utworu, lecz również wprost wypowiedziana, wewnątrztekstowa deklaracja narratora ("To powinna być «summa» Kisiela "[26]) oraz wielokrotnie powtarzane w narracji, autotematyczne określenia dzieła jako "powieści dygresyjnej" (29), "powieści otwartej" (136), powieści-fotografii i powieści-świadectwa epoki (215), dla której fabuła stanowi wyłącznie "użyteczny pretekst" (19). Dlatego nie dziwią takie opinie o *Wszystko inaczej* jak: "powieść czy też «niby powieść»"[27], "arcywymyślna kombinacja wątków"[28] lub "«summa felietonica» wybitnego publicysty"[29].

---

[26] S. Kisielewski, *Wszystko inaczej*. Warszawa, 1991, 67; (wydanie I – Londyn, 1986; II – Warszawa, 1986; III – Warszawa, 1987). Z czwartego wydania pochodzą wszystkie cytowane fragmenty powieści, ich lokalizację podaję w tekście pracy.

[27] W. M., *Przedmowa do wydania krajowego*. In: S. Kisielewski, *Wszystko inaczej*. Warszawa, 1991, 8.

[28] M. Danielewicz-Zielińska, *Szkice o literaturze emigracyjnej*. Wrocław, 1992, 420; (wydanie I – Paris, 1978).

[29] P. Śliwiński, *O przezwyciężaniu obcości w literaturze współczesnej*. Poznańskie studia polonistyczne. Studia o państwie. Seria Literacka I (XXI). Poznań, 1994, 136.

Przywołane sądy, które dotyczą omawianej powieści i zgodnie wskazują wewnętrzną niespójność utworu, przekonująco zostały podważone w rozprawie Marii Woźniakiewicz-Dziadosz *Tekst użytkowy w tekście artystycznym. (O powieści dyskursywnej Stefana Kisielewskiego "Wszystko inaczej")*. Zdaniem autorki tej pracy, w dziele istnieją dwa, wzajemnie objaśniające się modele świata. Jeden – wykreowany przez narrację przedstawiającą wydarzania fikcyjne (récit) i drugi – stworzony dzięki wypowiedzi o poddających się prawdziwościowej weryfikacji realiach pozatekstowych (discours). "Ale zarówno fabuła, jak i towarzyszący jej komentarz publicystyczny odwołują się do wspólnego kontekstu historyczno-politycznego"[30]. Koherencję obu modelom zapewnia też przenikająca i usensowniająca je ideologia. Zatem jedno dzieło tworzą sądy dwojakiego rodzaju – zdania nieasertoryczne i zdania, którym asercja przysługuje. Dlatego też wyjęte z powieściowego tekstu opinie Kisielewskiego o jego własnej twórczości mogą sobie rościć pretensję do prawdy w logicznym znaczeniu tego pojęcia.

Spośród licznych we *Wszystko inaczej* dygresji dwie zwracają szczególną uwagę ze względu na ściśle autotematyczny charakter. Pierwsza stanowi bowiem podsumowanie powieściowego dorobku pisarza w ujęciu warsztatowym, druga zaś dotyczy również całej twórczości, ale w perspektywie jednorodnej tematyki utworów prozatorskich Kisielewskiego:

Na pewno lepiej potrafię pisać o swoich myślach niż przedstawiać inne osoby lub cytować — w formie beletrystycznej — ich myśli. Człowiek bowiem skuteczniej obserwuje siebie niż innych. Ale pytanie: czyż nie można napisać powieści, gdzie bohaterem okaże się sam autor, inne zaś postaci i akcja w której się one obracają będą tylko pretekstem, klamrą formalną? A więc po prostu jeden długi monolog, tyle że nie publicystyczny, jako że publicystyka to już przesadne mówienie wprost, rezygnujące z wszelkich możliwości kamuflażu, metafory lub symboliki. Takim monologiem b y ł o przecież w gruncie rzeczy moje *Sprzysiężenie*, bo choć pisane w trzeciej osobie, to jednak przedstawiało wszystkie wydarzenia przepuszczone przez pryzmat psychiki bohatera. [...] Później jednak, chcąc przekonać samego siebie, próbowałem form bardziej zdyscyplinowanych, jak powieść kryminalna (*Zbrodnia w Dzielnicy Północnej*), czy coś w rodzaju *thrillera – Kobiety i telefon* lub niby szpiegowska *Podróż w czasie*. Ale do pisania o swoim wnętrzu znów wróciłem na całego w *Cieniach w pieczarze* [...]. I w końcu te dwa rodzaje stale się w mojej powieściowej działalności przeplatają – ku zrozumieniu jednych a urąganiom innych (66-67).

Wszystko w takim kraju [jak PRL] stworzone zostało przez politykę, całe życie jest jej podporządkowane i przez nią wciąż w tej samej osobliwej formie

---

[30] M. Woźniakiewicz-Dziadosz, *Tekst użytkowy w tekście artystycznym. (O powieści dyskursywnej Stefana Kisielewskiego „Wszystko inaczej")*. In: Kreowanie świata w tekstach. Pod red. A. M. Lewickiego i R. Tokarskiego, Lublin, 1995, 189.

utrzymywane. Gdy się rozumie, jak dalece to przez politykę uformowane życie karykaturalne jest i wręcz niesamowite, wówczas, chcąc je opisać, musi się sięgnąć do jego politycznych źródeł. I w ten sposób powieść o komunistycznym bytowaniu zmienia się w publicystykę, wszystko, co się napisze, niezależnie od woli autora stanie się polityczne (272).

Jak dowodzi przykład pierwszej przywołanej wypowiedzi autotematycznej z *Wszystko inaczej*, dokonany przez Kisielewskiego ogląd własnej twórczości wpisuje się całkowicie w jego teorię dzieła literackiego. Pojawia się tu bowiem myśl o walorach literatury jako uogólniającego i sugestywnego sposobu ewokowania świata, o poznawczych wartościach dzieł oraz ich pozaestetycznych funkcjach, w końcu też o specyfice artystycznego kształtu prozy narracyjnej Kisielewskiego. Przy czym zawarty w artykułach oraz w *Dziennikach* pomysł wydzielenia jednorodnego w istocie typu "powieści-idei" i "powieści ze złożoną i otwartą tezą" oraz "powieści w myślach" i "powieści rezonerskiej" – w autotematycznej dygresji został wzbogacony o nowe rozróżnienie dwóch rodzajów kreacji, które przynależą temu typowi na równych prawach. Są to: nieskonwencjonalizowany monolog i "formy bardziej zdyscyplinowane", czyli oparte na spetryfikowanych schematach fabularnych, na przykład powieści kryminalnej.

Te rozważania o technicznych szczegółach konkretnych powieści ostatecznie potwierdzają spostrzeżenie, iż powieściopisarska działalność Kisielewskiego fundowana była na niezmienianej przez powojenne dziesięciolecia, teoretycznej świadomości. Autotematyczne dygresje przywołane zostały jednak nie tylko dla udowodnienia stabilności poglądów Kisielewskiego na literaturę. Zadecydowały o tym jeszcze inne przyczyny, które wiążą się z drugim przytoczeniem.

Ten obszernie cytowany fragment powieści dyskursywnie i dobitnie tłumaczy przede wszystkim polityczny charakter prozy narracyjnej Kisielewskiego. Z tego wszak głównie powodu dyskredytowano wartość jego beletrystycznych utworów, choć zgodnie z zamierzeniami pisarza, który za cel stawiał sobie "wymierzenie" czy też raczej "oddawanie sprawiedliwości światu" i odrzucał artystowski wzorzec literatury, jego dzieła nie mogły być inne, skoro polityka wdzierała się do wszystkich dziedzin życia – od spraw publicznych poczynając na prywatnych skończywszy.

Polityczny wymiar prozy fabularnej Kisielewskiego łączy się też z problemem przenikania się w niej żywiołu publicystycznej doraźności i przypisywanej literaturze, uniwersalnej perspektywy, czego skrajny przykład stanowi właśnie *Wszystko inaczej*, powieść, która była podsumowaniem dziennikarskiej i pisarskiej działalności twórczej autora, prowadzonej dotychczas poniekąd rozdzielnie na forum prasowym i literackim. Rozpowszechniona, chociaż nieuzasadniona sytuacją współczesnej literatury praktyka czytelnicza i literaturoznawcza ostro rozgranicza te dwa obszary

piśmiennictwa, a wszelkie przekroczenie rzekomych barier wartościuje negatywnie jako złamanie niepisanych norm. Kisielewski, świadom tej sytuacji, ale też nie rezygnując z własnych przekonań estetycznych, publicystyczny charakter swej powieściowej twórczości zasadnie tłumaczył zewnętrzną wobec literatury sytuacją historyczną, której chciał dać własne świadectwo utrwalone w powieści.

Wybrane dygresje autotematyczne z powieści *Wszystko inaczej* są zatem ważnym uzupełnieniem ogólnej koncepcji literatury, którą Kisielewski równolegle kształtował w dyskursywnych tekstach publicystycznych i pismach osobistych, a której zasady próbował jednocześnie ziszczać w swojej powieściopisarskiej twórczości. Pod tym względem *Wszystko inaczej* stanowi ciekawą propozycję złączenia powstającej „na oczach" czytelników fikcji literackiej oraz teoretycznej refleksji, na której empiryczny autor opierał swoje powieściowe utwory. Przy czym *Wszystko inaczej* raz jeszcze dowodzi, że teoria literatury w ujęciu Kisielewskiego pozostawała niezmienna, niezależnie od tematycznego i formalnego zróżnicowania jego dzieł.

5.

Trzy omówione rodzaje tekstów, które Kisielewski poświęcił zagadnieniom literackim, pozwalają odtworzyć zręby jego całościowej koncepcji literatury, ponieważ jej założenia były wsparte na niezmienianych w istocie poglądach. Wybrane artykuły publicystyczne, fragmenty dziennika i przedostatniej powieści Kisielewskiego w dyskursywny sposób odsłaniają tylko kolejne aspekty owej koncepcji, ale nie naruszają jej podstawowych zasad, które pozostają stabilne. Toteż poglądy pisarza układają się w trwały i spójny system myślowy, który – jeśli wziąć pod uwagę inne pisma Kisielewskiego – tworzy niemal pełny "system filozoficzny". W jego ramach niepoślednie miejsce zajmuje zrekonstruowana koncepcja literatury, bowiem Kisielewski przypisywał sztuce słowa szczególnie ważną rolę.

Odtworzona koncepcja literatury Kisielewskiego stanowi nie tylko wyraz indywidualnej świadomości pisarza, lecz zarysowuje również teorię dzieła literackiego, zwłaszcza w kształcie powieści, która współcześnie zdominowała inne gatunkowe formy fikcji artystycznej. Refleksja o literaturze w ujęciu Kisielewskiego obejmuje wszak zarówno uwagi dotyczące warsztatu powieściopisarza, jak też rozważania o literackiej aksjologii. W zakresie literaturoznawstwa koncepcja Kisielewskiego znajduje oparcie w tych naukowych poglądach, które zrównują status dzieł realizujących artystyczne lub nieartystyczne (np. poznawcze i etyczne) wartości, jak też pełniących estetyczne lub pozaestetyczne (np. kształcące i wychowawcze) funkcje. Za równouprawnieniem "nieinteresownej" i "interesownej" odmiany dzieła idzie również rehabilitacja utworów, które tradycyjnie umieszczane są w obrębie

"literatury dydaktycznej", "tendencyjnej" lub "zaangażowanej". To przyporządkowanie systematyzuje wprawdzie piśmiennictwo, ale z reguły kryje też w sobie uprzedzającą ocenę, która przesłania rzeczywiste walory konkretnych utworów. Zupełnie zaś deprecjonują je takie teorie, które opowiadają się tylko za estetycznym przeznaczeniem dzieła literackiego, a przez to stanowią przykład normatywnego postrzegania literatury i jej granic. Jakkolwiek Kisielewski opowiadał się zdecydowanie za "literaturą z tezą" oraz praktykował "powieść rezonerską", to jego teoria, która wyrastała z liberalnych przekonań światopoglądowych, również w świecie literatury dopuszczała pluralizm.

Upowszechniana przez wszystkie lata twórczej działalności koncepcja Kisielewskiego przedstawia także dwoiste świadectwo: w jej obrębie literaturze wyznaczony został cel „oddawania sprawiedliwości widzialnemu światu", ale też sama koncepcja odzwierciedla czasy, w których powstawała. Ze względu na polityczne uwarunkowania głoszenie w powojennej Polsce własnych, oryginalnych i nonkonformistycznych poglądów wymagało niezwykłej odwagi cywilnej, której Kisielewski w głównej mierze zawdzięcza opinię człowieka niezależnego w czasach zniewolenia. Jednak oddziaływanie polityki było tak silne i obejmowało tak wiele dziedzin życia społecznego, że nie mogła jej ignorować nawet refleksja o literaturze. Toteż z jednej strony koncepcja Kisielewskiego stanowi świadectwo czasów, w których była kształtowana, z drugiej zaś strony dawanie świadectwa epoce uznane zostało również w ramach tej koncepcji literatury za podstawowe zadanie dzieła sztuki słowa. Temu zadaniu Kisielewski podporządkował swoją całą twórczość.

Testimony of an Era.
Stefan Kisielewski's Conception of Literature
Summary

This paper revives part of the oeuvre of Stefan Kisielewski, the politician, composer, music and literary critic and writer. Prior to the political changes, Kisielewski was rightly called an independent oppositionist, which he consistently was in spite of the retaliations of power and censorship. Owing to his rich personality and the role he had played in post-war Polish cultural life, his biography, published in several books already, is better known than his life work.

The present paper discusses chapters of his oeuvre where he approaches literature in a discursive manner. No mention is made of his short stories and novels, in which the writer presented his principles about the art of word in practice. This conception forms such a coherent and stable system that its true reconstruction is possible by depicting and analysing a few of his representative pieces.

The first part outlines the objectives and introduces Kisielewski's versatility. The second part analyses three publicist pieces, which appeared in 1945, 1948 and 1952. The

third part discusses those sections of his diary, which reflect the works of Kisielewski, the novelist (1968-1980). We can find autothematic digressions concerned with similar ideas, which were elaborated in Kisieleski's last but one novel in chapter four (*Wszystko inaczej*, 1986). The fifth part is a concise summary of the study. Such reconstruction of Kisielewski's concepts of literature reflects his high intellectual level, which is based on a clear-cut system of artistic and non-artistic, aesthetic and non-aesthetic functions. This system is reinforced by some studies on literary works.

His conception of literature asserted throughout his lifework is the testimony of the era in which it was born. Reflection of the era was a basic task of literary works, Kisielewski claimed, and both his literary concepts and his novels were guided by what Joseph Conrad had voiced "to render justice to the visible universe".

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS

SLAVICA XXX, 193-221 2000 DEBRECEN

Єпископ Андрий Бачинский (1732–(1772–1809)) Видатний представник русинського просвітництва

Про життя і діяльність єпископа Андрія Бачинського

I. Удвари

У цій публікації нам хотілось би показати життя і діяльність єпископа Андрія Бачинського у дзеркалі опрацювань та первинних джерел, єпископських циркулярів. Під час його єпископства у всіх сферах церковного життя, що тисячами ниток проймало народне життя, народжувалися нові думки, рішення, а також реформи, вплив яких простежується аж до середини XX ст. У циркулярах Бачинського присутні майже всі важливі елементи русинської національної ідеології XIX-XX ст. Бачинський – видатна постать русинської історії культури XVIII ст. І справа тут не тільки в тому, що з його іменем і часом єпископства пов'язується прояв перших ознак руху русинського національного відродження. Він активно впливав і був творцем тих ледь-ледь помітних намагань, які можна назвати національними, і, таким чином, Бачинський може вважатися одним із провісників русинського національного руху XIX ст[1]. Не дивлячись на те, що сумарна, як правило, позитивна, оцінка його діяльності і ролі зустрічається у всіх роботах, що присвячені історії, літературі та освіті другої половини XVIII – першої третини XIX століть, але узагальнюючого, оцінюючого дослідження ні про нього самого, ні про

[1] Пор. Баран О., *Єпископ Андрій Бачинський і церковне відродження на Закарпатті.* Бібліотека Логосу, XXXIII. Канада, Йорктон, Саск, 1963; L'udovit Haraksim, *"Zlatý vek" biskupa A. Bačinského a obrodenské obdobie A.Duchnoviča – dve epochy dejín Rusínov.* In: Ján Dorul'a (ред.), *Slovensko-rusínsko-ukrajinské vzt'ahy od obrodenia po súčasnost'.* Bratislava, 2000, 10-36.

пов'язаний з його іменем період, не здійснено. Це, на наш погляд, в певній мірі стосується й "рутенського Геродота", Базиловича, робота якого є головним джерелом усіх наступних досліджень. Робота ця написана в часи Бачинського, однак містить у собі відносно мало матеріалів про самого Бачинського і його епоху! Представники русинської історіографії – І. Дулішкович, А. Годинка, Ю. К. Жаткович, що концентрували свою увагу на історії церкви, історію русинів Угорщини вивчали тільки до епохи Бачинського. Натомість марксистські історики сконцентрували увагу на періоді від середини XIX ст. до розпаду Австро-Угорської монархії.

Андрій Бачинський народився 14 листопада 1732 року у селі Бенятині (комітат Унг) у сім'ї священика, що був родом з Галичини. Початкові знання, необхідні для навчання в гімназії, отримав у батьківській хаті. Після закінчення ужгородської єзуїтської гімназії між 1732-1758 роками він продовжує теологічні студії у Трнаві, де й здобуває звання доктора теології. Завершивши навчання, він потрапляє в Гайдудорог помічником священика. З від'їздом у 1763 р. Дєрдя Сабадоша до Мукачева Бачинський стає гайдудорогським парохом, а незабаром головним деканом-протоієреєм комітату Саболч і округу Гайду. Його гайдудорогська діяльність вписується у коло саболч-гайдушагських народномовних відносин[2].

Діяльність Бачинського, пов'язану з цією територією, і після висвячення його єпископом характеризував мовний синкретизм.

Дотримуючись церковних правил, метричну книгу Андрій Бачинський вів на церковнослов'янській мові; для своїх вірників на угорській мові робив замітки, розписки, угоди; на угорській же мові вів переписку з лейтенантом і магістратом міста Дорог; з керівними органами церкви спілкувався на латинській і руській, а з комітатським керівництвом – на латинській мові. Як головний декан-протоієрей він переписувався з парафіями саболчського церковного округу також на угорській мові. Після висвячення його в єпископи він продовжував дотримуватися такої ж практики. В архіві дорогського церковного округу від нього та його канцеляристів збереглася значна кількість цікавих з мовного боку листів на угорській мові. Угромовна церковна література відзначає, що Бачинський у певних літургічних діях застосовував і угорську мову, і, крім того, перекладав на угорську мову народні пісні[3].

---

[2] Див.: Udvari István, *Bacsinszky András munkácsi és Tarkovics Gergely eperjesi megyéspüspökök kapcsolata Szabolcs vármegyével és a Hajdúsággal.* In: Levéltári Évkönyv XII. Nyíregyháza, 1997, 137-161.

[3] Grigássy Gy., *A magyar a görög katholikusok legújabb története.* Ungvár, 1913, 37; Sztripszky H., *Jegyzetek a görög kultúra árpádkori nyomairól.* Bp., 1913; Timkó I.,

Досвід, отриманий ним під час Гайдудорогського, т. зв. схизматичного руху, спонукав його до інтенсивної участі в русі за незалежність, канонізацію Мукачівської єпархії[4]. У 1768 році, коли триває організація на зразок латинських єпископств мукачівської єпархії, Бачинський стає членом першої капітули, що складалася з 4 чоловік.

У 1769 році його обрали керівником делегації до Марії Терезії, яка була покликана представляти канонізацію мукачівського єпископства. У 1772 р. діяльність Бачинського розвивалася паралельно й синхронно до політики освіченого абсолютизму Габсбургів по відношенню до греко-католиків, яку він максимально використав в інтересах русинського кліру. Освічено-абсолютистські прагнення уряду, направлені на підняття матеріального добробуту, культурного рівня, шкільної справи, співпали з високовідповідальною, далекоглядною і, в той же час, відповідною до конкретного співвідношення політичних сил, зважаючою і на, здавалося б, дрібні проблеми, діяльністю Бачинського.

Мукачівське єпископство на особисте клопотання Бачинського у 1776 році отримало від Марії Терезії аббатство в Таполці з річним доходом в 12 тисяч угорських золотих форинтів; для нової резиденції – монастир ліквідованого ордена Єзуїтів в Ужгороді і його церкву, а для духовної семінарії – замок Дрегетів (1775-1780). Він організував семичленну капітулу, члени якої, завдяки наявності відповідного матеріального забезпечення, отримали можливість займатися наукою і літературою. Бачинський реорганізував навчання священиків, яке з 1777 року проходило в Ужгороді. Від королівського двору домігся стипендії для 60 учнів і зарплати для 5 професорів теології. Навчальною мовою єпископської семінарії до смерті А. Бачинського була руська літературна мова, латинь функціонувала лише як допоміжна мова. За часів Бачинського державна допомога – субсидіум, що направлялася діючим священикам, значно зросла і досягла 30 000 угорських форинтів на рік. Він уніфікував і далі розвинув отриману у спадок від попередників і залишену єзуїтами в Ужгороді бібліотеку, куди просив з парохій доставляти старі, рукописні книги[5]. Створив архів, до якого своїм циркуляром вимагав перенесення з парохіальних архівів найцінніших, старовинних документів.

Свою увагу Бачинський звертав не лише на єпископство, капітулу та ін., але і, відповідно до духу йосипіанських вимог, займався також

Keleti kereszténység, keleti egyházak. Bp., 1971, 466-467; Pirigyi I., *A görög katolikus magyarság története*. Nyíregyháza, 1982, 85-89.

[4] Дулишкович И., *Исторические черты Угрорусских*. III. Унгвар 1877, 176.

[5] Hodinka A., *A munkácsi görögkatholikus egyházmegye története*. Budapest, 1910, 698-702.

матеріальним і духовним добробутом сільського духовенства і народу. З метою піднесення матеріального становища віруючих і нижчого духовенства домігся від казни матеріальної підтримки парохій і парохіальних шкіл. Співпрацюючи з палатою і комітатськими органами, він здійснив впорядкування парохій, яке призвело до значного покращення матеріального становища духовенства. Що стосується парохій, які знаходилися на державних маєтках в Мараморощі і на Ужанщині, Бачинський уклав окремі угоди з казною. Згідно угоди парохи отримали право на повну, дяки та церковні слуги – на половину земельної ділянки; вони безкоштовно могли випасати худобу і збирати жолуді; священик отримував від поміщика трьохкімнатну, а дяк – двохкімнатну хату, з яких одна кімната служила для потреб школи. Парох міг претендувати також і на стайню та клуню. Окрім цього священики отримували значні суми на оснащення церкви. Казна внесла свій вклад і на утримання мараморошської кам'яної церкви та приміщення вікаріату[6]. Подібні за змістом угоди Бачинський уклав також з помістям Шенборнів. Під час упорядкування парохій, яке завершилося на початку XIX ст., угода, укладена з казною, була визначальною і на переговорах з приватними землевласниками. Отже, в часи єпископства Бачинського відбулася повна матеріальна, правова емансипація греко-католицького кліру, а також піднесення його авторитету.

У 1773 р. Андрій Бачинський взяв участь у віденській нараді єпископів грецького обряду, де були прийняті важливі рішення, щодо церковних книг, свят, календаря та становища священиків і віруючих. Особливу значимість вбачаємо у рішучому сформулюванні вимоги, направленої до імператриці, щоб вона закликала комітати і землевласників сприяти створенню шкіл на територіях, заселених віруючими східного обряду. Було піднято питання про те, щоб віруючі східного обряду мали можливість існувати в суспільстві відповідно до своїх здібностей та освіти, а їх діти могли вільно відвідувати школи[7].

З ініціативи директора Університетського Видавництва Матея Марковича Рада Намісників у 1806 році поцікавилася думкою Бачинського про те, видавництво яких книг він вважає за потрібне для своїх шкіл і якими буквами повинні бути віддруковані ці книги.

---

[6] Гаджега В., *Додатки к історії Русинов и руських церквей в Ужанской жупі. Наукові записки Товариства "Просвѣти"* III. Ужгород, 1924, 155-239; Міцюк О., *Нариси з соціально-господарської історії Подкарпатської Русі.* II. Прага, 1938, 90-105.

[7] Гаджега В., *Наші культурні и церковні справы на епископских нарадах р. 1773. у Відні.* Подкарпатська Русь IV. 1927, 105-108, 167-170, 199-201, 213-215; Vö. Pirigyi I., *A görög katolikus magyarság története.* Nyíregyháza, 1982, 96-101.

Бачинський зробив запит приблизно на дюжину книг. Крім видавництва навчальних книг, необхідних для засвоєння доброї моралі, християнських повчань, обрядових знань, він вважав за необхідне друкування книги з арифметики і навчальної книги, яка б деталізувала громадські обов'язки громадян. Ці останні, як і біблейські історії, він хотів видати на народній русинській мові.

Подання Бачинського 1806 року стосовно навчальних посібників має також певне відношення до гунґаристики. У своєму проханні він окремо зупиняється на проблемі дітей тих греко-католицьких віруючих, які знають лише угорську мову або ж у окремому поселенні розмовляють на змішаній угорсько-русинсько-румунській мові. У зв'язку з відносно незначною кількістю таких дітей та з міркувань матеріального характеру Бачинський не мав намір ввести угорську мову в руську азбуку, вважаючи, доцільним їх навчання по-угорськи і з угорських навчальних книг[8].

У 1792 році в Ужгороді Бачинський організував єпархіальну учительську семінарію, де навчання велося на тогочасній русинській літературній мові. У 1777 році він став дійсним, внутрішнім таємним радником, а 1789 року отримав запрошення до Верхньої палати угорського парламенту. У цій якості він бере участь у парламентах 1790-91 рр., 1792 та 1796 рр. отримує більшу відомість. Національні намагання мали вплив на діяльність єпископа в останнє десятиріччя його життя.

Помер Андрій Бачинський 7 листопада 1809 року. Окремі частини циркулярів Михайла Ґріґашшія яскраво свідчать про те, що сучасники усвідомлювали його визначну значимість, особисті заслуги в різних сферах тогочасного життя. Визначна постать русинської історії культури Михайло Ґріґашшій у своєму циркулярі таким чином повідомляє про смерть Бачинського: "Зіниця ока нашої сонцесхідної церкви, надія русинів, слава Мукачівської єпархії, наш любимий батько, його екселенція Андрій Бачинський заснув 7 листопада 1809 року...".[9]

Тут зауважимо, що на честь Бачинського були написані багаточислені оди на латинській, руській, угорській і румунській мовах. Серед них оди О. Волковського, Б. Довговича, О. Байзама, які завдяки своїм літературним якостям можна зустріти у збірниках текстів, опрацюваннях історії літератури[10]. Волковський, гіперболізуючи епоху,

---

[8] Пор.: Кустодиев К., *Церковь угорских русских и сербов в их взаимоотношении.* Православное обозрение. Москва, 1873, 28-33.

[9] Див.: Udvari I., *Grigássy Mihály körlevelei.* Studia Russica XIII. 1989, 368-408.

[10] Микитась В., *Галузка могутнього дерева.* Ужгород, 1971, 22-23: Рудловчак О., *Хрестоматія закарпатської української литературы XIX століття.* І. Пряшів, 1976, 16-20.

пов'язану з іменем Бачинського, ставить її в один ряд з епохою Сатурна. Численні книги, що з'явилися друком, були присвячені Бачинському. Наприклад, Антал Дийчі: "Надзвичайно короткі роздуми про угорських руських!" Кошиці, 1797. (Décsy Antal, *Az magyar oroszokrul való igen rövid elmélkedés*. Kassa, 1797); філософський твір німця Х. Баумайстера, переклад якого був здійснений Петром Лодієм і з'явився у Львові у 1790 році.

Як ми зазначали, Бачинському присвячували оди і на угорській мові. До цього хотілося б додати, що в часи Бачинського в численних греко-католицьких общинах Затисянщини читання святого письма, апостольських, євангельських строф проходило на угорській мові, цією ж мовою проголошували і проповіді[11]. Із часів єпископства Бачинського походять також перші повні переклади літургії на угорську, що в рукописах збереглися до наших днів. Викладач угорської мови Ужгородської гімназії Юрій Кричфалушій, що перевів на угорську мову службу Святого Іоана Златоуста і в 1795 році на день Андрія подарував її Бачинському (вона повністю опублікована Гіадором Стрипським) зауважує... що "взявся я за переклад на угорську мову Божої Честі, яка носить назву Літургії Грецької священної Матері – церкви, з того часу, як я мав нагоду у цьому місті, в Ужгороді, проживати, та і в інших містах також був заохочуваний деякими моїми благодійниками для виконання цієї роботи". Він натякає, зокрема, і на те, що факт перекладів літургії не був новинкою уже і перед Бачинським[12]. Андрію Бачинському були відомі і більш ранні переклади літургії, зроблені Михайлом Кручаї[13]. Останні збереглися для нащадків у копіях, зроблених у 1814 році Іштваном Лупешом – священиком з комітату Саболч[14].

Єпископ Андрій Бачинський записав своє ім'я в історію угорської культури ще й тому, що саме він благословив у творчу дорогу (а пізніше безкорисливо підтримував) видатного представника угорського просвітництва, піонера угорської журналістики, письменника і редактора, Деметера Ґереґа (1760–1833).

---

[11] Пор. Grigássy Gy., Цит.пр. 14, 24, 33, 37-38.

[12] Sztripszky H., *Jegyzetek a görög kultúra árpádkori nyomairól*. Budapest, 1913, 124, 125-175.

[13] Пор.: Ivancsó István, *A magyar görögkatolikusság liturgikus könyveinek anyanyelvi fordításai és kiadványai*. A Hajdúdorogi Bizánci Katolikus Egyházmegye Jubileumi Emlékkönyve. 1912-1987. Nyíregyháza, 1987, 158-161. Див. ще: Udvari I., *Vasvári Pál hajdúböszörményi éveiről*. Szabolcs-Szatmári Szemle, 1989/ 4, 431-432.

[14] Іштвана Лупеша, який фігурує у переписі 1806 року; історія літератури знає як хрещеного батька Павла Вашварі, героя та жертви революційних подій Угорщини 1848-49 рр.

Про біблію Бачинського (1804-1805)

Окремо потрібно зупинитися на п'ятитомній Біблії, що вийшла друком в 1804 і 1806 роках у Буді з ініціативи єпископа Бачинського і під наглядом руського цензора Королівської Угорської Університетської Друкарні, а пізніше пряшівського єпископа, Григорія Тарковича. Уже в 1794 р. з боку Андрія Бачинського були зроблені перші кроки, направлені на публікацію п'ятитомного твору. Від Віденської друкарні Новаковича владика отримав надзвичайно вигідну пропозицію: йому обіцяли дешеве й швидке виробництво. Про це ми дізнаємося із латиномовного листа, написаного Бачинським 23 квітня 1794 р. саболчському декану-протоієрею Григорію Тарковичу в Гайдудорог, в якому, до речі, розкриваються також і мотиви публікації Біблії.

Оскільки від почаївських книготорговців обрядові книги можна було придбати лише за високу ціну – за одну Біблію, "яка, між іншим, є рідкістю, однак, вкрай необхідна", треба було заплатити до 50-70 рейнських форинтів, в той час як віденська друкарня поставляла їх всього за 15 рейнських форинтів, – єпископ Бачинський 8 жовтня 1794 р. замовив 300 екземплярів Біблії у віденській друкарні. Стосовно строків друку він, напевно, отримав сприятливу відповідь, бо у своєму латиномовному циркулярі, датованому 20 грудня 1794 р., владика підтвердив, що незабаром з'явиться повна Біблія. У згаданому циркулярі Бачинський[15] деталізує спосіб і порядок передплати. До саболчського кліра розпорядження Бачинського на цю тему довів Григорій Таркович у своєму циркулярі від 20 січня 1795 р., який являє собою переклад використовуваного ним варіанта тогочасної руської мови з повтором на латинській мові тої чи іншої найважливішої думки. Наприклад, у нижньосаболчському церковному окрузі, який складався з 22 парафій, справа опублікування Біблії на церковнослов'янській мові не стосувалася волошських парохій, а інші парафії не відповіли на послання Тарковича, або ж повідомили, що у зв'язку з відсутністю грошей, будівництвом та ін. не можуть її замовити. Гайдубесерменці не передплатили Біблію через те, що мали намір використовувати Біблію на угорській мові. Повну ціну Біблії виплатила лише багата гайдудорґська парафія, а половину – нірґелшська і бюдська[16]. Сьогодні біблія Бачинського або один із її томів є в значній більшій кількості у нижньо-саболчських парохіях. Вона побачила світ, врешті

---

[15] HPL. Fasc. 11. № 1, 2 квітня 1794.

[16] HPL. Fasc. 11. № 9, 20 грудня 1974.

решт, не у Відні, а у Буді, в друкарні пештського університету після того, як університет купив віденську друкарню Новаковича. Справа в тому, що єпископ Бачинський на початку 1806 року зробив обов'язковим придбання Біблії для усіх парафій. На основі Гайдудорогських архівних матеріалів є немислимим припущення, що ніби-то Біблію, про яку йдеться, друкували у Росії, як це припускали деякі вчені. Безсумнівно, що зроблена вона на московський зразок, за московським виданням[17].

Про послання єпископа Андрія Бачинського

Послання готувалися у єпископській канцелярії і дійсно були циркулярами. У єпархіальній канцелярії їх переписували в стількох екземплярах, скількох деканів або церковних округів вони стосувалися, і відсилали їх на адресу деканів. Найдавніша згадка про це відноситься до 1690-го року: єпископ Де Камеліс у своєму циркулярі представився кліру і з кожної області або воєводства (!) для присяги на вірність запросив по двох священослужителів[18]. В одному з своїх церковних статутів від 1755 р. єпископ Ольшавський говорить, що під загрозою штрафу в один талер він вимагає своєчасну передачу циркулярів. Він також зобов'язує кожного пароха перед відсилкою циркуляра скопіювати його у заведену спеціально для цієї мети книгу, так званий протокол. Андрій Бачинський відновив постанову Ольшавського щодо протоколів, в своїх посланнях він дає розпорядження деканам, щоб вони систематично контролювали, чи акуратно ведуть протоколи підпорядковані їм парохи.

Прочитавши єпископський циркуляр декан, або відправляв його найближчому пароху, або, деталізувавши для свого церковного округу це розпорядження, і сам складав послання.

Циркуляри побудовані згідно визначених форм, шаблонів, стереотипів. Зважаючи на їх форму та стиль, можна сказати, що вони продовжили практику середньовічних грамот. Відповідно до структури останніх, вони поділяються на три частини: вступ, власне текст і заключну частину. Кожен із структурних підрозділів має свої формули,

---

[17] Про це детальніше див.: Стрипський Г., *З старшої письменности Угорскої Руси.* З НТШ. CXVII-CXVIII/ Львів, 1914, 182-194; того же: *Початки друкарства на Подкарпаттю.* Зоря – Hajnal 1942/3-4, 261-298; Studia Slavica Hungarica XXXII. 1986, 63-100.

[18] Пор.: Udvari I., *Adalékok a kárpátukrán írásbeliség történetéhez.* Megjegyzések De Camelis J. nyomtatott műveinek és körleveleinek nyelvezetéről. Russzisztika. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. 11/E. 1987, 157-165.

відповідний порядок, призначення[19]. Циркулярна практика єпископа Андрія Бачинського є найкраще відомою. Бачинський з нагоди регулярних весняних і осінніх окружних деканських зборів в цей період відправляв послання. В окружних зборах крім парохів брали участь і вчителі-дяки. Парохів, які не були присутні на зборах без поважних причин, Бачинський викликав в Ужгород.

Оскільки русинські культурні намагання з часу їх зародження супроводжувала мовна проблема, здається, не буде зайвим зупинитися також на величезному мовному впливові циркулярів Бачинського. Адже кожен священик повинен був прочитати їх, скопіювати у протокол і оголосити ті частини, які стосувалися вірників (знову нагадаю, що у Мукачівському єпископстві наприкінці XVIII ст. було 729 парохій з такою ж кількістю священиків, які діяли на території 60 церковних округів). Про їх мовний вплив свідчить і те, що в окремих випадках, у деканських циркулярах з них цитуються цілі речення.

В деяких саболчських, сатмарських греко-католицьких парохіях траплялося, що послання Бачинського записували до протоколів у перекладі на угорську мову. Очевидно їх так і оголошували (порівняй, напр. протоколи Tímár, Fábiánháza. Бібліотека Гадудороґської єпархії). Циркуляри Бачинського, їх мова й стиль, а також інші його офіційні документи вважалися носіями норм літературної мови. Коріння так званого підкарпатського язичія XIX століття сягає до писемної практики часів канцелярії Андрія Бачинського. Отже, язичіє не є чимось неорганічним, без передісторії, незрозумілим мовним утворенням, як це спрощено уявляє собі частина дослідників.

Циркуляри Бачинського в тематичному плані можуть бути поділені на дві значні групи.

1. Одна з груп циркулярів пов'язана з розпорядженнями світської влади, головним чином Намісничої ради і Угорської королівської канцелярії; конкретизує, тлумачить їх.
2. Зміст другої групи циркулярів піднімає суто релігійні, просвітницькі та інші питання.

У циркулярах, які належать до першої групи, відображаються започатковані в дусі просвітництва церковно-політичні намагання держави, згідно яких духовенство попри спеціальні церковно-релігійні функції через виконання державних завдань, розпоряджень втягується у суспільний поділ праці. Так, Йосип II взагалі вважав священика державним службовцем, який поряд із своїми релігійними функціями займається також оголошенням державних розпоряджень і розвитком

---

[19] Пор.: И. Удвари, *Материалы к истории карпаторусинской письменности. Окружные послания Михаила Григашия (1758-1823).* Studia Slavica Hungarica 40, 1995, 311-330; Удварі, І., *Образчикы з історії пудкарпатськых Русинув. XVIII. столітіє.* Изглядованная з історії культуры и языка. Ужгород, 2000.

народної освіти. Саме в цьому дусі циркуляри Бачинського вимагають точного виконання церковно-державного перепису /Conscriptio animarum/, що здійснювався священиками; діяльність духовенства у дусі просвітництва під час епідемії, голоду, засухи; збирання за часів прусько-австрійської та французько-австрійської воєн продуктів, грошей і навіть тканини, яка служила б для перев'язування поранених. Один з циркулярів, наприклад, піднімає питання про пожертвування на допомогу глухонімим. У багатьох циркулярах мова йде про те, що необхідно знати про солдатів, які звільнилися в запас або продовжують служити, дезертирів (все це пояснюється тривалими на той час війнами). Відомо, що державною релігією тогочасної Угорщини був католицизм. Католицька церква пунктуально стежила за тим, щоб діти, які виростали в змішаних шлюбах, отримували католицьке виховання. Так, у багатьох циркулярах мова йде про реєстрацію релігійно або обрядово змішаних шлюбів, про перепис дітей, які виховуються у змішаних шлюбах. Значна частина циркулярів зобов'язує реєстрацію апостатів, визначення числа вірників, які вступили або були призвані в армію; літургізацію за успіхи цісарсько-королівської армії; пожертвування для дворянських повстанців; обмір посівної площі парохів, дяків та ін. Просвітницькі за духом, церковно-релігійні розпорядження Намісничої ради теж конкретизує єпископський циркуляр: так, наприклад, під впливом декрету Марії Терезії було проголошено, щоб ні священики, ні вірники не ходили на прощу, що знаходиться на віддалі більше ніж одноденного переходу; щоб не стався такий випадок, як у 1779 р. в Буковці, де на свято Звеличення Святого Хреста зібралося 65 священиків, які покинули без нагляду доручену їм для турботи паству, залишили без навчання свій народ[20]. Згідно розпорядження Намісничої ради Бачинський просив провести вибори настоятелів і заборонив без дозволу декана вінчання галичан, росіян (москалів), чехів, мораван, сілезців, трансільванців і солдатів. З нагоди смерті Марії Терезії Бачинський склав циркуляр. В ньому він не тільки оголосив траур, але також дав оцінку ролі і значення цариці з точки зору русинів.

Циркуляри Бачинського, що відносяться до другої групи, написані в дусі національного пробудження, турбувалися про культуру рідної мови, підняття рівня освіти: намагалися зменшити обезцінення рідної культури в результаті поширення латинізованої культури. Ці послання відзначаються своєю піднесеністю. Хотілося б, однак, наголосити, що єпископ вперше представив циркуляр такого стилю і змісту у 1795 році.

---

[20] *Циркуляр А.Бачинського від 24 березня 1799 р.* HPL Fasc. 4. № 28. Опубліковано: Шлепецький А. Мукачівський єпископ А. Ф. Бачинський та його послання. Науковий збірник Музею української літератури. III. Пряшів, 1967, 226-227; 223-242. Далі Шлепецький, 1967.

Пояснення цього, на наш погляд, полягає в тому, що на початку 90-х років Бачинський переживав нові враження, його кругозір значно розширився. У 1789 р. він отримав запрошення до Верхньої палати парламенту Угорщини. Він брав участь у роботі парламенту в 1790-91, потім 1792 і 1796 роках. Варто процитувати лист Бачинського, що був написаний на угорській мові до ради муніципалітету міста Дорога. У 1789 р. місто Дорог вело переговори з Бачинським про те, що воно має намір розстатися з парохом Іваном Копчаї. Бачинський у листопаді 1792 р. після повернення з парламенту інформує дороґського лейтенанта, а потім "Благородну Раду і Муніципалітет", чому він раніше не прийняв заходи щодо цього питання, зр.:

"Чесна, Благородна Радо і Комунітас, Дорогі Мої Браття Во Христі! Я добре пам'ятаю про те, яку обіцянку дав я ще у 1789-му році... а між тим причиною того, що я цю обіцянку і до тепер не виконав, є те, що мене у згаданому році невідкладні, триваючі ціле літо, верхньобаньські і Мараморошські подорожі, моя поїздка в тому ж році у Відень, де 1789 році і в подальшому мої гостювання, а звідси в наступних 90, 91, 92 роках, не тільки випадкові зміни, які сталися з нашими Величностями Правителями, але і сейми нашої Благородної Угорської Батьківщини й Держави, які проходили дуже довго часу, настільки перешкодили, що з необхідності детальніше обміркувати важливі суспільні справи, своєї обіцянки я здержати не був у змозі, а тому її виконання був змушений відкласти на більш спокійні часи"[21].

"Більш детальне обміркування великих справ нації", їх зважування, "Довготриваючі сейми Благородної Угорської Батьківщини і Держави" зробили значний вплив на Бачинського. Сейм 1790-го року, що проходив у Буді, засідав під знаком угорських дворянсько-національних рухів, що виникли як реакція на спроби понімечення і асиміляції з боку йосипіанського уряду. Одночасно Бачинський мав можливість познайомитися з національними (сербськими, румунськими) намаганнями, що поставали на противагу угорському руху. Дійсно, у циркулярах, що з'явилися після 1795 року, відчувається резонанс національних рухів, одна з найважливіших складових національних ідеологій: думка про повернення до народу, про необхідність єдності інтелігенції і простого народу.

Циркуляри, що з'явилися після 1795 року, сам єпископ вважав такою основою, засвоєння якої гарантувало успішне виконання священницького, дяківського покликання. Зібрані по пунктах вказівки в строгому батьківському тоні від моральних норм до практичних інструкцій визначали поле діяльності намісника, пароха, дяка, дітей і батьків. Подивімося на зміст циркулярів докладніше.

---

[21] HPL. Fasc. 10. № 16. 28 листопада 1792.

Яку картину малює у своїх циркулярах Бачинський про русинський народ

Русинський народ надзвичайно бідний, діти і дорослі в однаковій мірі неграмотні, безкультурні, серед них багато осіб з розгнузданим мисленням і хиткою мораллю. Переважна більшість русинів – землероби (селяни), пастухи, напрочуд мало серед них ремісників. Саме тому єпископ розпорядився, щоб парохи в обов'язковому порядку концентрували навчання на зиму, бо в такий час і діти пастухів знаходяться вдома. Серед представників більш престижних ремісничих професій, таких як маляр, різьбар по дереву, художник, палітурник, золотар та ін. взагалі не знайти русинів. Нема їх також і в торгівельній сфері. Навіть церковний посуд, одяг їм продають єврейські торговці, значна частина яких галицького походження[22]. Бачинський пропонує молоді єпархії, щоб ті з них, які розумні, тямущі, але не відчувають покликання до священицької професії, йшли у ремісники. І взагалі, зауважує він, не кожна молода людина може стати священиком. Він просить парохів, щоб, виходячи з спільних інтересів своїх дітей і єпархії, якомога більше молоді направляли на ремісничі професії. Оскільки чужоземні майстри отримують великі гроші за роботу в мукачівській єпархії, було б надзвичайно похвальною і корисною справою, на його погляд, поширення в середовищі русинської молоді професій маляра, різьбаря по дереву, палітурника, золотаря. У зв'язку з цим він наказує, щоб парохи направляли вчитися цим професіям своїх дітей або дітей вірників. Під загрозою покарання Бачинський заборонив парохам купувати від мандрівних галицьких євреїв церковний посуд, одяг тощо. Із циркулярів, також виясняється, що русини, які проживають у змішаних в етнічному і релігійному відношенні спільнотах часто через байдужість своїх священиків міняють свою релігію або обряд, а потім забувають і рідну мову.

Єпископ Андрій Бачинський про духовенство

Природним керівником і представником вартого кращої долі народу мукачівської єпархії русинів Бачинський вважав духовенство. Однак, по відношенню до духовенства він не був упереджений. В грізному тоні він повідомляє, що частина кліру неосвічена, некультурна, веде розпусне життя, жадібна до грошей, пиячить, недисциплінована, безсовісна, на роботі лінива і недбала. Багато священиків не в

---

[22] *Циркуляр А. Бачинського від 18 вересня 1797 р.* Пароxіальний архів. Шаторалйауйгей.

достатній мірі навчає своїх синів древнім руським традиціям і релігії. Він звертає увагу на зростаючу відстань між народом і духовенством, на те, що професію священика парохи дуже часто вважають лише джерелом збагачення, "вони соромляться свого народу, забуваючи про свої батьківські, пастирські обов'язки, забувши про лагідність і любов, вони також публічно картають, та навіть більше того – проклинають простий народ, наділяючи його грубими, неповажливими словами. Окремі парохи не задовольняються звертаннями «духовний отче» чи «шановний отче», а вимагають від народу для себе і своєї жінки найнеможливіших витончених звертань". Бачинський нагадує кліру, що в останній третині століття його матеріальна сила, моральний авторитет, грамотність значно зросли, але не тільки за рахунок власних можливостей і старань, і це всіх їх багато до чого зобов'язує. Бачинський чітко бачить і вказує, що без великодушної політики правлячих кіл правова, господарська емансипація рутенського кліру була б нездійснена. Бачинський неодноразово стверджував, що керівна верхівка колись пригнобленої релігійно-етнічної меншини емансипувалася. Це чітко проявляється в циркулярі, виданому у зв'язку зі смертю Марії Терезії[23].

Збагачення парохій і церков підтверджує не тільки те, що у часи єпископства Бачинського потроїлось число кам'яних церков, але й розпорядженням: вікна церков, парафій необхідно оснастити залізними гратами, у зв'язку з наявністю тут срібного посуду, виготовленого з цінних тканин одягу, реверенд, церковні об'єкти часто стають об'єктами грабунку.

Головну запоруку піднесення добробуту свого народу, збереження його самоусвідомлення, уникнення релігійної, культурної і мовної асиміляції Бачинський вбачає в посиленні і поглибленні катехизації і навчання на рідній мові та релігійно-морального виховання. Стосовно цього з циркулярів дізнаємося про програму дій. Ключові слова програми: духовенство, мова, народ, церква, діти, молодь. З циркулярів випливає, що Бачинський мав намір в межах церкви підтримувати раціоналізаторські тенденції просвітництва, і це він пов'язував з принципом використання рідної мови. Таким чином, єпископ може вважатися чи не найефективнішим представником русинського просвітництва.

Намагання Бачинського підтверджують тезу, згідно якої просвітництво в рамках власної діалектики розвитку рано чи пізно стає національним. Безперечно, було б цікавим дослідницьким завданням вияснити, які читацькі враження впливали на єпископа. У циркулярах відчувається вплив ідей найбільшого представника німецького просвітництва Гердера. З творами Гердера Бачинський мав можливість

---

[23] *Циркуляр А.Бачинського від 5 грудня 1780 р.* Парохіальний архів. Ракаца.

познайомитися у Відні з перших джерел[24]. За просвітницькими по духу циркулярами, рішеннями, розпорядженнями єпископа ми все ж бачимо не самостійну просвітницьку концепцію, а перенесення, адаптацію у місцеве середовище просвітницьких, абсолютистських законів, постанов, навіть і тоді, коли він не посилається на вищу постанову, указ.

Головною запорукою здійснення програми збереження народу, мови та пробудження нації – народу Бачинський вбачав у єдиній політичній силі русинського суспільства – духовенстві. Разом з тим у своїх циркулярах він наголошує на тому, що не народ існує для духовенства, а навпаки, духовенство служить народу. Ідеальний священик систематично, згідно споконвічних звичаїв і правил, скромно виконує церковні обряди, віддано проповідує; жоден парох не може відправляти службу несумлінно і несистематично. Єпископ гостро виступав проти тих, хто у неділю або святкові дні через прощу, галицькі ярмарки або інші зарубіжні поїздки, родинні відвідини не літургізують і катехізують[25]. Хороший священик навчає молодь християнському вченню, своїх дітей віддає в національну русинську школу, або, якщо такої немає, то навчає їх русинським наукам; в інтересах людей своє церковне місцеперебування він без причин не міняє, тим паче керуючись чисто матеріальними інтересами; утримується від пияцтва; не ходить до корчми; допомагає комітату в необхідних справах (перепис населення, попередження епідемії тощо); сумлінно веде матрикулу, протокол. У дусі потреб військової епохи він жадав від священиків, щоб ті підбадьорювали і заохочували молодь до військової служби.

Серед першочергових завдань парохів було навчання християнським знанням дітей обох статей. Заслуговує на увагу аргументація щодо цього. Основи християнського і релігійного життя, стверджує Бачинський, можуть бути привиті лише у дитячому віці: діти, виховані в такому дусі, можуть стати корисними для нащадків. В його циркулярах формуються не тільки вимоги, але і санкції. Єпископ затримував субсидії парохів-п'яниць, їх дітей не приймав до семінарії, а їх імена записував в архів – нехай нащадки соромляться за них. Він затримував субсидії для тих, хто не навчав своїх вірників християнським наукам[26]. Застерігав покараннями тих священиків-

---

[24] J.G. Herder, *Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menscheit*. 1792; J. G. Herder, *Briefe zu Beförderung der Humanität, erste Sammlung*. Riga, 1973.

[25] *Циркуляр А. Бачинського від 28 березня 1795 р.* HPL Fasc. 12 № 34; *Циркуляр А. Бачинського від 25 лютого 1802 р.* HPL Fasc. 16 № 6; Шлепецький. 1967, 229-230.

[26] *Циркуляр А. Бачинського від 28 березня 1795 р.* HPL Fasc. 12 № 34.

батьків, діти яких при вступі до семінарії слабо знаюли русинську мову, церковний устав та спів.

Про деканів

Безпосередній нагляд за парохами здійснювали декани-протоїєреї. З циркулярів, написаних кирилицею, контурно вимальовується коло їх повноважень, прав і обов'язків. Декан діяв у підпорядкованому йому церковному окрузі як заступник єпископа. Його завданням був нагляд у релігійному і майновому відношенні за діяльністю шкіл, за парохіями та парохами, що належали до його округу; час від часу він повинен був їх відвідувати. Один раз на рік декан проводив екзаменування парохів і дяків: перших з теології та знання обрядів, інших – зі знання обрядів і церковного співу. Тим особам, які вступали в семінарію, давав посвідчення про їх поведінку та знання. Два рази на рік декан організовував і проводив окружні синоди, на рівні першої інстанції улагоджував проблеми, які виникали між вірниками і священиками. У важливих справах виступав посередником у листуванні між священиками і єпископською канцелярією. Бачинський неодноразово звертав увагу на те, що він не буде займатися проблемними справами в обхід декана. Парохи могли давати комусь позику з каси церковної громади тільки з дозволу декана; продаж або передачу в аренду ріллі, луків, що належали церковній громаді, теж дозволяв лише декан; відновлення, оформлення церков і взагалі домовленості з маляром, художником, різьбарем по дереву, скульптором могли здійснюватися тільки з дозволу декана. Галичан, москалів (росіян), чехів, мораван, сілезців, жителів Трансільванії, а також солдатів можна було повінчати тільки з його ж дозволу. Співробітництво з деканом не могли ігнорувати і державні службовці; адже саме він передавав своїм священикам комітатські розпорядження, узагальнював дані перепису населення, що їх робили парохи, і відсилав до органів комітатської влади; доповідав комітату імена тих батьків, чиї діти не відвідували катехізацію та ін.

Про шкільні справи
Бачинський про народні школи, катехізацію і навчання дяків

Як бачимо, з написаного до тепер, коло завдань священика було тісно пов'язане з шкільними справами. У циркулярах є багато даних про народні і національні школи, дяківські училища і, звичайно, про навчання священиків.

Навчальний матеріал католицьких малих шкіл уже більше ніж два століття до того визначали тирнавські розпорядження 1560 року: текст катехизиса, читання, письмо і співи. З матеріалів циркулярів у русинських початкових школах, по суті, бачимо теж саме[27] Найважливішим завданням народних (початкових шкіл) Бачинський вважав навчання християнській науці і катехизацію. Це ж відображають деканські циркуляри Григорія Тарковича, пізніше слов'янського цензора університетської друкарні в Буді та першого пряшівського єпископа, верховинського декана Михайла Ґрігашшія[28].

У своїх циркулярах Бачинський розпоряжався, щоб вивчення катехизису для дітей обох статей здійснювалося у віці від 6 до 14 років[29]. Через величезну нестачу посібників ця форма навчання у більшості місць проводилася без книги. Лише праця Іоана Кутки, що вийшла з друку у 1801 році у Буді, пом'якшила нестачу катехизисів[30]. Бачинський в окремому циркулярі дав розпорядження про купівлю видання Кутки всіма парафіями. Молодожонам перед одруженням за матеріалами катехизису необхідно було складати іспит. Дяків єпископ зобов'язував увесь зміст книги вивчити напам'ять, бо "хто інших хоче навчати, той і сам нехай буде вченим". Вивчення катехизису, пише Бачинський, вимагає не тільки божий, євангельський закон, але і цісарсько-королівський, а тому про батьків, діти яких не ходять на катехизацію, необхідно заявляти комітатській владі. Крім цього Бачинський чотири рази на рік просив доповідати йому про кількість дітей, що беруть участь у вивченні катехизису. В одному з своїх циркулярів за 1802-й рік він зупиняється і на національних школах. Там, де знаходиться 50 або трохи менше дітей, здатних ходити до школи, провинно розпочатися навчання з книжок на рідній мові, парох повинен направляти туди дітей, бо користь від подібного навчання величезна. Однак, таке навчання з книжок, додає він, зовсім необов'язково насилу проводити там, де є така школа, або заново будується, головний наголос слід робити на навчанні релігії і рідній

---

[27] У циркулярах залишила помітний слід перша домашня державна регуляція освіти, освітницький наказ просвіщеного абсолютизму, Раціо Едукаціоніс. Порівняй Ratio Educationis. Угорський переклад видань 1777-го і 1806-го років. Переклав: *István Mészáros*. Budapest, 1981.

[28] Удвари И.: Данные о закарпатско-украинской официально-деловой письменности XVIII в. (*О гайдудорогских годах Григория Тарковича*) Studia Slavica Hungarica 32, 1986, 1-4, 63-100. Пор. ще: Studia Rusica XIII. 1989, 368-408.

[29] *Циркуляр А. Бачинського від 14 червня 1802 р.* HPL. Fasc. 16. № 3. Шлепецький 1967, 231-232.

[30] Пор.: Катихисїс малый или наука православно-христїянская во благочестное воспитанїе юношества дїцесїи Мункачовскїя, составленая в Унгварѣ. В Будинѣ градѣ 1801.

русинській мові. Єпископ зобов'язував місцевих парохів, щоб вони перевіряли, чи учні знають не тільки писати і читати, але катехизис і пісні своєї церкви[31].

Парохи і дяки можуть підняти авторитет русинськомовних національних шкіл, якщо віддадуть туди своїх дітей для навчання, вважав Бачинський. Парохи два рази на рік були зобов'язані доповідати декану про руські школи, а ті, у свою чергу – єпископу. У 1797 році для руських національних шкіл у Буді видали буквар, який 1799 року знову перевидали[32].

Про навчання дяків ми маємо у своєму розпорядженні мало відомостей. Переважна частина дяків, яка виконувала і функції вчителя, необхідні для виконання своїх обов'язків знання, у більшості випадків, засвоювала у батьківській хаті. Однією, хоч і несміливою формою навчання дяків-вчителів був її зв'язок з мукачівською семінарією, тобто навчанням священиків. Єпархіальні статути єпископа М. Ольшавського, які, до речі, до цього часу так і не використані ні історичною наукою, ні історією культури, вимагають, щоб поповичі відвідували мукачівський заклад, інакше залишаться без дяківської кондиції. Статут мукачівської школи часів єпископа Івана Брадача */Regulae pro Scholis Mukácsiensibus/* перераховує також вимоги щодо кандидатів у дяки. Кандидати у дяки (чи то син попа, чи сабадош) повинні вміти співати хоча б Ірмологіон, добре читати, дещо писати, повинні бути знайомими з найважливішими догмами віри, а також проіменами, тропарями, стіхірами, знати славлення. Ірмологіст (кандидат у дяки) щодня по два рази зобов'язаний був вправлятися у письмі, а результати два рази на тиждень показувати своєму керівникові. Щодо поведінки, дисципліни, то на нього поширювалися ті ж вимоги, що і до кліру. З перенесенням підготовки священиків з Мукачева в Ужгород, згадані рамки і форма навчання дяків перестали існувати. Зауважимо, що навчання дяків-вчителів не було вирішене по всій Угорщині.

Перший Раціо Едукаціоніс (1777 р.), правда, відділив навчання вчителів від навчання священиків, однак не створив самостійної, побудованої на загальному навчанні форми виховання вчителів, а зарахував їх до початкових і загальних шкіл. Руське (греко-католицьке) навчання вчителів було вирішене лише після відкриття ужгородського училища.

Як свідчить об'ява в циркулярі за номером 951 провінційного містечка Оласліска, училище розпочало свою діяльність у 1792 р. (в деяких дослідженнях дата заснування вказана 1793 або 1794 роки), зр.:

---

[31] *Циркуляр А. Бачинського від 1 серпня 1802 р.* Шелецький 1967, 234-237.

[32] *Буквар языка рускаго с прочіими руководіем начинающих учитися.* В Будимѣ ... 1797/1; 1799/2.

"Згідно розпорядження Намісницької Ради з метою навчання русинської нації в Ужгороді в одній школі встановлюється майстер Вчитель; та молодь, яка бажає навчатися у названій Школі, потічного року в 10 день місяця Св. Андрія повинна з'явитися в Ужгород для ознайомлення з умовами навчання, 1792"[33]. На початку 80-х років Бачинський розпоряджається, щоб кожен намісницький округ спільними рішеннями і затратами спорудив одну таку школу, де навчають не тільки читанню, письму, катехизису, але, в першу чергу, церковному співу. У 1802 р. це своє розпорядження він поновлює[34]. Наявність таких дяківських училищ, намісницьких окружних шкіл, крім найбільш відсталих і найбідніших верховинських територій, підтверджується документально. (У мараморошському верховинському окрузі школу подібного типу організували десь у 1815 році). В одному своєму листі до міста Гайдудорога за 1792 р. Бачинський говорить і про дорогські дяківські училища, просить керівників міста звернути увагу на те, щоб нове, так зване нормоване навчання, не було на шкоду навчанню дяків[35].

Циркуляри дають більш-менш точну картину про діяльність, права і обов'язки дяків. Згідно них вони повинні були бути у своїй установі скромними, відомими, тверезими, в особистому житті стриманими. Поряд з участю в літургії їх найголовнішим завданням є навчання, катехизація дітей[36]. Один раз на рік вони повинні були прийняти участь у деканських зборах. Перед своїм деканом раз на рік зобов'язані були скласти іспит з християнських наук, церковного статуту та співу. Без відома декана парохи не мали права звільнити з роботи дяків навіть для найлегшої домашньої роботи, з іншого боку, вони були зобов'язані давати йому один крайцар від замовленої літургії та третину усіх церковних доходів. Обов'язок слідкувати за мораллю дяка лежав на деканові, останній стежив і за тим, щоб ніхто його не притісняв зайвими податками, навантаженнями[37].

Андрій Бачинський про виховання священиків

Проблеми русинської інтелігенції, думки та концепції Бачинського добре ілюструють його циркуляри, пов'язані з підготовкою священиків.

---

[33] *Архів Земплинського комітату.* V. 8, 1792, Шаторалйауйгей.

[34] *Циркуляр А.Бачинського від 12 березня 1803 р.* HPL. Fasc. 16. № 6. Опублікував Шлепецький, 1967. 234-237.

[35] HLP. Fasc. 10, № 17.

[36] *Циркуляр А. Бачинського від 28 березня 1795 р.* HPL. Fasc. 12. № 34.

[37] *Циркуляр А.Бачинського.* HPL. Fasc. 15. № 29. Порівняй: Шлепецький, 1967. 227-229.

При вступі до ужгородської духовної семінарії претендент повинен був пред'явити відповідне деканське посвідчення, зокрема про те, якого стану і чину, якої моралі його батьки, сам він одружений чи ні, яка в нього поведінка; що він знає з катехизиса, читання руського письма, співу і церковного статуту. Для тих, що закінчили навчання у латинських школах, обов'язковим був вступний іспит з названих предметів[38].

Результати вступних іспитів зробили на Бачинського гнітюче враження: частина молодих вступників (здебільшого попівських синів), які готувалися стати священиками, майже не розуміли церковної літургійної мови, ледь-ледь вміли писати й читати, не мали навичок церковного співу. У пастирському листі, датованому 4 вересня 1788 р., він пише: "З глибоким сумом бачу, що діти багатьох батьків, виявляючи бажання після навчання у латинських школах стати на шлях підготовки до духовного сану і здати іспит, з руською вірою настільки необізнані, що на цій мові не вміють ні читати, ні навіть написати своє ім'я. Незбагненною премудрістю є для них і церковні співи та релігійні обряди"[39].

У своїх пастирських листах Бачинський неодноразово повертається до цього кардинального пункту навчання майбутніх священиків, наголошуючи, що той, хто бажає служити своєму народу і отримати парохію, повинен грунтовно знати мову і вчення греко-католицької церкви – "християнської церкви східного обряду". Для населення єпархії, русинського народу корисніший той священик, який знає лише одну, предписану церковними правилами руську мову, а не той, хто знає кілька іноземних мов, але з руською необізнаний.

Бачинський застерігає, що не тільки не допускатиме молодих людей, які не мають необхідних знань рідної мови та релігійних догматів до навчання для здобуття духовного сану, але й їхніх батьків притягатиме до суворої відповідальності[40]. В одному з його циркулярів відзначалося, що в ужгородській, трнавській, егерській, і пештській семінаріях навчалося щорічно по 20 семінаристів. Відносно значною була кількість тих греко-католицьких вихованців, які з римо-католицької школи (латинської) потрапили у римо-католицьку семінарію. Бачинський звертав увагу на ті небезпечні наслідки, які виникають, коли навчання духовенства здійснюється без найменшого зв'язку з рідною мовою та руськими традиціями, без знання руської грамоти та церковного співу. Тому для вступників до римо-католицьких духовних семінарій ставиться вимога: особам, які

---

[38] *Циркуляр Бачинського від 4 вересня 1788 р.* HPL. Fasc. 15. № 3.

[39] Пор.: Bonkáló S., *A rutének (ruszinok)* Bp., без року вид. 116.

[40] *Циркуляр А. Бачинського від 24 березня 1799 р.* HPL. Fasc. 4. № 28. Пор.: Шлепецький, 1967, 226-227.

бажають одержати призначення у мукачівському єпископстві, необхідно скласти екзамен на знання руської мови та пов'язаних з нею наук. Бачинський також ухвалює рішення, згідно якого учні латинських шкіл, які збираються вступити на стезю священнослужителя, під час своїх літніх канікул повинні складати екзамен на знання "руських наук"[41].

Все вищенаведене добре ілюструє цей фрагмент циркуляра:

Возлюбленнїи С(ы)нове!

... Не токмо во потупленїе, но паче, й во самое оумалїе день о(тъ) дне приходитъ рузчизна наша, й отеческое н(а)шое Руское набоженство! Ибо всєцѣлое юношество за чужыми, иностранными по свитѣ разходится языками, и науками, своего же языка, наукы, и набоженства, во которыхъ бы санъ с(вя)щенничєскый получити, и народу своему служити хотѣли, о(т)нюдъ, или мало что знаютъ; Того оубо ради паки прешлорочное мое оустановленїе опамятствующе обновляю, абы жаденъ, никтоже изъ якыхъ либо высокыхъ школъ латинскїи школяри кромѣ своея отеческїя природныя наукы Рускїя, без которыя невозможно естъ въ с(вя)щенствѣ народови своему служити, сѣмо с(вя)щенство просити недерзнулъ, и нєприходилъ; лучше бо, и полезнѣйше естъ въ болшой части Дїецесїи едино-язычному Рускому, въ своемъ оуставѣ, и наб(о)женствѣ оутвержденному, и по сему въ б(о)гословїи просвѣщенному с(вя)щенникомъ быти, нежели без сей наукы, со чуждыми токмо языками между своимъ народомъ соблазнь, потупу, и оумаленїе набоженства наносити. Черезъ сїе обаче оустановленїе тое отнюдъ невозбраняю латинскаго, или иныхъ языковъ наукы, токмо абы свое Руское, аки до сану с(вя)щеннического нуждньйшое средство, без него же с(вя)щенство въ своемъ Рускомъ набоженствѣ получитися неможетъ, найпервїе неоставляти, но во томъ вынаучити и оутвердитися.

З вищезгаданих розділів, які стосуються шкільної справи, системи навчання священнослужителів, однозначно випливає, що Бачинський, подібно до своїх сучасників, теж ототожнював літургічну мову своєї церкви з живою русинською мовою, або принаймні вважав їх двома різновидами однієї мови. Така думка виникла у другій половині XVIII ст. і панувала в середовищі русинської інтелігенції до середини XIX ст.

Пастирські листи проливають світло і на те, що владика повністю ототожнював греко-католицьку віру з православною вірою. Мову п'ятитомної церковнослов'янської біблії, виданої за московським взірцем, Бачинський, наприклад, називає руською. Вказаний твір, який

---

[41] *Циркуляр А. Бачинського від 24 березня 1800 р.* Пор.: Шлепецький, 1967, 229.

був продукцією університетської друкарні в Буді, Бачинський розпорядився закупити кожній парафії і рекомендував придбати його парохам. Національні уявлення Бачинського, подібно до уявлень сучасників, поєднували русинську етнічну самосвідомість та почуття єдності з усіма східними слов'янами з патріотизмом щодо багатонаціональної угорської держави. Він з гордістю шанував свою "Благонародну Угорську Батьківщину і Державу", але разом з тим у його свідомості беззастережно жило і міцніло чуття приналежності до східнослов'янської мовної спільності, переконання в тому, що русини Підкарпаття і сусіднього зарубіжжя є "одного племені".

Перш, ніж перейти до висновків, хотілося б подати уривок з останнього, відомого нам пастирського листа, оскільки саме в ньому концентрується все, сказане досі[42].

Возлюбленнїи Сынове Пароxи!

На содержанїе въ своемъ составѣ коеголибо рода и народа не естъ болшаго и крѣпчайшаго союза, нежели содержанїе природнаго, отеческаго, и матерняго своего языка, писѵма и набоженства, якоже и вопреки искуствомъ, и многими прикладами явно естъ, яко егда аще который народъ природнаго началнаго своего языка писѵма и набоженства лишатися и гнущатися начинаетъ, абїе тѣмъ самымъ самый народъ въ различное премѣненїе преxодитъ, по новѣстному прикладу и свѣдѣтелству Моравскаго и Ческаго народа, иже о(тъ) с(вя)тыхъ от(е)цъ Кирилла и Мефодїя прїемше свѣт восточнаго бл(а)гочестїя, вѣ началѣ бысть Славено-Русскаго языка, писѵма и набоженства, послѣжде съ залишенїемъ и премѣненїемъ сего всячески премѣнися. Воз(з)рите на сосѣдни(х) заграничныхъ соплеменниковъ нашихъ, не имѣютъ ли они изъ сея части причины боятися подобнаго со временемъ премѣненїя. Но, что на иныхъ народѣхъ зрити, внемли, и бодрствуй ОУГРО-РОССЇЙСКАЯ дїецезїя Мукачовская! Да не й тебѣ тое случится со залишенїемъ отеческого, и матерняго своего языка и письма. На егоже удаленїе, паче же въ содержанїе крѣпчайшимъ союзомъ Рода, и народа нашего.

Се! Возлюбленнїи Сынове! По изданїи Катихизїса дїецезалнаго въ рукахъ вашихъ уже находящагося, готовая естъ и Бїблїя сирѣчъ Книги с(вя)щ(еннаго) Писанїя Русскимъ нашимъ языкомъ изданная; н(ы)нѣ оуже двоякимъ побужденїемъ къ оудвоенной ревности въ чтенїи с(вя)щ(еннаго) Писанїя напоминаю васъ, и одолжаю: имате бо Книги сщ. Писанїя могущаго васъ оумудрити вѣрою въ спасенїе, яже о Х(ри)стѣ І(су)сї, еже полезно есть къ ученїю, къ обличенїю, къ

---

[42] *Циркуляр А. Бачинського від 1 січня 1806 р.* Пор.: Шлепецький, 1967, 239-241.

исправленїю, къ наказанїю, еже въ правдѣ: да совершенъ будетъ Б(о)жїй ч(е)л(о)вѣкъ на всякое дѣло бл(а)гое уготованъ. Во къ Тїм(оѳею) гл(ава) ѓ (3) сти(х) ѕі (16) ѕі (17). А имате Книги тыя на рускомъ языцѣ; яже слѣдственно частократно, и со охотою чтуще, народу, толкуще вѣрныхъ на чтенїе, и слышанїе его возбуждающе не точїю удобѣе народъ въ познанїе истины привести, въ добронравїи утвердити, но купно и Матернїй нашъ языкъ, писмо, народъ, и набоженство содержати, и подкрѣпити возможетъ.

Сего ради оустановляю, крѣпко повелѣваю, да едина кожда церковъ парохїална одинъ екземпларъ Бїблїи въ пятихъ томѣхъ состоящїй себѣ прїобрѣтетъ. Но понеже шестъ сотъ екземплары на часть сея дїецезїи въ Будинѣ типомъ напечатаны, и сѣмо до ОУНҐВАРУ препосланы оуже сутъ, тѣмже убо нѣколико екземпляровъ о(тъ) парохїалныхъ церквей останутся, извѣщаю, и оувѣщеваю, да и вы возл(юбленїи) С(ы)нове на часть вашу книги сїя с(вя)щ(еннаго) Писанїя въ сей часъ себѣ доставити потщитеся, егда время, и способъ на тое имѣетъ, толико паче, понеже цѣна ихъ на повторенныя моя къ высочайшимъ мѣстамъ представленїя на толико уменшена, и умѣрена естъ, яко единъ екземпларъ въ 5 томѣхъ, готовый о(т)правленный дается.

У цьому листі відчувається, мабуть, безпосередній вплив Гердера. Слідом за Гердером владика проголошував: основою національності є мова. Той народ, мова якого зникає, втратить свою славу, пам'ять, колективізм і, нарешті, його національність буде виведена з ряду народів. Найміцнішим союзником народу є мова.

Підсумки

Ідеї просвітництва через складні шляхи дійшли до вищого русинського кліра. Починаючи з 90-х років XVIII ст. єпископ Андрій Бачинський намагався поставити на службу збереження і подальшого розвитку русинського національного самоусвідомлення та рідної мови ідеї просвітницького духу. Стосовно цього з його пастирських листів чітко вимальовується конкретна програма. Виходячи з свого статусу, і, додамо, при відсутності інших, здатних до керівництва суспільних сил, Бачинський мав намір цю програму, здійснити з допомогою духовенства. Він намагався усіма церковними і релігійними засобами, що були у його розпорядженні, уповільнити процеси аккультурації, які активно проходили в середовищі значної частини розпорошеного русинства. Ключем для піднесення і збереження самоусвідомлення свого народу він вважав релігійно-моральне виховання, а також необхідність того, щоб русинський народ, який він ототожнював з прихожанами мукачівського єпископства, мав своїх, вивчених на рідній руській мові священнослужителів, і щоб на цій же мові народ навчався

у школах. Подібно до своїх сучасників, рідну руську мову А. Бачинський ототожнював з греко-католицькою літургійною мовою, тобто з церковнослов'янською мовою місцевої редакції. Виходячи з того, що в русинському суспільстві зразком для простого народу є священик, він присвятив особливу увагу матеріальному, моральному і інтелектуальному розвиткові сільского духовенства. Сьогодні конче необхідно з допомогою спеціальних досліджень вивчати ті суб'єктивні і об'єктивні чинники, в результаті яких починання Бачинського не мали продовження.

В додатку нашого матеріалу публікуються три циркуляри А. Бачинського, які яскраво ілюструють мову и стиль визначного єпископа Мукачівської грекокатолицької єпархії. Перші два циркуляри були адресовані священикам, а третій – монахам єпархії Угорщини. Тексти публікуються у спрощенному переписі: на місці букв ѣ–ѧ–я; ѹ–у; ѡ – о.

Додаток

I.

Возлюбленнїй С(ы)нове Парохи![43]

Хотяй болше оуже разы разпострани(х) дїецезалная моя повелѣнїя съ взоромъ на нѣкая преступленїя и преступнико(в) и(х) оуже и на кару дѣля прикладу другымъ затѣгахъ сѣмо къ мнѣ до Оунгвару. Якожто знакомитѣ: абы парохи опасно себѣ и своему д(у)ховному стаду прилѣжали; абы набоженство, и о(т)правы ц(е)рковныя горливо, и непремѣнно по своему давному оуставу о(т)пра(в)ляли; абы наро(д) свой найпаче же где между чужымъ народо(м), то есть: между иныя вѣры, или набоженства людми помѣшанный есть, въ своемъ набоженствѣ всецѣлно содержавали; небрежливыхъ же въ набоженствѣ парохо(в), или оутрачающи(х) изъ вѣры, или изъ набоженства народъ свой, сосѣднїи парохи мнѣ достовѣрно самїи собою, или чрезъ вицеархидїакона своего описали, вице-архидїакони же до таблицы рочныя, где е(ст) о числѣ д(у)шъ, тамо колико о(т) вѣры, или о(т) своего набоженства о(т)ступили достовѣрно записали; абы жаднаго изъ парохїановъ своихъ ани безчестными, се же найпаче въ ц(е)ркви словами, ани дѣломъ не потупляли никогоже о(т) д(у)ховнаго, или о(т) ц(е)рковнаго набоженства, и служенїя ради оукоризны не отвертали; тѣм же паче и подъ наложенною о(т) мене карою запрѣщенїя, абы жаднаго оударити не дерзнули; абы частократными наказами церковными, и наукою хр(и)стїанскою народъ свой, и недорослыя лѣтораслы дѣти охотно вынаучавали; чада же своя домашняя майпервѣе въ свои(х) рускы(х) наукахъ оутверждали; абы въ дны недѣлныя, и с(вя)точныя про далечайшыя якожто по монастыре(х) о(т)пусты, или яколибо по своему хотѣнїю наро(д) свой парохїалны(й) безъ набоженства не оставляли; абы // абы новобрачны(х) прежде, нежели они самїи самому парохови своему самохотное свое на малженство соизволенїе ознаймлятъ, и своя имена ради оголосокъ сами, а не чрезъ переказъ записати дадутъ, и науку хр(ис)тїянскую по можности своей знати будуть, дотолѣ не оглашали; до прїятїя же малженства женскїй полъ принаймнѣе прежде совершенны(х) четырнадцетъ лѣтъ не допущали, таже: абы сами себе о(т) погибелнаго пянства изтѣгали; ещеже: абы и о(т) неприлѣчнаго клѵрови народнаго по оулица(х), по путе(х) куренїя догану, якоже и о(т) пушкарства себе воздержовали; абы кромѣ соизволенїя моего, ради полученїя нѣкыя парохїи по между парохїяно(в), или по держа(в)ны(х) панѣхъ залицающеся на обхождали; На послѣдѣ же: абы сицевая повелѣнїя моя незабвенно въ протоколлы себѣ въ кратцѣ записати, якоже и матрикы, и ряхунки ц(е)рковныя непрерванно провадити не пренебрегли; Вице-архидїакони же на рочны(х) соборѣхъ обновѣтелно съ новыми, и давная согласити, кождорочноже по оуказу оустановленных о(т) мене нравны(х) таблицъ о единаго кождаго соборнаго пароха сожыятелствѣ по совѣти, нео(т)кладно по осѣнны(х) соборѣхъ до конца м(ѣс)ця декемврїя тыяжде таблицы, на которы(х) и самы(х) себе /: кромѣ токмо пятыя, шестыя, осмыя и девятыя клѣткы, идеже е(ст) о нравѣхъ :/ записовати, и мнѣ перепосылати памятали; Хотяй, мовлю, сїя оуже и болшое сихъ знакомитѣ лонскаго ,ā ψ ч̄е (1795) року м(ѣс)ця марта, дня кї(28) возлюбленностемъ в(а)шым доволно завѣща(х), и же и паки н(ы)нѣ на соборѣ огласително прочитати повелѣваю, однакожъ:

Понеже суть нѣкїи изъ пароховъ, которїи изъ забвенїя, другїи же изъ небреженїя инїи же си(х) горшїи изъ жестокосердїя предоустановленны(м) повелѣнїямъ моимъ не внимаютъ, неопамятающеся на совѣсть свою, яко по(д) часъ прїятїя с(вя)щенства // с(вя)щенства послушанїе еп(иско)пу своему съ народным обѣтомъ пре(д) пр(ес)толомъ божїимъ присѣгали; того ради якоже съ взоромъ на давная тако и на новая

---

[43] Місце збереження: HPL. Fasc. 13. № 2.

оустановленїя возлюбленностемъ в(а)шымъ слѣдующая н(ы)нѣ опредѣляю повелѣнїя; а сице:

а̃(1). Поразумѣвше доволно не токмо изъ таблицъ но и иначе:

нѣкоторы(х) парохо(в) развращенное, и погибелное житїе; таковыхъ оубо сирѣчъ: которы(х) или самая свойственная ихъ совѣстъ въ чесом обличаетъ, или оуже и на приключенной здѣ грамотѣ запамятствованнїи су(т), или вице-архидїаконъ преступны(х) быти иначе знаетъ, нынѣ еще кождаго особно, и тайно на сер(д)це и на совѣсть ихъ да напомянетъ; аще же и по сему поправленїя не будетъ, мнѣ достовѣрно да опишетъ; знакомѣтѣ же.

в̃(2) За еже многы(х) майболшая погибель походи(т) о(т) пянства, сїи конечны(м) моимъ повелѣнїе(м) да напомянутся: яко аще оуже и грозная ап(ос)т(о)ла оная словеса и(х) не издерзаютъ: же пяницы ц(а)рствїя божїя не наслѣдятъ; поне о свои(х) чадѣхъ сожалующе да опамятаются, же по словесѣ господнемъ въ чадѣхъ свои(х) познаваемый мужъ, сирѣчъ: якїй от(те)цъ такїй хлопецъ, яка матка, така дѣвка, изъ своимъ пянствомъ щастя чадомъ до будущаго сану явно, и во архивѣ моемъ записанно заграждаютъ; но и иначе прикладную кару оу мене что денү не обыйдутъ, яко и нынѣ суть нѣкоторыи sдѣ во Оунгварѣ на покутѣ о(т)толѣ.

г̃(3). Понеже slоприкла(д)ное сїе пянство и многїя случаи частократно парохо(м) на корчма(х) случаются; сего ради о(т)нынѣ на прочее корчмы парохо(м), якоже дома во свои(х) парохїя(х), тако и индѣ всеконечно запрѣщае(т)ся; въ чесомъ аще // аще коего пароха преступнаго сирѣчъ корчмы посѣщающаго вице-архидїаконъ по сему дознается таковаго нео(т)кла(д)но до себе безъ всякыя выгвары дѣля погрозу зазоветъ; преслушающаго же, или непопра(в)наго мнѣ описати долженъ будетъ.

д̃(4). Поразумѣвше достовѣрно; яко по(д) часъ монастырскы(х) о(т)пусто(в) и самїи далечайшїи парохи, тамо путешествовати, и наро(д) свой прикладомъ своимъ побуждати, еще же въ нѣкїихъ странахъ и съ ризбарскими образами или съ служебными чашами посылати, и безчинно обхождати призвычаили; тѣмже оубо /: развѣ токмо ближайшы(х) парохо(в) на соборѣ ярномъ дѣля помощи д(у)хо(в)ныя назначенны(х) :/ да никтоже парохїю свою по давному оуже оустановленїю моему оставити дерзнетъ, предпомянутая же изъ образами или каколибо с(вя)тотупная обхожденїя кїиждо вице-архидїаконъ въ своемъ соборѣ парохомъ да запрѣтить; аще же кто противо дерзнетъ мнѣ по имени таковаго да извститъ.

ѐ(5). Отнелѣже пособїемъ г(о)сп(о)дны(м) въ многы(х) оуже ц(е)ркваx сребрянныя чашы и драгоцѣнныя ризы обрѣтатися начаху о(т)толѣ нѣкыя ц(е)ркви разбитыя быти частѣйше слышу, на еже того ради парохо(в) о прилѣжнѣйшомъ храненїи с(вя)ты(х) сосудо(в) подъ наложенїемъ тяжкаго о(т)вѣта опоминаю.

ѕ̃(6). Аще оуже и многая суть въ дїецезално(м) моемъ Архивѣ или Писменном Хранилищѣ Оунгварскомъ сицевїи стародавнїи листы, которїи или ц(е)ркvей, или парохїй, или маетносте(й) их дотычутся; однакожъ: идеже бы еще таковымъ писменнымъ древностемъ обрѣтатися, ради безпечнѣйшаго, и достовѣрнѣйшаго сохраненїя, таковая писмена, или самъ парохъ, или чрезъ, вице-архидїякона сѣмо до моего дїецезалнаго Сокровища да преподадетъ.

з̃(7). На оудаленїе всякыя распрѣ между парохами // хами съ в зоромъ на доходы рочныя опредѣляю: рокови парохїалному всегда о(т) перваго дня м(ѣся)ця януарїя начинатися сеже того ради, абы роковину въ свое коли бо время собирающїй мѣстный парох, предварившаго пароха, или администратора, и самаго себе по числу м(ѣся)цей изъ заслуженныя мзды праведно вытокмити повиновался, когдаже паки во яри премѣненїе парохо(в) бываетъ, тогда осѣнное сѣяня предварѣвшаго пароха, ярное же наслѣдника будетъ. Аще же въ лѣтѣ премѣненїе случится, тогда наслѣдникъ ярнаго сѣянїя возвративше, и роботу съ накладомъ изплативше во ояражаи наслѣдитъ. Сѣнокосы обаче всегда тому парохови прислушати имѣютъ, которы(й) на будущую зиму въ парохїи, идеже сѣнокосы суть позостанетъ; токмо наслѣдникъ которы(й) на зиму наслѣдуетъ, пре(д)варѣвшаго пароха за работу сѣнококосо(в) выплатити повѣнуется,

обаче да некто на дво(х) мѣстѣхъ нѣкоею лестїю плоды оужывает въ нечаянны(х) сицевых особитны(х) случае(х) мнѣ извѣстити потребно буде(т). Позоставши(х) же вдовицъ и сиротъ, кромѣ выразнаго моего разположенїя никто же жадны(м) способомъ коснутися дерзнетъ, разпамятающе ся нетокмо на бога, иже естъ заступникъ вдовицъ, и сиротъ но и самъ на себе.

й(8). Съ в зоромъ на столечныя дякы: якоже по давны(х) оустановленїя(х) моихъ, тако и н(ы)нѣ повелѣваю: абы самыи парохи кромѣ вице-архидїяконо(в); сїиже кромѣ моего разположенїя, якоже давны(х) дяковъ не извергали, тако и новы(х) не оуставляли, ними же на свою простую роботу не выслуговалися, имъ должную мзду, якожто знакомитѣ о(т) наемныя лvтургїи по едной дутцѣ, и изъ ц(е)рковны(х) приносовъ третїну достодолжно воздавали; дяки же такожде абы въ своемъ оурядѣ пилнїи, и трезвеннїи въ науцѣ малыхъ дѣтей парохомъ сопомощнїи, и послушнїи были. Прочееже о дяковскы(х) // дяковскы(х), якоже рочны(х), тако и церковныхъ доходкахъ кїйждо вице-архидїако(н) изъ своего собора обычай: что тамо имъ платитися, мнѣ опишетъ.

ѳ(9)тое Кождорочно дважды соборовати сирѣчъ во яри, и во осени повелѣваю, на которыя соборы кїйждо парох приходити повелѣнїя моя воспрїемляти, и въ протоколлы себѣ записати одолжается; будетъ бо время, когда посланнїи от боку моего архидїакони, якоже протоколлы, тако и матрикы и ряхунку ц(е)рковныя, и прочая оузаконенїя моя изпытовати будет. Аще кто о(т) собору обстанетъ, таковаго вице-архидїяконъ къ себѣ писменно зазваннаго, и выслуханнаго когда доволную нужду свою не высвѣдчитъ сѣмо мнѣ его описати имѣетъ.

Обаче :

і(10)тое: На осѣнны(х) соборѣхъ е҃замѣнъ, или испытанїе изъ б(о)гословныя нѣкыя части прежде от вице-архидїакона назначенныя всѣгда быти повелѣвается, который е҃замѣнъ вице-архидїаконъ купно со избраннымъ на сїе соборнымъ б(о)гословомъ чинити, посему же до таблицы рочныя подъ числомъ шестымъ до клѣткы записати повиненъ будетъ.

Изъ которы(х) предоуставленных повелѣнїй моихъ доволно порозумѣти можете возлюбленїи с(ы)нове, же многїи сутъ с(ы)нове погибелнїи, же великое естъ между народомъ н(а)шего набоженства // набоженства развращенїе, же народъ н(а)шего рускаго набоженства, въ нѣкоторы(х) страна(х) едно о(т) вѣры, другое же о(т) своего набоженства оудаляется, или разпустно жыетъ, и тако въ великомъ е(ст) повсюду небезпеченствѣ, найпаче же между чужды(м) помѣшаннымъ народомъ, которымъ всѣмъ развращенїямъ корень и майболшая причина походитъ о(т) с(вя)щеннико(в) злоприкладны(х), недозорливых и негорливы(х). Того оубо ради и паки повелѣваю: внемлите себѣ и стаду в(а)шему д(у)ховному да некако или о(т) вѣры, или о(т) своего набоженства, или о(т) спасителнаго жытїя оудаляется. Которыя повелѣнїя моя съ прочїими не токмо на сердца но и въ протоколлы записати кождорочно на соборѣхъ оглашати и сохранно подержати, вице-ар(хи)дїяконо(м) же прилѣжно дозерати, и въ рочныя таблицы записовати приказую. Прочее же при поданномъ архи-јерейскомъ благословенїи зостаю

возлюбленностемъ в(а)шымъ. Жычливый О(те)цъ
Андрей Еп(иско)пъ

Въ Оугварѣ к (20) марта ,аѱ҃s (1796)

II.

Возлюбленнїи С(ы)нове Парохи![44]

Что со взоромъ на воинство оугорскыхъ регементовъ на прешлой дїетѣ оузаконенно естъ? И якъ время сїе его пресвѣтлое кесарево ц(ар)ское величество всемилостиво

[44] Місце збереження: Парохіальний архів с. Ракаца.

полекшати изволяет? во слѣдущихъ пунктѣхъ возлюбленностемъ вашимъ ради самыхъ себе, и иных наставленїя извѣщается.

а̃(1): воиномъ между пѣшаками токмо на десятꙋ роковъ, между конниками же токмо на дванатцятъ роковъ кїиждо одолжается быти, по сему же /: развѣ аще бы кто самохотно далей второстати изволитъ : / свободенъ будет; Обаче со взоромъ на второстатїе вѣдати подобаетъ.

в̃(2) : кто подъ самохотно но исполненїи перваго времене второстанетъ воиномъ принаймнѣе на шестъ роковъ, той на каждый второстатїя рокъ по два нѣмецки златы прїиметъ.

г̃(3) : кто подъ прилогомъ женитвы второстанетꙋ и сїе ему позволится, обаче по разсужденїю властителей его.

д̃(4) : второстающихъ воиновъ дѣти тую ласку одержатъ, же до обители воемской фундацїи предварително прїймутся; Первостающихъ бо дѣти сїе не получаютъ, развѣ аще бы о(т)цу ихъ случилося во брани оумрети, или окалѣчати.

є̃(5): но и столечнїи властителїе второставшихъ воиновъ по приходѣ ихъ на ремесла или во иншыхъ способѣхъ на выживленїе спомагати повинуются.

ѕ̃(6) : Котрїи второставшїи окалѣчали, тїи или до приличной себе службы предварително, или до воемскыхъ шпыталей прїятїся имѣютъ, или по едной дутцѣ платню имѣти будутъ. //

з̃(7) : Аще же кто третїй разъ самохотно воиномъ станетъ, той по возвращенїи порцїю о(т) главы платити не будетъ.

и̃(8): Якоже новоставшему, тако и второставшему воину, аще домашняя нужда возвращенїе его пожадати будетъ, сїе, и прежде исполненнаго времене, изволится ему, со намѣщенїемъ другаго во мѣсто себе.

ѳ̃(9): Абы маетность ставшыхъ воиновъ не погибла державное панство досмотрѣти одолжается, во недосмотрѣнїи же сихъ громадскїи присяжници столечному панству подъ тяжкимъ иначе о(т)вѣтомъ, извѣстити повинуются.

і̃(10) : Аще бы кто под часъ воиностатїя оузумѣкалꙋ или искылся, таковый по возвращенїи емленый повыше опредѣленныхъ роковъ дѣля кары еще за шестъ роковъ воиномъ быти долженъ будетъ.

Высочайшое оубо сїе кесарево-ц(а)р(с)кое повеленїе еже, абїе по возпрїятїи в(ице) а(рхи) дїакон парохомъ да извѣститъ, кїйждо парохъ во своихъ матерныхъ, и филїалныхъ ц(е)рквахъ не токмо разъ, но и частократно предъ народом огласити, и юношество до воинства оуслаждати одолжается, по чесому вопреки да не дерзнетъ жаденъ парохъ, или дякъ, подъ часъ воиностатїя никого же о(т) чужыхъ возбранати, или потаемно оу себе покрывати. Прочее же при поданномъ архиjере(й)скомъ благословенїи зостаю.

Возлюбленностемъ вашымъ

Жичливый о(те)цъ

Андрей еп(иско)пъ

Въ Оунгварѣ ѳ̃(9) марта ⁄а҃ѳ҃г (1803)

III.

Андрей Бачинскїй Мил(ос)тїю Б(о)жїею Еп(иско)пъ Мукачовскїй.[45]
С(вя)тыхъ Ап(ос)т(о)лъ Петра, и Павла о(т) Таполцы всегдашный
Аvva и Его Кесарево-Царскаго Ап(ос)толскаго Величества
Тайный Дѣйствителный Совѣтникъ, и прочая

Возлюбленнымъ о Х(рис)тѣ С(ы)номъ, Чина С(вя)таго
Василїя Вел(икаго) въ Дїецесїи Н(а)шей Мукачовской сущимъ Инокомъ
миръ и Н(а)ше Архїерейское Бл(а)гословенїе!

Понеже свѣдомо естъ, яко преднаслѣдници вашы, Чина С(вя)т(аго) Василїя Вел(икаго) иноци о(т) начала своего во дїецесїю сїю Мукачовску воведенїя, даже до новѣйшаго сего времене воздержанїе о(т) мясояденїя, аки особливый закона своего, характиръ, всегда сохраняли, вопреки же нѣцїи о(т) васъ сими послѣдными роками мясо ясти, не токмо во тайнѣ, но и явѣ дерзостъ себѣ прїяли, и сїя дерзостъ тако разшыряти, и оукореняти ся почала, же изъ собора вашего, дня ѕ(5) јулїя рока мимошедшаго ѧψчѝ (1798) въ монастыри Красно-Бродской бывшаго, аки именемъ общимъ просба писменнѣ намъ для оуволенїя на яденїе мясъ поданна была.

Въ таковыхъ оубо околичностехъ, намъ естъ вещъ чудна sѣло, якъ велика сїя несмысленностъ быти маетъ, егда монахъ, который законъ внемже всегдашнее о(т) мясояденїя воздержанїе выразно заключается воспрїялъ, и на сїе обѣтомъ народнымъ об(в)язался, н(ы)нѣ самъ о себѣ не памятающїи, мясо пожадаетъ, или паче того касатися дерзаетъ. Что бо сїе иное естъ, нежели положити руку на рало, и воззирати вспятꙋ. Что иное, нежели первыя вѣры б(о)гу данныя о(т)врещися? Что иное, нежели забыти о своей повинности и похоти житейскїя о(т) // о(т) нихже монахъ о(т)реклся естъ, вожделѣти?

Того ради оубо мы взырающе въ первыхъ на обычаи, которыи въ сей Дїецесїи Нашей благоговѣнѣшїи преднаслѣдници вашы, аки отеческаго своего преданїя вѣрнїи подражателїе нео(т)мѣнно содержали, к тому предъ очима имуще, спасителное намѣренїе ктиторовъ, и бл(а)годѣтелей вашыхъ, которїи васъ фундовали далѣе внимающе общее оустановленїе, которое законници Чина С(вя)т(аго) Василия между греческимъ, россїйскимъ, сербскимъ народомъ и по всей восточной ц(е)ркви крѣпко сохраняютъ найпачеже взырающе на особливый единого кождаго о(т) васъ народно положенный обѣтъ, за архи-пастырскую повинностъ нашу быти внимаетъ таковый обще и всюды доселѣ сохранимый законъ, не разоряти, но соблюдати, а выразно едного кождаго о тяжкой повинности своей напомянути и къ тоеяжде исполненїю приводити, аки б(о)гу о(т)вѣтъ воздати имуще.

Тѣмже: не токмо оных, которїи несмысленною похотїю влечимы мясо ясти дерзнули, аки обѣта своего преступниковъ оукаряемъ, не токмо предложенную намъ просбу о(т)вергше на мясояденїе не оуволяемъ, но и писанїя сего крѣпостїю давное и постоянное о воздержанїи о(т) мясъ оузаконенїе потвердивше сурово запрѣщаемъ, абы, по извѣстїи сего запрѣтителнаго разположенїя нашего, ни единъ о(т) васъ мясо ясти не дерзнулъ; кромѣ болных въ тяжкомъ недузѣ сущихъ; но и сїе всегда съ выразнымъ врача совѣтомъ, и власнаго ігумена соизволенїемъ: или кромѣ тыхъ, которїи албо во оучилищахъ, албо для помощи пароховъ на должайший часъ внѣ монастыря высланны будутъ; но и сїе съ выразнымъ всегда нашимъ оуволенїемъ.
Иначеже: кто колвекъ мясо ясти дерзнетъ, про единъ преступокъ на цѣлый рокъ въ затворъ положенный а тамо воспитанный будетъ хлѣбомъ печалнымъ и водою слезною.

Слѣдователнѣ // слѣдователнѣ оубо къ извѣстїю сему вашу въ первыхъ о(т)цеве ігумены ! совѣстъ отягощаемъ. Внемлите себѣ, и стаду наставленїю вашему врученному добрымъ прикладомъ предидуще, и едного кождого, привременнѣ, безвременнѣ о

[45] Архів ордена Василіан. Матеріали 1700-1800-их рр.

воздержанїи семъ напоминающе, абы при постоянномъ оузаконныхъ правилъ соблюденїи, всякая соблазнꙋ о(т)верненна была.

Вси же купно, возлюбленнїи о Х(ри)стѣ с(ы)нове!
Подражайте стопамъ наставниковъ вашыхъ, подвигомъ добрымъ подвизайтеся, не дадите нам вину, еже съ жестокими способы исполненїе обѣта о(т) васъ взыскати, но воспрїятое иго, еже послѣдовати Х(рис)ту, съ радостїю несѣте, Аще же что и тяжкое видитсѧ воспоминайте, яко ц(а)рствїе б(о)жїе нудится, и нужници восхищаютъ е(го).
Краткая естъ жизн краткое терпѣнїе, но сїе тяготу вѣчныя славы содѣловаетъ.

Анднрей Еп(иско)пъ
Данꙋ въ еп(ис)к(о)п(с)кой ресиденцїи н(а)шей оунгварской дня л̄(30)
јулїя ѧаѱчѳ̄ (1799).

András Bacsinszky (1732-1772-1809), a Prominent Representative of the Rusyn Enlightenment

Summary

The essay briefly presents the life and work of András Bacsinszky, Greek Catholic Diocesan Bishop of Munkács, with special attention to his significance in the history of Rusyn culture. The author deals with the circulars issued by the bishop in detail. In terms and content and subject matter, most of the circulars fall into two categories:

1. The first group contains the circulars that deal with the ordinances and circulars issued by the secular authorities, especially the Council of the Governor General and the Hungarian Chancellery, interpreting and concretizing these documents for the lower clergy.
2. The second group contains circulars on religious issues.

The principles and ideas of enlightenment were relayed to the lower clergy through Bacsinszky's circulars attached to the imperial and royal decrees. András Bacsinszky believed that the key to the better future of his Rusyn people was in catechism and education in their native language. It is possible to identify a complete program in his circulars. The fundamentals of his program are: clergy, language, people, church, children and youth. Bacsinszky's endeavours also illustrate the assumption that enlightnment sooner or later acquires a national character through its own dialectics.

The essay conlcudes with the complete reproduction of a selection of Bacsinszky's circulars.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS

SLAVICA XXX, 223-236 2000 DEBRECEN

Some Remarks on Mychajlo Rosvyhuvs'kyj and His Works

(About Rus' Literature in the Carpathian Area and the so-called "national" affiliation)

L. CALVI

In a period in which Europe is trying to acquire a new identity, the rebirth of old and new nationalities, together with their will to build new States based upon an ethno-linguistic principle, indicates how topical the national problem is, an issue left unsolved after Vienna 1815 and after the two World Wars; in this perspective, a new, deeper reading of history and of ancient documents will be needed. Eastern, or Central-Eastern Europe, a borderland between the Empires of "Latinity" and Rus', is the best case-study for the analysis of such a problem.

The centre of this new Europe is the Carpathian area, a land of conquest of all re-born national identities, where Ukrainians, Romanians, Hungarians and Slovaks are making all possible efforts to show the right to state the national appertainance of a land that, as a matter of fact, finds its own particularity right in its being a borderland of all these and other, minor ethnic groups and of their cultures. The peculiarity of the Carpathian area is, in our opinion, the multiethnicity and multiculturality, in which each minority group can trace its particular identity in its being part of an overnational and transnational system that overwhelmes the typical "national" cultural definitions, a system – we can call it macroregion, or, if preferred, Euroregion, in which each own particularity is warranted by the coexistence in a multiethnical and multicultural border.

A starting point for such an analysis, fruitful for any historical and political analysis of future development made by specialists who are free from monodirectional nationalistic blindness, can be the study of Hungarian, Romanian and Ukrainian relationships - using contemporary geopolitical and cultural terms - in the south-western Carpathian area.

The land is nowadays known as Transcarpathian *Rus'*, or simply Transcarpathia (*Zakarpattja*) is the appendix of *Rus'* world that, together with the lands of today's Romania, lies in the westernmost territories of this cultural, spiritual, religious and political Empire. In these lands, nowadays a borderland of Ukraine, Romania, Hungary and Slovakia, among the Eastern Slavic inhabitants there is now a growing sense of cultural and political consciousness as a particular whole, different from all the neighbouring Slavs, even the Ukrainians, whose regional group they have been up to now considered[1].

This land, however, is inhabited not only by Eastern and Western Slavs, but also by Hungarians, Romanians, Slovaks, Jews and other minorities, such as Caraims and Roma. Dealing with this land, we shall use the term Hungarian (*Uhors'ka*) *Rus'*, and, referring to the Eastern Slavic inhabitants, we shall use their historical name, *rusnaks*, or simply *rusyns*, but with no reference to the currently well-known discussion about Ukrainians, Rusyns, and Rusyn-Ukrainians and their respective languages and cultures[2]: the identification as

---

[1] About these lands, from an historical point of view, see: I. Udvari, *A ruszinok XVIII. századi historiográfiája*. Szabolcs-Szatmári szemle 1991. 2, 143-157; eiusdem, *Ruszinok a XVIII. Században*. Nyíregyháza 1992; eiusdem, *Rusyns in Hungary and the Hungarian Kingdom*. In: P. R. Magocsi (ed.), *The Persistence of Regional Cultures. Rusyns and Ukrainians in Their Carpathian Homeland and Abroad*. New York, 1993, 105-138.

[2] About the Carpatho-Rusyn question see my opinions in: L. Calvi, *Di alcune costanti della storia ucraina*. In: *Che cos'è l'Ucraina - Що таке Україна*. a c. e con postfazione di G. Giraudo, Abano Terme 1996, 27-53; eiusdem, *Minoranze ucraine in Ucraina, ovvero i minori dei minori (note sulla* Rus' *Subcarpatica e sulla balcanizzazione dell'Europa Orientale)*. Letterature di Frontiera I. (1994), 189-205; eiusdem, *Di Lemky ed altri Rusyny: Euregio carpatica o nuova Padania dell'Europa Orientale?* In: *Polonia, Italia e culture slave: aspetti comparati tra storia e contemporaneità*. A c. di L. Marinelli, M. Piacentini, K. Żaboklicki, Warszawa-Roma, 1997, 292-316; eiusdem, *Nuovo passato e vecchio presente nell'Ucraina Carpatica*. Slavia VI, 1 (1997), 199-208; eiusdem, *Nasce una nuova lingua slava?* Ricerche Slavistiche XLIV (1997), 407-414.; eiusdem, *Il problema dell'identità etno-culturale tra le minoranze slave dell'Europa centro-orientale: note sparse per un approccio alla periodizzazione*. In: *Le letterature dei Paesi slavi: storia e problemi di periodizzazione*. a c. di G. Brogi Bercoff, Milano, 1999, 133-164; eiusdem, *Від незалежности до мікронаціоналізмів: довкола Бєларусі й України*. Айно 2-5 (1998), 47-49; eiusdem, *Regionalismi, micronazionalismi ed identità di frontiera attorno a Belarus', Polonia ed Ucraina*. In: *Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність*. In: *Προσφώνημα, Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю Академіка Ярослава Ісаєвича*. Leopoli 1998, 271-280. About the question of the language among the Rusyns, see К. Стрипскій, *Языкъ литературной традиціи Подкарпатской Руси*, Карпатскій Свѣтъ III (1930), 9-10, 1083-1094; I. Панькевич, *Языковый вопрос в Подкарпатской Руси*. Подкарпатска Русь XII (1936), 139-160; S. Bonkáló, *A ruszin irodalmi nyelv*. Зоря-Hajnal 1941, 54-72; А.Д. Дуличенко, *Славянские*

"national" minorities as well as the sense of belonging to an ethnonational group identifying itself on linguistic bases is a feature that can be observed in Eastern Europe only after Vienna 1815 and, in the Carpathian area, only after 1848[3]. Before these dates, the identity was shaped not on national basis, but merely on the basis of religious and political appartainance, and, in the Eastern world, religion and politics, or, rather, religion and power, have always been just two aspects of the same phaenomenon.

In this sense, more than about Eastern and/or Western Slavs, up to the end of XVIII century we shall discuss about *Slavia Orthodoxa* and *Slavia Romana*, avoiding to forget that to this *Slavia Orthodoxa* belonged also non-Slavic elements, whose proveniance was perhaps Hungarian or Romanian; their acceptance of Orthodoxy led them to become orthodox and belonging to *Rus'* world as well as the people that we call nowadays Ukrainians and Rusyns.

Belonging to the *Rus'* world meant to acknowledge Orthodoxy and its representative on earth, the *Car'* of contemporary Russia, as well as the culture produced in those territories, which was an expression of the old orthodox, Eastern tradition. We can say that in contemporary Russia and Ukraine we can observe before the XVIIIth century a division: Moscow had preserved the political tradition, while Kyjiv and contemporary Ukrainian lands were the filter where Western European, Eastern European, ancient elements (including Greek, Hebrew and even Turkish-Persian-Arabic cultural patterns), were collected and reelaborated according to *Rus'* own cultural particularity[4].

This culture is nowadays acknowledged, sometimes anachronistically, as pure Ukrainian, or, alas, Ruthenian, an ethnonym-adjective whose use we do not suggest, in order to avoid problems and misunderstandings. For our analysis we prefer the term "South-Western *Rus'* culture", because its influence, even if Ukrainian features are overwhelming, had a much broader effect on all the lands in which *Rus'* culture developed.

In order to understand the ideological and political *milieu* in which Mychajlo Rosvyhuvs'kyj wrote his works, we must take into account two factors, strictly connected with the above statements:

During the XVII and the beginning of the XVIII centuries, we can witness the flourishing of arts and culture in today's Ukraine (including *Zakarpattja*)[5].

литературные микроязыки. (Вопросы формирования и развития). Таллинн 1981; P. R. Magocsi, *The Language Question among the Subcarpathian Rusyns.* Fairview, N.J., 1987.

3 On the topic see: P.R. Magocsi, *The Shaping of a National Identity: Subcarpathian Rus' 1848-1948.* Toronto-Buffalo, 1978.

4 For a good analysis of the above statement see. I. Ševčenko, *Między Wschodem a Zachodem.* Warszawa, 1997.

5 About the development of literature in Transcarpathia, see: Е. Сабовъ, *Христоматія церковно-славянскихъ и угрорусскихъ литературныхъ*

Here the confrontation between local Eastern and Western traditions led to the emergency of a new culture, which preserved all the features of its Eastern origins, using and reelaborating most Western achievements of the time. A particularly developed literary-historical genre was the *polemistyka*, the best representatives of which in the world of *Rus'* had been, until the XVIII century, mostly Ukrainians, such as I. Vyšens'kyj, Z. Kopystens'kyj and I. Haljatovs'kyj, whose aim was to preserve the purity of Orthodoxy against the latinization process that followed the Union of Brest[6].

The Union of Brest (1596-97), which arrived in Transcarpathia only 50 years later and less effectively (Užhorod 1648)[7], gave new force to political and

---

памятниковъ. Унгваръ 1893; І. Франко, *Карпаторуське письменство XVII-XVIII вв.* In: *Твори в двацяти томах.* XVI, Київ, 1900; Г. Стрипський, *З старшої письменности Угорської Руси.* Записки Наукового Товариства ім. Шевченко CXVII-CXVIII (1914), 182-194; О. Рахівський, *Виімки из угорсько-руського письменства. XVI-XVII вв.* Будапешт, 1919; В. Бирчак, *Литературнѣ стремлѣния Подкарпатскоѣ Руси,* Ужгород, 1921; М. Возняк, *Історія української літератури.* III. Львів, 1924; Е. Недзѣльскій, *Очеркъ карпаторусской литературы.* Ужгородъ, 1929; В. А. Францев, *Из истории письменности Подкарпатской Руси XVIII-XIX ст.* In: *Карпатский Свѣтъ.* Ужгород, 1929, 584-591; S. Bonkáló, *A kárpátaljai rutén irodalom és muvelődés.* Pécs 1937; J. P. Hanulya, *Rusin Literature.* Cleveland, Ohio, 1941; Н. Лелекачъ-М. Грига, *Выборъ изъ старого руського письменства Подкарпатя.* Унгваръ 1944; Г. Стрипський, *Выборъ изъ старого руського письменства Подкарпатя.* Литературна Недѣля IV (1944), 17, 199-201; Е. Балецький, О. В. Мишанич, *Література Закарпаття XVII-XVIII століть.Історико-літературний нарис.* Київ, 1964; В. Микитась, *Літературний процес на Закарпатті доби феодалізму.* Конспект лекцій. Ужгород, 1966; L. Dezső, *A kárpátaljai népi irodalom.* Filológiai Közlöny XII (1966), 146-157; Л. Дежьо, *Закарпатська література XVI-XVII віків та шляхи її дальшого розвитку.* In: *Жовтень і українська культура.* Пряшів 1968, 74-83; В. Микитась, *Давня література Закарпаття.* Львів, 1968; О. Мишанич, *На Верховині. Збірник творів письменників дорадянського Закарпаття.* Ужгород, 1984.

6 See: Ю. А. Яворский, *Значеніе и мѣсто Закарпатья въ обшей схемѣ русской письменности.* Прага, 1930; С. М. Лелекач, *Культурні зв'язки Закарпаття з Україною і Росією в XVII-XVIII ст.* Наукові Записки Ужгородського Державного Університету 9 (1954), 141-165; Ф. М. Потушняк, *Пам'ятки українського письменства XVII-XVIII ст. писані на Закарпатті.* Доповіді і повідомлення Ужгородського Державного Університету, с. Філологічна II (1958), 124-126; Н. Мольнар, *Зустрічі братніх культур.* Братіслава 1965; Ч. В. Анічэнка, *Кніжнацеркоўнаславянскія традыцыі на украінскай і беларускай перекладной пісьменнасці XVIXVII ст.* Slavia XXXIII (1966), 65-72; І. Білодід, *Києво-Могилянська Академія в історії східнослов'янських літературних мов.* Київ, 1979.

7 About the history of the Union in Subcarpathia see: B. Boysak, *The Fate of the Holy Union in Carpatho-Ukraine.* Toronto-New York, 1963; M. Lacko S. J., *Unio Užhorodensis Ruthenorum Carpaticorum cum Ecclesia Catholica.* Roma, 1965; A. B.

cultural debates and polemics against Western – i.e. Latin, through Polish intermediation – influences and intrusions in the life of orthodox Slavs[8].

The Union in Transcarpathia had no easy life for a long time: it is clear that the Rusnaks were used by Hungarian sovereigns only as a counterbalance to the growing power of Protestantism in Transylvania; after a period of development, the Rusnaks encountered once more the reaction of Hungarian religious *élites*, whose only goal was to solve the problems with Rákóczi and the Ottomans, in the perspective of a definite latinization and magyarization of the orthodox Slavs of Eastern lands of the *Regnum Hungariae*. Trying to find a shelter from Latinization on one hand and wishing to get back to Orthodoxy on the other, the Union could begin its real existence only in the middle of the XVIII century, with Maria Theresia and her "enlightened monarchy".

Mychajlo Rosvyhuvs'kyj – the name Andrella has been applied with no clear explanation by certain scholars[9] – was the most outstanding polemist of *Uhors'ka Rus'* against the Union and anything that was not Orthodoxy in the late second half of the XVII century. We have no certain dates about his life, but, from the reconstruction of the autobiographical remarks in his own works, we can date his life between about 1640 and, 1710, the year in which we have sure news of his death[10].

Пекар, ЧСВВ, *Нариси історії Церкви Закарпаття* I. Рим, 1967; О. Баран, *Церква на Закарпатті.* Богословія 32 (1968), 77-145; M. Lacko S.J., *The Union of Užhorod.* Cleveland-Rome, 1976.

[8] About the interaction between Orthodox and Catholic faiths, with regards to the oldest origins of these lands, see: A. Hodinka, *A munkácsi görög-katholikus püspökség története.* Budapest, 1909; G. Grigássy, *A magyar görög katholikusok legújabb története.* Ungvár, 1913; A. Hodinka, *Rákóczi Ferenc és a Gens Fidelissima.* Pécs, 1937; V. Bélay, *Máramoros megye társadalma és nemzetiségei.* Budapest, 1943; I. Pirigyi, *A görögkatolikus magyarság története.* Nyíregyháza, 1982; L. Sasvári, *Ortodoxok és görögkatolikusok együttélése Észak-Magyarországon a 18-19 században.* Interetnikus 1984, 147-158; A. Sorokowski, *Ukrainian Catholic and Orthodox in Poland and Czechoslovakia.* Cambridge, Mass., 1988.

[9] On the question of the name see. I. Панькевич, *Михаил Оросвигувскій чи Михаил Феодул?* Науковий збôрник Товариства "Просвѣта" в Ужгородѣ IV (1925), 5-16.

[10] About life and works of M. Rosvyhuvs'kyj see: А. Гончфренко, *Пламенный борец против Ватикана и Унии.* In: *В сім'ї єдиній.* Ужгород, 1954, 213-218; В. Мельник, *Видатний закарпатський полеміст XVII ст.* Жовтень 5 (1957), 129-135; В. Микитась, *Видатний письменник-полеміст.* Література в школі 3 (1957), 86-91; Г. М. Удовиченко, *Про стиль полемічних творів Михайла Андрелли.* Доповіді та повідомлення Ужгородського Державного Університету, с. історико-філологічна, I (1957), 74-76; В. Микитась, *Видатний письменник-полеміст.* Матеріали до вивчення історії української літератури I, Київ, 1959, 338-344; В. Микитась, *Український письменник-полеміст Михайло Оросвиговський-Андрелла.* Ужгород, 1960; Григорій,

As a uniate priest – like most of the uniate clergy – he studied in Trnava, Bratislava and Vienna[11], however later he started to to oppose the Union and all the benefits deriving from it in order to return to Orthodoxy. This "betrayal" led to his persecution both by Catholic and Unite hierarchy, attacks that have been clearly described in his works. For the rest of his life he was compelled to wander in the county of Máramoros, where the simultaneous presence of Calvinists and Orthodox Romanians, Hungarians and Rusnaks could provide him a certain degree of quiet living.

Of Mychajlo Rosvyhuvs'kyj's heritage only two works remained: the *Logos* and the *Obrona věrnomu každomu clvěku*. The old and hardly available edition, however, is quite unreliable, due to the systematic application of the norms of Russian *graždanskij šrift* and to the adjustment of what Petrov saw only as a mistake and not as a peculiarity in Rosvyhuvs'kyj's language[12]. Other scholars

---

Архієпископ Мукачівський і Ужгородський, *Іерей Михаїл Оросвиговський оборонець православ'я на Закарпатті*. Православний Вісник 5 (1965), 157-159; М. Грицай, В. Микитась, Ф. Шолом, *Михайло Андрелла*. In: *Давня українська література*. Київ, 1978, 216-222; Д. Данилюк, *Історія Закарпаття в біографіях і в портретах*. Ужгород, 1997, 36-41; eiusdem, *Історична наука на Закарпатті*, Ужгород, 1999, 47/49; L. Calvi, *Lingue e Culture di confine nell'opera di Mychajlo Orosvyhovs'kyj-Andrella*. In: *Plurilinguismo letterario in Ucraina, Polonia e Russia tra XVI e XVIII secolo*, a c. di M. Ciccarini e K. Żaboklicki, Varsavia-Roma, 1999, 44-63; *The Polemical Works of Mychajlo Rosvyhuvs'kyj-Andrella between Contemporary Ukraine, Slovakia, Hungary and Romania: the Multiple Faces of Rus'*. In: *Relaţii româno-ucrainiene, istorie şi contemporaneitate*. Satu Mare 1999, 489-499.

11 About education among the clergy in Subcarpathia see: А. Годинка, *Грамотность и ученность нашихъ священниковъ до епископа А. Бачинского*. In: *Земледѣлскій календарь за высокосный годъ 1936*. Ужгород, 1936, 119-123. As far as the development of printed books is concerned, see И. Кондратович, *Стремлѣня за руску печатию на Подкарпатской Руси и памятники старопечатных церковных книг*. Подкарпатська Русь I (1924), 97-10; Г. Стрипський, *Початки друкарства на Подкарпатю*. Зоря-Hajnal 1942, 3-4, 261-298; В. Микитась, *Давні книги Закарпатського краєзнавчого музею. Опис і каталог*. Львів, 1964; P. Király, *Die slawischen Mundarten in Ungarn und die ungarländischen Druckwerke in slawischen Sprachen*. Studia Slavica XIX 1-4 (1973), 148-164.

12 M. Rosvyhuvs'kyj's works have been edited in: А. Петровъ, *Памятники церковно-религіозной жизни Угроруссовъ XVI-XVII вв. I. Поученія на евангеліе по Няговскому списку 1758 г. II. Іерея Михаила "Оборона вѣрному чл҃вeку". Тексты*. Матеріалы для исторіи Угорской (Закарпатской) Руси VII (1914); eiusdem, *Оборона вѣрному члвеку. Логос. Духовно-полемическое сочинение иерея Михаила Оросвиговского-Андреллы против католичества и уніи*. Матеріалы для исторіи Угорской (Закарпатской) Руси IX (1932). Anyhow, this editions are somehow been subject to the typical normalisation of the

have already written about the possible existence of other works of the Transcarpathian *pop*, but up to now no other manuscript has been found and the existing manuscripts show clear traces of the damage done by weather and time[13].

Going back to his works, we can approximately date them between 1699 and 1702, when, as far as we can suppose, Mychajlo Rosvyhuvs'kyj was trying to collect all his own sermons in a book or more, in order to give some continuity and organicity to what is no more than a melting-pot, reminding Joyce, of thoughts, apologues, questions and answers, imaginary debates with perhaps existing *sobesedniki*.

The *fil rouge* of his works, and this is typical of his contemporaries, is the frightening activity of the Vatican and the fallacy of its doctrine. To this matter are devoted both the *Logos* and the *Obrona*, the first one consisting of an introduction and five *slovesa*, i.e. sermons, and the second one containing an address, two introductions, thirteen *besedy* and a *poučenie*.

We cannot find particular dogmatical and doctrinal treaties in his works: his attacks are directed rather to the activity of the Catholic Church, even though sometimes we can find some attempts to touch on the typical liturgical questions of the time, such as the *filioque* or the calendary.

Mychajlo Rosvyhuvs'kyj was a typical son of a borderland in which Catholic, Uniate, Orthodox, Protestant and Islamic cultures were very close to each other, and the Transcarpathian polemist shows a good knowledge of his neighbours and their cultures. However, we shall point out that in no way his knowledge of different cultures brings him to a corruption of the typical *Rus'* inspiration of his works: Andrella, as well as all the other Ukrainian writers, was interested only in the "technology" offered by other cultures and never in their ideology.

In this sense, the Transcarpathian author shows often his pride for knowing the languages of the enemy, while the other side cannot, as a rule, understand him, which brings him to sarcastic attacks:

> "Они, римлянове, не могут мое прочитати письмо, могу я, δοζα θεω, слава Богу, и римское, угорское, греческое, еше и польского троха, мало" (Оброна, 131)[14]

The object of his attacks, as already stated, are the Roman Catholic Church and the so-called Latinity, born from a dog, as per this little *calembour*:

---

time, even if A. Petrov used to give in the footnotes rich pieces of news about the original manuscript.

[13] See, for instance, M. Lacko, *op. cit.*

[14] To quote parts of the works we used the edition of Petrov, 1932 (see note 11). All the numers refers to the page of this edition and not to the manuscript (the correspondence is anyhow clear in Petrov's edition).

"Латина откуду почала ся? Отъ латька, выжьла (sic!)" (Оброна, 229)

The attack on Latinity is not directed against a particular ethnic unity, as we could understand it in modern terms: the juxtaposition is between the peoples of *Rus'* and *rus'ka vira* and the ones who accepted the words of the Pope. In this sense, the synonyms *latynnyky* and *papežnyky* could mean any object of Roman Catholic provenience, including Germans and even the representatives of Latinity who afterwards betrayed the same Pope:

"Цезар нѣмецкій, кроль полский, иншіи монархи, великіи панове, все сут папежници ...." (Лоґос, 38)

"требно знати, же Лютеръ Мартонъ и Кальвинъ Яношъ папѣштаки были, обае отъ нихъ ся отлучиша" (Оброна, 99)

Mychajlo Rosvyhuvs'kyj, accused of betraying real faith, rises against all the Latinity. A typical feature of contemporary polemistic works was the defense of *staraja vera*, old faith[15]. Latinity is accused of having betrayed the real principles, *načala*, whose provenance is not to be found either in Rome or in Constantinople:

"Начатокъ, востокъ от Рима ли?" (Оброна, 246)

The origin of faith is to be found in the East and not in the West, but, what is very interesting for the present research, is that we can trace in Rosvyhuvs'kyj's works a typical Ukrainian feature, although frequently neglected: there is no mention of Costantinople-Byzantium, since the origin of Eastern Churches can be traced only in Jerusalem[16], the capital of all religions and tradition, i.e. also of

---

[15] About the dispute between the followers of *Staraja Vera* and the followers of Union see: А. Петровъ, *Старая вѣра и унія въ XVII-XVIII вв.. Документы.* Матеріалы для исторіи Угорской (Закарпатской) Руси I (1905); eiusdem, *Старая вѣра и унія въ XVII-XVIII вв. Пояснительная записка.* Матеріалы для исторіи Угорской (Закарпатской) Руси II (1906); eiusdem, *Памятники угрорусской письменности.* Матеріалы для исторіи Угорской (Закарпатской) Руси IV (1906); eiusdem, *Отзвукъ реформаціи въ русскомъ Закарпатьи XVI в. Няговскіе поученія на евангеліе.* Матеріалы для исторіи Угорской (Закарпатской) Руси VIII (1923); interesting can be also И. Г. Коломиец, *Очерки по истории Закарпатья. Социально-экономическое положение и борьба крестьянства Закарпатья против феодального гнета и католического порабощения в XV-XVIII веках.* Труды Томского государственного Университета им. В. В. Куйбышева, с. историческая 121, 2 (1953), 39-164.

[16] About the juxtaposition Jerusalem - Rome see: L. Calvi, *Jerusalem versus Rome in the works of Mykhajlo Rosvyhuvs'kyj-Andrella.* In: *Jerusalem in Slavic Culture.* Jews and Slavs 6, ed. by W. Moskovich, O. Luthar, S. Schwarzband, Jerusalem-Ljubljana, 1999, 251-262.

the particular Eastern Slav Orthodox pattern called *starovyna-starina*. For this reason he asks the uniate clergy:

> "Како вы вѣсте или знаете, унѣята азъ пытаю, звѣдую, котрая вѣра першая, ци Іерусалимская, цили вашыхъ теразнѣйшыхъ римлянъ, ци ачей першіи унѣты отъ заходного ихъ костела?" (Оброна, 161)

The real faith is eastern, evangelic, and *katholika*, an adjective that he correctly understands to be different from "catholic":

> " ... бо евангельская вѣра моя, а не католицка, но каѳолитскаа. Знаю азъ каѳоликомъ быти, а не католикомъ, геретикомъ, ego» (Оброна, 174)

So, the real mother can be traced only in Jerusalem and not in Rome, but not in Constantinople either. This, as stated above, is a typical pattern of Ukrainian culture of XVII century: at that time the hierarchy of Orthodox Church was institutionally becoming Russian. Kiev could not suffer the loss of the unique primacy that remained after the rise of the Muscovite power, i.e. the right to be considered the legitime heir of the Byzantine tradition in the lands of *Rus'*. For this reason, some orthodox representatives of today's Ukrainian lands obtained an acknowledgment by the Patriarch of Jerusalem, and it is on this principle that will be based the new ideological frame of the future Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, which should be, in the opinion of its representatives, the real expression of Ukrainity[17].

We would not argue that Andrella could have had such a consciousness: it is however evident that the direct influence of Ukrainian polemical works of the time made Mychajlo Rosvyhuvs'kyj elaborate a particular religious-ideological frame that advocated a return to Jerusalem's old faith, which is reminiscent of the works of I. Vyšens'kyj and even of Avvakum.

For this reason, Mychajlo Rosvyhuvs'kyj declares his own Profession of faith, something between a promise and a declaration of intents:

> "При ней [восточной вѣрѣ] умру я, яко першіи святыи, котрыхъ и до днесь святая вѣра чтитъ ихъ. Ертеди сіе, ци разумѣешь ты по руски або по рацку, сербьски? Розумѣю я тое, же сутъ святыи мнози живыи, але не римскіи; то грецкіи, то тойжде вѣре паки сут

---

[17] On the development of the Ukrainian Authocephalous Orthodox Church (UAPC) see: Н. Полонська-Василенко, *Історичні підвалини УАПЦ*. Мюнхен 1963; see also Дж. Джираудо, *Второй Иерусалим против Третьего Рима (к постановке вопроса)*. In: *Jerusalem in Slavic Culture*. Jews and Slavs 6, ed. by W. Moskovich, O. Luthar, S. Schwarzband, Jerusalem-Ljubljana, 1999, 263-269.

болгарскіи, рускіи, а все то быша едной святой старой вѣри, а не римской злой новой" (Оброна, 121)

Thus, he appeals to the courage and consciousness all the peoples belonging to the real faith:

"Ґреки, Сербы, Руснаки и вы, Волохове, и вся христіянская вѣ ро святая, знайте о томъ, же Бога нашего единъ св. слуга болше можетъ отъ вшиткихъ Нѣмцувъ и отъ всѣхъ чорныхъ, бѣлыхъ, шарыхъ розныхъ шатанскихъ купилишъ, оружіе дръжашихъ, вѣру, глаголю, святую, отъ св. Іерусалиму разъ посѣяную въ сердцахъ нашихъ" (Оброна, 106)

It is interesting to point out that Mychajlo Rosvyhuvs'kyj did not bear in mind, as already stated above, one's "national" affiliation, but it was rather one's pertaining to a particular political or religious area that he focussed his attention on, even if he could make an instinctive distinction between different groups . So, what should be looked for is not a juxtaposition in modern "national" terms, but rather in a sense of ethnosacral affiliation in the sense of belonging to a particularity that can exist only as a part of a wider whole. As for his own ethnonym, he calls himself *rusnak* or *rusyn*, sometimes criticizing his own people as follows:

"Велика голова у Русина, мозгу в ней велми мало" (Логос, 17).

He has sarcastic words even for his own colleagues:

"У нашихъ краяхъ попове шалѣютъ отъ вина" (Логос, 22)

Anyhow, it is then clear that for him *rusyn* is only somebody belonging to the Eastern Rite, not necessarily speaking the language, as it can be concluded from the following statement:

"... единый тойжде духъ [...], не рімскихъ оныхъ, ниже лютеръ, ани кальвинъ, точію языкь уґорскій, духъ и душя Русинъ" (Оброна 91)

He considers "others" all the peoples belonging to another faith, and so, in his works, he tries to speak to:

"Рімянінови, татаринови, лютеранінови, калвинови, Турчинови и прочим поганом, яко и унѣятови отступникови"

Mihály-Pap gives us also a detailed list of all the peoples he considers to be pagans, including all the lands that are directly or indirectly connected with the latinity or with its successors, lutheran and calvinists, joining them to the "rest of pagan people":

"Азъ, я [...], той святый единъ листокъ не далъ за всю Праґу, Анґлію, нѣмецкую вѣру, и за Литву, Прусы, Гелвецы, Поляци, Мураву, Тоты, чехи, Сведы, Фландры, Ливоны, Бурґунды, Европы и Индіаны съ прочими поґанами" (Оброна, 142)

On the other hand, he provides us with a complete list of all the people that should rise against the heretics:

"Ґреци, Волошня, Волохове, Русь, козаци, запоротцы, Македоняне, Мултяне, Сербове, Истрове, Іларікове, Молдовяне, Далматове, Босняне, Болґаре, Славеняне, Угровлахове, усѣ столпови и подпору столпъ держитъ, а подпора дерьжитъ такожде тогожъ столъпа царствуюшаго, не точію Петра, московскаго царя, православіе святое наше, иже молитвами святыи подпираютъ, не токмо мужіе, и женскій полъ" (Оброна, 251)

This list shows us all the peoples he considered to be part of the realm of "real faith", i.e. of *Rus'*. It is interesting to point out that in this list we can find modern Greeks, Romanians, Ukrainians, Russians, Macedonians, Bulgarians, Croats, Serbs, Slovenes, and Bosnians as well as Hungarians, all understood as being part of the ethnosacral empire of Rus' whose ruler, *namesnik Boga na zemli*, could be the only legitimate heir of the Imperial insignia, the *car'* of Moscow.

The analysis of the language used by Mychajlo Rosvyhuvs'kyj also represents considerable interest[18]: on a Slavonic base, with more or less evident

[18] About the language of M. Rosvyhuvs'kyj see: L. Dezső, *Oroszvégesi Mihály műveinek nyelvéről*. Filológiai Közlöny IV (1958), 336-346; Л. Дежьо, *О языке украинского полемиста М. Анреллы и закарпатской народной литературы XVII в.* Studia Slavica XXIII (1981), 19-52. See also, about the language of Subcarpathian literary works: Л. Дежьо, *К вопросу о венгерских заимствованиях в закарпатских памятниках XVI-XVII вв.* Studia Slavica IV (1958), 71-96; VII (1961), 139-176; L. Dezső, *A kárpátaljai irodalom kezdetei (Nyagovai Posztilla)*. Filológiai Közlöny IX (1963), 156-161; Л. Дежьо, *О лексике закарпатской украинской литературы XVI-XVII вв.* Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominata Sectio Philologica 6 (1965), 117-135; Л. Дежьо, *Очерки по истории закарпатских говоров*. Budapest, 1967; Л. Дежьо, *О взглядах и стиле автора закарпатской Няговской Постиллы середины XVI-го века*. Slavica 16 (1979), 5-18; L. Dezső, *A XV-XVIII századi kárpátukrán nyelvemlékek magyar jövevényszavai*. Budapest, 1989. See, also, И. И. Фекета, *Язык Углянского сборника "Ключ" закарпатского сборника XVII в.* Sborník národního muzea v Praze XXI (1976), I, 23-54. About the *cerkovnoslavjanskij jazyk* in Subcarpathia see: Э. Балецкий, *Церковнославянский язык и славянские диалекты (на основании карпатских украинских диалектов)*. Studia Slavica XXV (1979), 31-36. About other aspects of language development in Subcarpathia see: М. М. Лелекач, *Пам'ятки українського*

local inserts, typical of Transcarpathian literature of that time, the author uses the local redaction of the *prosta mova*, as well as many quotation and entire sentences in Hungarian, Latin, Greek, clear Polish and Romanian words, together with frequent polonisms, hungarisms and some other linguistic features. The choice of Church Slavonic, however, is not casual: he did not wan't to be laughed at by his own detractors:

> "Писалъ быхъ вамъ простымъ языкомъ, а вы бы на тое мыслили, что ся подобало ему, Миґовцѣ, тото пишетъ" (Оброна, 97)

His choice of the *prosta mova* is determined by the need of being understood, whereas his choice of Hungarian is determined, in our opinion, by the desire of being understood both by the Hungarian orthodoxes and his opponents. He calls his own lanuguage *rusnac'ka mova*, and he often uses Hungarian and Rumanian together, mixing Cyrillic and Latin letters:

> "Sokakot латамъ ego, Michâel, tales, которіи чернило читаете, а не értelmet; en is voltam talis, quam tu es modo, Béczben, Posonban, Nagy Sombaton is. Весь день jol él спекѣлаторes nem eheznek en is bizony nem Ehesztem posonban midon voltam most si nem jol élek itt is testi kenyerem lelki is van" (Obrona, 262)[19]

письменства XVII-поч. XVIII ст. писані на Закарпатті (Матеріали до історичної діалектології української мови). Наукові Записки Ужгородського Державного Університету 14 (1955), 221-234; П. Кирай, *О восточно-словацко-карпатоугорском диалекте в Венгрии.* Славянская Филология, III (1958), 163-174; Й. О. Дзендзелівський, *Українсько-західнослов'янські лексичні паралелі.* Київ 1969; P. M. Lizanec, *Magyar-Ukrán nyelvi kapcsolatok. A kárpátontúli ukrán nyelvjárások anyaga alapján.* Ungvár 1970; Й. О. Дзендзелівський, *Діалектна взаємодія української мови з іншими слов'янськими в карпатському ареалі.* Київ 1973; А. А. Мокань, *Лексические унгаризмы в мараморошских украинских говорах Закарпатской области.* Вопросы финно-угорской филологии, 3 (1977), (Ленинград), В. П. Латта, *Словацько-українська мовна межа.* Записки Наукового Товариства Культурного союзу українських трудящих у чехословацькій соціалістичній республіці 8-9 (1979-81), 95-96; I. I. Фекета, *Західнослов'янські лексичні запозичення в закарпатських пам'ятниках XVI - XVII ст.* Проблеми слов'янознавства 27 (1983), 118-124; I. Feketa, *Polonizmy leksykalne w języku zabitków powstałych na Rusi Zakarpackiej w XVI-XVII w.* Studia z filologii polskiej i słowiańskiej 25 (1985), 141-151.

[19] Hungarian mixed with Latin and Old Church Slavonic, using partially both the alphabets. "I saw myself, Michael, many of them, those, who read the ink and not the sense. I was once too such as you are now, in Vienna, in Bratislava and even in Trnava. I lived well all the day, because who is a *speculator* is never hungry. Now I don't live well, even if here there is bread for my body and for my spirit". About Hungarian and Rusyn linguistic and literary relationships, see: I. Udvari, *Adalékok a*

Or, in Rumanian,

«Ѧваца насъ, цѳпъне бѳнъ, Domine» (Оброна, 198)[20],

We can easily point out that Mychajlo Rosvyhuvs'kyj usually changed the language depending on the target of its own sermons; for this reason he could use at the same time Old Church Slavonic as a base, inserting the local redaction of what we call now Ukrainian, using quotations in Latin and Greek and passing with no solution of continuity to entire passages in Hungarian. All these languages were nothing but the mirror of different cultures, whose meeting point was in the very Carpathian area.

For the modern researcher the message of Mychajlo Rosvyhuvs'kyj's works could be the following: there is no need to look for a particular definition of Andrella's "national" affiliation, since, until the first half of the XIX century, the identity factors were absolutely others from those drawn after Vienna 1815. Mychajlo Rosvyhuvs'kyj was part of the world we know as Rus', not Russia, Ukraine, Hungary, Slovakia, Romania or, in the future, may be Rusynia: he was the son of a borderland in which all these cultures intersected with the other cultures of the area, i.e. Jewish, Greek, Latin and Ottoman. The interaction of these cultures brought to life a particular cultural system, which, while recognizing itself in its difference from all the above mentioned systems, found its place in its very belonging to a Imperial culture, giving at the same time a considerable contribution to the development of culture in this area and to all the cultures that contacted each other along this border.

The subsequent research in this area should be focused on its being the contact point of different cultural experiences. It would be highly anachronistic and futile to ascribe new "national" contexts to them.

---

magyarországi ukrán írásbeliség történetéhez a XVIII században. Dél-máramorosi szerződések. Studia Russica XI (1987), 58-92; eiusdem, *Adalékok a kárpátukrán írásbeliség történetéhez. Megjegyzések De Camelis J. nyomtatott műveinek és körlevelének nyelvezetéről.* Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis 11/E (1987), 157-165; eiusdem, *Adatok a kárpátukrán felvilágosodásról.* Szabolcs-Szatmári szemle 1989, 3, 280-284; eiusdem, *A ruszin egyházi hivatali írásbeliség a XVIII század első harmadában. Bizáncy György Gennadius püspök (1657-1716-1733) iratai.* Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis 13/C (1992), 241-256; eiusdem, *Ruszin (kárpátukrán) írásbeliség a XVIII. századi Magyarországon.* Budapest, 1995.

[20] Romanian mixed with Latin, in cyrillic: Învăţa, Jupâne bun i.e., "Teach us, Good Lord".

Замечания о Михаиле Оросвиговском-Андрелле
Резюме

Михаил Оросвиговский-Андрелла, закарпатский полемист XVII века, - один, если не самый лучший, из представителей феномена, нами названного "пограничной культурной системой". Подданный Святостефанского престола, получив образование в разных культурных центрах центральной Европы того времени, иерей Михаил отрицал Унию, чтобы вернуться к Православию и, из-за этого, должен был пережить огромные трудности со стороны венгреских католических властей. До наших времен сохранились только две его работы, Логос и Оборона верному каждому человеку, уже исследованные А. Петровым и, с точки зрения лингвистического анализа, Л. Дэжем.

На основе вышеупомянутых работ, Автор статьи старался проанализировать, кроме общих характеристик произведений, факторы самосознания закарпатского Автора. В период, во время которого можем наблюдать возрождение националистических феноменов, является ясным факт, что в то время самосознание основалось на этносакральных а не на ернолингвистических факторах, как, н.п., понятие "Русь" и "Православие". Интересным является и тот факт, что основа Православия у Андреллы - не Константинополь, а Иерусалим. Следует отметить, что для Андреллы, как для большинства его современников, не было никакой связи между употреблеямым языком и чувством принадлежности к государственной системе.

Заключения, оставляемые Автором самым читателям, касаются и общих понятий об имперских, национальных и региональных литературах, и возрождения новых национализмов и микронационализмов, которые стараются доказать свое новое, современное существование на основе прошлого, без перспективы для будущих научных исследований.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS

SLAVICA XXX, 237-267 2000 DEBRECEN

Critica et bibliographia

Основные вопросы русской лингвокультурологии

Предмет лингвокультурологии

То, что существует наука "культурология", не вызывает сомнения. Существует ли наука "лингвокультурология", занимающая, как вытекает из структуры термина, промежуточное положение между "лингвистикой" и "культурологией", – у некоторых лингвистов и культурологов вполне может вызывать сомнение. Если в некотором описании присутствует одновременно лингвистический материал и культуроведческий, то это еще не значит, что перед нами "лингвокультурология". Статус промежуточной дисциплины может иметь только та научная дисциплина, у которой единицей описания является некоторая устойчивая корреляция двух единиц, одна из которых является единицей одной дисциплины (например, слово – в языкознании), а другая – единицей другой дисциплины (например, "национальная личность" – в культурологии). Единицей описания в лингвокультурологии должна быть, таким образом, корреляция между языковой единицей и культурологическим понятием. Например, проблемой лингвокультурологии может быть вопрос о том, как выражается в словах языка (в лексике) понятие "национальной личности".

На наш взгляд, при таком понимании предмета лингвокультурологии вполне можно делать вывод о том, что в настоящее время данная научная дисциплина - существует. Обсудим основные ее понятия на материале следующих публикаций:

1. В.В. Воробьев, *Лингвокультурологические принципы презентации учебного материала* (проблема концентризма). Москва, Ин-т русского языка им. Пушкина, 1993, pp. 170.

2. В.В. Воробьев, *Лингвокультурологическая парадигма личности.* Москва, Изд-во Российского ун-та дружбы народов, 1996, pp. 170.

3. В.В. Воробьев, *Лингвокультурология* (теория и методы). Москва, Изд-во Российского ун-та дружбы народов, 1997, pp. 332.

Владимир Васильевич Воробьев – доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русского языка основных факультетов Российского университета дружбы народов, научный сотрудник Института русского языка им. А.С. Пушкина в Москве. Преподавая русский язык как иностранный, исследуя взаимодействие русского языка и русской культуры в целях обучения русскому языку иностранных студентов, исследуя также взаимодействие русской культуры и культуры родного языка студентов (см. книгу 1, представляющую собой учебное пособие), В.В. Воробьев разработал основные понятия научной дисциплины гуманитарного цикла – лингвокультурологии. В названных выше трех его (1,2,3), но прежде всего в последней книге (3), излагается теория, предмет и методы этой дисциплины.

Лингвокультурология как наука

В.В. Воробьев считает, что лингвокультурология представляет собой раздел общей культурологии, наряду с такими ее разделами, как культурфилософия, социология культуры, культурная антропология, культурпсихоллогия и др. (3, с. 35). При этом В.В. Воробьев полагает, что лингвокультурология – едва ли не самый главный раздел культурологии, так как содержание культуры выражается прежде всего в средствах естественного человеческого языка. В.В. Воробьев исходит при этом из концепции известного американского лингвиста и антрополога Э. Сепира, который культуру определяет как "то, ч т о данное общество делает и думает", а язык – как "то, к а к думает" (цит. по 3, с. 12); культура и язык, таким образом, оказываются в непосредственной связи друг с другом.

Культурология описывает "картину мира" (как ее представляют себе люди, прежде всего – данный этнос, данная нация), а лингвокультурология описывает языковую "картину мира" (как она представляется людям в средствах языка, прежде всего – данного национального языка). Разумеется, содержание культуры выражается не только в средствах языка, но и средствами многих других знаковых систем – предметных, обрядовых и т.д., однако главным способом ее выражения является все-таки естественный язык, составляющий предмет лингвистики, вследствие чего лингвокультурология и оказывается главным разделом культурологии.

Как в культурологии, так и в лингвокультурологии в центре внимания находится народ, данный этнос, а если быть точнее – личность как обобщенный представитель народа, этноса. Поэтому главным понятием культурологии, по мнению В.В. Воробьева, является понятие "национальной личности"; соответственно главным понятием лингвокультурологии является понятие "национальной языковой личности". Описать, как выражается в языке культура данного народа – это по сути дела охарактеризовать данную "национальную языковую личность". В.В. Воробьев подчеркивает важность этого понятия в лингвокультурологии. Он пишет: "...язык – нация (национальная личность) – культура – центральная триада лингвокультурологии, фокус, в котором сходятся и могут быть решены важнейшие проблемы этой отрасли науки" (3, с. 13). (Заметим, что понятие "языковая личность", в частности понятие "русская языковая личность", стало уже традиционным в современном русском языкознании, см. прежде всего

монографию Ю.Н. Караулова, *Русский язык и языковая личность*. Москва, 1987).

В.В. Воробьев дает следующую дефиницию лингвокультурологии: "Лингвокультурология – комплексная научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его функционировании и отражающая этот процесс как целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового (культурного) содержания при помощи системных методов с ориентацией на современные приоритеты и культурные установления (система норм и общечеловеческих ценностей)" (3, с. 36-37)

Лингвокультурология и другие науки

Помимо лингвокультурологии существуют и другие научные дисциплины, изучающие проблему "язык и культура", например социолингвистика, этнолингвистика, лингвострановедение. Закономерно возникает вопрос: как эти последние дисциплины соотносятся с лингвокультурологией в отношении предмета, метода, целей исследования?

Социолингвистика изучает социальную дифференциацию языка – социальные и территориальные диалекты, национальный язык, литературный язык как социологические категории, проблемы двуязычия, вопросы культуры в тесной связи с социальными группами населения; важной целью социолингвистики является характеристика языковой ситуации и выработка соответствующей языковой политики; используются при этом социологические методы (опрос информантов, составление рейтингов и т.п.).

Этнолингвистика, возникшая в недрах этнографии, в качестве своего предмета имеет бытовые, культурные особенности народа, выражающиеся не только в системе языка, но и в других знаковых системах. Главной целью этнолингвистики является изучение происхождения и истории данного народа. В качестве материала использовались в основном языки и культура американских индейцев. Основоположниками этнолингвистики считаются американские ученые Э. Сепир и Б. Уорф.

Предмет лингвострановедения – это выражение в средствах языка информации о стране этого языка. Методом является семантический анализ языка, в основном лексики, с выявлением в значении слов "национально-культурных" семантических компонентов. Цель – обеспечение преподавания языка, при котором учащиеся вместе с языком усваивают также и сведения о стране. Именно в таком виде лингвострановедение сложилось в России, см., например, книгу Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, *Язык и культура*. Москва, 1973.

Лингвокультурология, как ее характеризует В.В. Воробьев в названных выше книгах, ближе всего находится к лингвострановедению и этнолингвистике, прежде всего в отношении основных понятий и методов – использования семантического анализа лексики, понятия «семантического поля», метода «компонентного анализа». С этнолингвистикой лингвокультурологию сближает также комплексный подход к проблеме «язык и культура». Что касается предмета и целей, то все эти три дисциплины отличаются друг от друга.

Основные понятия лингвокультурологии

В качестве основной единицы описания в лингвокультурологии В.В. Воробьев рассматривает лингвокультурему, которая представляет собой единство языковой формы и культурологического содержания. Лингвокультурема тем отличается от обычного слова (тоже имеющего форму и содержание), что если у слова значение является "ближайшим" (А.А. Потебня), известным каждому говорящему на данном языке, то значение лингвокультуремы является "дальнейшим" – представляет собой понятие, даже целую концепцию, обозначенную данным словом. Ср., например, значение слова *хоровод* в словаре С.И. Ожегова и содержание лингвокультуремы, обозначенной этим же словом *хоровод*, в словаре В.И. Даля, где подробно описывается соответствующий старый обычай в жизни русского народа. Разумеется, лингвокультурологическая компетенция, в отличие от обычной языковой компетенции, широко варьирует от одного говорящего к другому. Если лингвокультурологическую компетенцию соизмерять с информацией, содержащейся в энциклопедическом словаре, то у "рядовых" говорящих она всегда будет неполной.

Парадигматика и синтагматика обычного слова и лингвокультуремы тоже различаются. Так, парадигма лингвокультуремы *хоровод* образуется только из слов типа *хороводная пляска, весенние, осенние, зимние хороводы, водить хоровод* и т.д., в то время как парадигма слова *хоровод* может состоять и из других слов, не имеющих культурологического значения, в том числе и с учетом грамматических признаков.

По аналогии с понятием "семантического поля" В.В. Воробьев вводит понятие "лингвокультурологического поля", которое образуется из множества лингвокультурем, относящихся к данной лингвокультурологической области. Поле имеет структуру: оно делится на субполя, классы и отдельные лингвокультуремы; у поля есть ядро, центр и периферия (3, с. 57-73).

В качестве примера для демонстрации приемов и методов описания лингвокультурологического поля, В.В. Воробьев избирает поле, которое называется: "русская национальная личность". Как уже отмечалось выше, личность, по мнению В.В. Воробьева, является центральным понятием взаимодействия языка и культуры, в данном случае – русского языка и русской культуры.

"Русская национальная личность"

При конструировании лингвокультурологического поля «русская национальная личность» В.В. Воробьев предлагает использовать следующие источники культурологической информации (см. 3, с 56): 1) русское народное поэтическое творчество, пословицы, поговорки и др.; 2) памятники истории и общественной мысли, исторические, философские и другие сочинения; 3) высказывания деятелей науки, искусства и литературы о русской национальной личности; 4) художественная литература и публицистика; 5) примеры из жизни русских выдающихся личностей; 6) суждения иностранцев о русской нации и русском характере. Само собой разумеется, при конкретном описании семантического поля «русская национальная личность» -

используются языковой материал толковых словарей русского языка, словарей антонимов, синонимов, фразеологических словарей и др.

Ядро лингвокультурологического поля "русская национальная личность" образуется, по В.В. Воробьеву, из следующих лингвокультурем: *русский, российский, великорусский, россиянин, славянский, советский.* Вокруг ядра располагаются классы лингвокультурем: 1) *религиозность: христианство, православие, мессианизм (безбожие, атеизм); 2) высшие формы опыта: доброта, красота (искусство), духовность (литература), истина (наука); 3) соборность: идея, артельность, общинность, тоталитаризм, социализм, коммунизм, коммюнаторность; 4) всемирная отзывчивость: доброжелательность, самопожертвование, альтруизм, интернационализм (национализм); 5) широта души: вневременность, удаль, неудержимость, максимализм, невнимание к настоящему; 6) поляризованность: дух противоречия.* (См. изображение этого поля с ядром и классами лингвокультурем вокруг ядра: 2, с. 98; 3, с. 120).

Лингвокультурологическое поле "русская национальная личность" конкретизируется в книгах В.В Воробьева по двум направлениям – в аспектах материальной и духовной культуры (2, с. 100-112; 3, с. 121-132).

В аспекте материальной культуры, на основе анализа русской лексики, фразеологии, пословиц и поговорок, текстов художественной литературы, показывается, как русская национальная личность обнаруживается в классе лингвокультурем со значением «меры» (денежные единицы, счет, измерение): 1) *деньга, полушка, копейка, грош, алтын, гривенник, рубль, червонец; 2) вершок, пядь, локоть, аршин, сажень, верста; 3) понедельник – день тяжелый, чистый четверг, семь пятниц на неделе, красная суббота, ленинский воскресник* и т.д.; как русская личность выражается в классах лингвокультурем со значением «быта»*: хлеб, щи, каша, русские блины, московские калачи, тульские пряники, русская водка* и т.д.

Чтобы конкретно показать, как выражается русская национальная личность в аспекте духовной культуры, В.В. Воробьев описывает класс лингвокультурем со значением "семейно-родственных отношений"*: отец (отечество, отчизна), мать (Родина-мать, Россия-мать), сын (сын народа), дочь, дед, прадед, бабушка, брат (брат по духу, брататься, братство), сестра (сестра-хозяйка), муж (доблестный муж), жена* и т.д.

На основе лингвокультурологического поля "русская национальная личность" В.В. Воробьев, с использованием проиллюстрированного выше метода, формулирует другое лингвокультурологическое поле - "русская национальная идея", доминантами которого являются классы лингвокультурем: идея *религиозности, национальная* идея, *социалистическая* идея, идея *общечеловеческого объединения,* идея *общежития,* идея *государственности,* идея *единовластия* (3, с. 155).

Сопоставительная лингвокультурология

На основе анализа языка (первая "моделирующая система"), с учетом анализа перечисленных выше культурологических источников, в том числе таких, как художественная, философская и публицистическая литература (вторые "моделирующие системы"), складывается достаточно объективное представление о русской "национальной личности". Таким же способом можно

описать и лингвокультурологическое поле другой "национальной личности" - на основе анализа другого национального языка, затем – третьей "национальной личности" - на основе анализа третьего национального языка и т.д., после чего можно сравнивать эти семантические поля, сопоставляя и различая их по составу "семантических компонентов", делая вполне объективные заключения о сходстве и различии разных "национальных личностей". В.В. Воробьев предлагает опыт такого сравнения – применительно к русской, французской и немецкой "национальным личностям", делая заключения, которые представляют не только научный, но и практический (в целях преподавания, популяризации национальных идей и т.п.) интерес (см. 2, глава 3 *Сопоставительные аспекты лингвокультурологии*).

Прикладная лингвокультурология

Практические аспекты лингвокультурологии В.В. Воробьев видит прежде всего в преподавании языков, в частности русского языка как иностранного. Изучая язык, овладевая им как коммуникативным средством, осваивая "ближайшие" значения этого языка, учащийся одновременно может анализировать и "дальнейшие" значения в языке (слов, фразеологии, пословиц, поговорок, текстов) – в направлении выяснения их культурологического содержания, выделяя сначала отдельные лингвокультуремы, затем объединяя их в классы, наконец – в лингвокультурологические поля, образуя прежде всего наиболее важные для говорящих на данном языке лингвокультурологические поля, такие, как "национальная личность", "национальная идея" и т.п. Таким способом, вместе с освоением языка, учащийся осваивает и культуру, и психологию народа. В главе 4 *Прикладные аспекты лингвокультурологии* (3, с.251-294) В.В. Воробьев подробно описывает, как это надо делать применительно к преподаванию русского языка как иностранного. Конкретная реализация прикладного аспекта лингвокультурологии представлена в его учебном пособии (см. 1).

Общественная обусловленность лингвокультурологии

Знакомясь с книгами В.В. Воробьева, следуя за анализом автора, с интересом наблюдаешь, как в процессе анализа "ближайших" и "дальнейших" значений слов, фразеологизмов, пословиц, поговорок, текстов – "проявляются", обнаруживаются одно за другим культурологические поля, в том числе и самое главное культурологическое поле – "русская национальная личность". Начинаешь убеждаться, что лингвокультурология, с ее спецификой, со своим предметом, методом и теорией, – действительно существует.

Появление и развитие гуманитарной, общественной дисциплины обусловливается возникновением в обществе новой общественной ситуации; новая дисциплина призвана объяснять эту ситуацию, способствовать ее становлению и укреплению

Так, возникновение этнолингвистики в начале XX века было вызвано появлением определенного интереса в США к культуре и языку североамериканских индейцев; этнолингвистика описывала эту культуру и язык, знакомила с этими вопросами американское общество. Социолингвистика в СССР после 1917 г. должна была обеспечить новое "языковое строительство": разработать алфавиты для бесписьменных народов,

создать новые литературные языки, даже новые национальные языки, способствовать ликвидации безграмотности и т.д. Лингвострановедение, появившись в 60-ые годы, тоже отвечало на "вызов времени": при массовом обучении студентов в "странах социализма" обязательному тогда русскому языку, надо было одновременно знакомить этих студентов, в том числе и "через русский язык", со страной "победившего социализма".

Появление лингвокультурологии тоже связывается с возникновением новой общественной ситуации. В.В. Воробьев пишет: "Происходящие в современной России политические и социально-экономические преобразования привели к радикальным изменениям способов и форм существования русского народа, к качественной перестройке его ценностной ориентации. Становится жизненно важной разработка культурологической проблематики, более разнообразный подход, в том числе и лингвистический, к проблематике личности" (2, с. 2). В приведенном выше определении лингвокультурологии как науки присутствует признак, специально указывающий на то, что данная наука должна отвечать "требованиям времени": "... с ориентацией на современные приоритеты и культурные установления (система норм и общечеловеческих ценностей)" (3, с. 36-37).

Тс, что наука появляется тогда, когда она «востребована жизнью», является законом не только науки, но и самой жизни. Отдельный ученый может родиться не вовремя, но реализоваться и получить признание в обществе он может только тогда, когда "востребован временем".

Книги В.В. Воробьева не являются единственными, появившимися в России для того, чтобы ответить на важные для современной России вопросы, прежде всего на вопросы, касающиеся таких категорий, как "русская национальная личность", "русская национальная идея" и т.д. В библиографии, содержащейся в книгах В.В. Воробьева, называются работы, в которых названные категории рассматриваются в философском, социологическом и психологическом аспектах. Эти работы оказали влияние на автора – на разработку названных категорий еще в одном – лингвистическом – аспекте.

Времена "истин в последней инстанции" в России, будем надеяться, миновали, наступила "интеллектуальная свобода". "Русский вопрос" теперь можно обсуждать без оглядки на "социалистический интернационализм" и "дружбу народов". Достижения в таких обсуждениях заметны. Книги В.В. Воробьева – одно из свидетельств этих достижений.

Общий вывод следующий. На настоящий день вполне можно утверждать, что лингвокультурология как научная и практическая дисциплина, исследующая выражение культурологических понятий данного общества в лексике данного языка, – существует. Подтверждение тому – работы В.В. Воробьева.

В.А. Федосов

На шляху до нового українсько-угорського словника

У Ніредьгазькому педінституті було здійснено видання першого тому (точніше було б сказати останього, оскільки він охоплює літери від Ф до Я) українсько-угорського словника. Таким чином завершено початковий етап словникової програми, над якою майже два роки плідно працювали викладачі і студенти кафедри української та русинської філології. Редактором цього словника є завідувач кафедри, професор Іштван Удварі.

На цей час вже існує кілька перекладних галузевих словників, наприклад математичний словник, військовий словник[1], а також універсальний словник, виданий у шістдесятих роках[2], який сьогодні вже не може задовольнити перекладачів, викладачів і студентів. Тому вихід нового словника – необхідність, зумовлена сьогочасними вимогами, і цей словник покликаний задовольнити ці вимоги за якісними і кількісними параметрами.

Нагальність створення такого словника особливо відчувають викладачі і студенти, яким, у кращому випадку, доводиться працювати або із застарілими, або із неповними виданнями.

Отже, робота колег–однодумців заслуговує найвищої оцінки.

Словник має традиційну академічну структуру. У передмові висвітлюється загальна концепція укладання словника, а також обгрунтовуються принципи побудови словникових статей і добору матеріалу. Під час роботи над словником колектив опрацював значну кількість початкового матеріалу, беручи за основу інші двомовні, тлумачні словники, список яких додається, а також широко залучаючи сучасну газетну лексику і твори художньої літератури.

Звернемось до загальної системи словника. Вже і побіжного погляду досить, щоб зрозуміти, що власне словниковий матеріал (основні, реєстрові слова) дуже значний за обсягом. Тут представлені практично всі рівні сучасної української лексики. У словнику багато діалектизмів, застарілих і просторічних слів, добір яких не завжди здається вмотивованим; дуже розгалужена система однокореневих лексем. Однак така різноманітність концептуально виправдовується назвою видання: база даних для українсько-угорського словника (Ukrán-magyar szótári adattár). Подекуди трапляються великі словникові статті, які якнайширше пояснюють, тлумачать реєстрові слова. У словнику цікавий ілюстративний матеріал, над яким плідно працювали не тільки викладачі, а і студенти кафедри. Задля розкриття окремих відтінків значень подаються словосполучення, фразеологізми, прислів'я та приказки. Омоніми подаються в окремих словникових статтях з метою якнайповнішого розкриття їх значення. Наприклад:

---

[1] Holovács József, *Ukrán-magyar, magyar-ukrán matematikai szótár. Українсько-угорський, угорсько-український математичний словник.* Glossarium Ukrainicum I. Nyíregyháza, 1998. Krivács Györgyné–Tempfli László, *Ukrán-magyar katonai szótár*. Budapest, 1995.

[2] Катона Лорант, *Українсько-угорський словник.* Будапешт –Ужгород, 1963.

Ява – (szính.) jelenet дія пе́рша, ~ дру́га – első felvonás, második jelenet

Ява[3] – valóság, valódiság, tény

Ява – (földr.) Jáva-sziget

Надзвичайно важливий аспект, який вигідно відрізняє новий словник від усіх попередніх, це маркування. Маркування відображає граматичні ознаки слова, інформацію про його професійну, територіальну чи соціальну приналежність. Наприклад:

файно hat. táj (прислівник, діалектизм)

фа́зовий vill. (електротехнічний термін)

ховра́х áll. (зоологія)

яд ritk. (рідковживане слово)

Загалом у словнику використовується понад сто маркувань.

Оскільки робота над словником продовжується, хотілося б висловити кілька побажань.

Як вже зазначилося вище, у словнику надзвичайно велика кількість діалектизмів, рідковживаних слів. Мабуть, тут дається взнаки українсько-чеський словник*, який використовували на початковому етапі роботи. Думається, що недоцільно подавати їх у такій кількості, оскільки ймовірність використання таких слів неозначна. (Наприклад, тільки на одній 41-ій ст. зустрічаємо такі слова: *хабаз, ха́бза, хабоття, ха́вка, хава́вкати, хавтур, хавчати*). Натомність краще було б включити сучасну лексему, як, феноменологія і т.д.

У словник потрапила деяка кількість просторічних слів, які, однак, не маркуються, а відтак можуть сприйматись як літературні (хазяйство, хазяїн, якнайскоріший, шампіньйон, шарикова (ручка), хворість). Усі ці слова варто було б подати з маркуванням *nép* (népies kifejezés, beszélt nyelvi; просторіччя, розмовне). Іноді маркування використовується досить непослідовно. Так, наприклад, слово *ялина* подається з маркуванням növ (növénytan, ботаніка), а слова *явір, яблуня* подаються без будь-якого маркування.

Трапляється, що у словникові статті потрапляють невдалі приклади.

- сонце пече, аж шкварчить (слово "шкварчить" використовується у невластивому йому значенні);
- кіт шкодить спати (те саме)
- кіт шкреб лапою у вікно (неправильно використовується вигук)
- щойно ми відійшли, вона захворіла (семантично невірна конструкція)
- яловичі черевики (невдале словосполучення)
- в довгах, як в шовку (використання просторічного слова)
- морська хворість (треба – морська хвороба)
- на дворі хмарно (надворі хмарно)
- цепна реакція (ланцюгова реакція)
- цибати до села (поспішати до села; простор. Слово подається без будь-якого маркування)
- хронічний фільм (фільм-хроніка або хронікальний фільм)

---

[3] Куримський А. – Шишкова Р.– Савицький Н., *Українсько-чеський словник.* I.–II. *Ukrajinsko-český slovnik.* I.–II. Praha, 1994-1996.

– шляхова зірка (провідна зірка)

Видається незрозумілим, чому записали як реєстрові слова лексеми "яскраво-жовтий", "яскраво-зелений", "яскраво-синій" а "яскраво-червоний" – випустили. (с. 177). У окремих словах трапляються друкарські помилки (ясновидіня, теоритична, експерементальна (фізика), у алфавіті переплутані місцями літери Е і Д. Є зауваження і щодо якості друку – окремі літери віддруковані нечітко, так, для іноземця буде важко розпізнати букви П і Н.

Всі ці побажання можуть бути враховані у подальшій роботі.

Успіх словникової програми не викликає ніякого сумніву, оскільки словник має універсальний характер і може прислужитися і початківцям, і фахівцям.

С. Мельник

Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения.
Под ред. Г. Н. Скляревской. Российская Академия Наук, Институт лингвистических исследований РАН. – СПб.; Изд–во «Фолио–Пресс», 1998, 700 с.; ISBN 5–7827–0100–X

Уже беглое знакомство с рецензируемым Словарем свидетельствует о том, что перед нами совершенно оригинальное издание популярного типа словарей, изданных в Средне-Восточной Европе в последнем десятилетии. (Хотя первый опыт создания такого словаря относится к началу 70-х гг., когда был издан словарь-справочник, содержащий новые слова современного русского языка, не вошедшие в общие толковые словари. Это был словарь *Новые слова и значения* под редакцией Н. З. Котеловой и Ю. С. Сорокина, содержащий около 3500 новых слов (Б. Татар 1985 : 178).)

Этот тип словарей предназначен для фиксирования этапа развития языков постсоветского, посткоммунистического периода бывших стран социализма. Язык ожил: работают активно все звенья системы. Наиболее отчетливо мы можем наблюдать динамичные и интенсивные процессы в области лексики, по словам Г. Н. Скляревской: "настоящий лексический взрыв" (Скляревская 1998). Словообразовательные новации, поток заимствований, новая жизнь слов демонстрируют конкретные связи языка и общества. Словарь впервые вводит в наш лексикографический обиход сотни слов, которые возникли на переломе общественной жизни, в период лавинообразных изменений в политике, экономике итд.

Словарь ставит своей целью показать те перемены, которые произошли в русском языке в период 1985-1997. Для данного словаря авторский коллектив составил специальную электронную картотеку, насчитывающую около 2 млн словоупотреблений. Источниками выборки послужили материалы прессы 80-90-х гг., новейшей художественной литературы, публицистики, а также литературы прежних лет, раньше недоступной массовому читателю, а также

материалы Большой картотеки Словарного отдела (Институт лингвистических исследований РАН).

Толковый словарь русского языка конца XX в. – уникальное явление русской и не только русской лексикографии. "В словаре сделана попытка описать не статичное состояние лексической системы (или ее фрагмента), а ее динамику, те сложные, перекрещивающиеся и противоречивые процессы, которые происходят в настоящий момент" (СКЛЯРЕВСКАЯ 1998). Своеобразие и новизна находят проявление во многих факторах: существенным новшеством в рассматриваемом издании является внесение содержательных графических знаков на полях при слове или при значении слова. Эти маркеры отражают положение слова в языковом сознании современников, в лексической системе русского языка в описываемый период: "новые и относительно новые слова; слова вернувшиеся с периферии языкового сознания (маркируемые в предшествующих словарях как устарелые, относящиеся к чуждому быту и т.п.), а также уходящие из активного употребления в пассивный лексический запас (идеологические штампы и клише советского времени)" (СКЛЯРЕВСКАЯ 1998).

С точки зрения динамического состояния Словарь описывает 4 разряда лексики:

- слова так называемого основного фонда, которые в описываемый период претерпели семантические, стилистические, оценочные и другие изменения. Например, слова *зеленые* 'доллары США', *кукла* 'сверток, пачка, упаковка с нарезанной бумагой, даваемые мошенником вместо денег'.
- новая лексика: слова абсолютной и соотносительной новизны, то есть первые словарные фиксации (*исламист* 'сторонник исламизации') и слова уже описанные в словарях новых слов (*телешоу* 'яркое, красочное зрелище с участием звезд эстрады, цирка, балета и т.п., транслируемое по телевидению')
- лексика, бывшая прежде на периферии общественного языкового сознания и сопровождавшаяся в словарях либо пометой *Устар*, либо комментарием *В старину*, *В дореволюционной России* и т.п. (*престол* 'в православном храме стоящий посредине алтаря покрытый покрывалом четырехугольный стол, на котором освящаются')
- слова и выражения, уходящие или ушедшие из активного употребления, отражающие реалии и категории советской эпохи (*здравница* 1) 'место для отдыха и лечения; санаторий, дом отдыха, 2) 'о курортной местности').

В аспекте тематическом Словарь включает в себя лексику самых разных областей нашей жизни, таких как политика, идеология, экономика, армия, техника, религия и т.п.

В аспекте словопроизводства Словарь представляет лексику разных типов: ряды слов, производные и непроизводные слова, составные слова, аббревиатуры.

Словарь опирается на традиции русской академической лексикографии. Он дает обширную и разнообразную информацию о слове: толкование, иллюстрации в виде речений и цитат, грамматическую, функциональную и стилистическую характеристику данной лексики. В справочном отделе приводятся синонимы и антонимы, фразеология. В словарной статье даны

сведения не только об особенностях написания и произношения слов, а также об их этимологии, ведь период с 1985 по 1997 г. – время массового вхождения в русский язык заимствований.

Отдельным списком дана в разделе *Приложение* заимствованная лексика (все компьютерные термины), функционирующая в современных текстах в написании латиницей (*Internet, DOS, CD*). Жаль, что список не содержит более словарных статей; некоторые, часто употребляемые слова не вошли в него (как, например, *return, push, virtual house*).

Словарь должен заинтересовать не только российских и зарубежных лингвистов, но как справочное пособие может быть полезен и интересен каждому говорящему на русском языке и изучащему русский язык. Он может оказать помощь студентам-русистам во время изучения раздела лексики и при написании дипломной работы по лексикологии. Словарь служит прекрасным дополнением к существующим словарям.

Литература

СКЛЯРЕВСКАЯ 1998: Скляревская, Г. Н., Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения. СПб.

ТАТАР 1985: Татар Б., Русская лексикография. In: Одноязычные филологические словари. Будапешт

Е. Фориан

Русская диалектология. Под ред. В. В. Колесова Высшая школа. Москва, 1998, ISBN 5-06-003467-4. 207 с.

В последние десятилетия диалектологические исследования в России оставались на заднем плане по отношению к другим отраслям описательного языкознания. Диалектология долго существовала в недрах этнографии, и только в 40-е годы стала превращаться в подлинно языковую дисциплину. Активные исследования по этой теме были проведены в 60-70-е годы, однако они не охватывали все уровни диалектного языка.

Диалектология является заброшенной областью и в университетском, и вузовском лингвистическом обучении, ведь она не входит в круг обязательных предметов. Последние диалектологические работы учебного характера вышли в свет до 80-х гг. (*Русская диалектология* под ред. Р.И. Аванесова и В. Г. Орловой. М.. 1964.; *Русская диалектология* под ред. Н. А. Мещерского. М., 1972.; *Русская диалектология* под ред. П. Ц. Кузнецова. М., 1973). Рецензируемая монография является современным и всесторонним трудом, в котором осуществляется синтез достижений вышеуказанных работ.

Данная монография является результатом нескольких авторов. Авторская работа между участниками колектива была распределена следующим образом: *Введение*, *Диалектное членение русского языка* и *Фонетика* написаны В. В. Колесовым, *Морфология* – Л. В. Капорулиной и О. Б. Черепановой, *Синтаксис* – В. Т. Трубинским, *Семантика* – Л. А. Ивашко.

Русская диалектология является учебным пособием для вузовского курса по русской диалектологии. В книге даётся системное описание всех современных русских говоров. Они рассматриваются во всем объёме их особенностей. Поскольку диалект, как система, существует не только в пространстве, но и во времени, внимание уделяется равномерно современным и архаичным языковым явлениям и состояниям, как наиболее важным и показательным диалектным чертам. В поле зрения авторов находятся и процессы, происходящие в говорах в последние десятилетия, в результате сильного влияния литературной нормы на говоры. Диалектная речь в книге рассматривается в соотношении с литературной нормой. Воздействие нормы на диалекты приводит к возникновению вторичных диалектных признаков, воплощающих общерусские тенденции языкового развития.

Книга содержит в себе шесть глав, в которых освещены основные фонетические, грамматические и лексические особенности русских говоров.

Перед изложением материала, в Введении разъясняются основные понятия диалектологии (говор, наречие, изоглосса), и представляются её источники и методы. Здесь рассматриваются и теоретические различия между литературной нормой и наречиями, просторечием и диалектом.

В первой главе авторы представляют классификацию русских говоров, для которой принимались во внимание различительные признаки говоров в области фонетики, морфологии, синтаксиса и лексикологии. Здесь упоминаются и главные различия между северным и южным наречиями и краткое описание восьми основных русских говоров.

Вторая глава занимается основными фонетическими особенностями говоров. Здесь трактуются основные фонетические средства русского языка (ударение, длительность, интонация), реализующиеся по-разному в отдельных говорах, и даётся характеристика консонантизма и вокализма диалектов в сопоставлении их друг с другом, а также нормой литературного языка.

Третья глава посвящена морфологической характеристике диалектов, ведь при общности грамматических категорий говоры отличаются друг от друга и от литературного языка формами выражения морфологических категорий и разной степенью их развития. Глава состоит из двух частей. В первой - рассматривается реализация категорий существительных, прилагательных и местоимений по говорам. Во второй части встречается подробное описание системы глагола в отдельных диалектах. Эта проблема представляется небезынтересной, поскольку с одной стороны, в говорах наблюдается значительное варьирование глагольных форм на морфологическом, морфонологическом и словообразовательном уровнях. С другой стороны, диалекты сохранили некоторые остатки древнерусской глагольной системы (категория плюсквамперфекта), и в них достаточно широко представлены

неличные формы глагола (инфинитив, причастие и деепричастие) в функции предиката.

Четвёртая глава занимается вопросами диалектного синтаксиса, хотя она характеризуется меньшим числом различительных черт, чем фонетика или морфология. В этой области различия по говорам наблюдаются в способах построения словосочетаний, способах выражения сказуемого и употреблении союзов и частиц, выражающих синтаксические отношения.

Последняя глава посвящена проблемам диалектной лексикологии. Здесь определяется понятие диалектного слова и представляются наиболее общие группы диалектных слов, исторические пласты диалектного словаря, тематические группы диалектных слов, фразеология диалектной речи. Во второй части главы даётся краткая характеристика самых важных диалектных словарей.

Структура книги и объяснительно-дидактический характер изложения материала соответствуют учебному характеру работы. В ней материал представлен в логическом, ясном виде, отдельные лингвистические проблемы представлены через множество примеров, авторы при объяснении отдельных языковых особенностей приводят и мнения других учёных. В книге представлены и разные таблицы, которые облегчают усвоение материала. Единственным недостатком учебника можно считать отстутствие в нём диалектных карт, которые сделалы бы ещё более наглядным распространение разных диалектных явлений.

Лаконичный характер пособия обусловлен объёмом вузовского курса по русской диалектологии, хотя и авторы признают, что в ряде случаев материал требовал бы более полного и детального характера изложения. Книга снабжена библиографическим указателем по отдельным темам, который помогает интересующимся лучше разобраться в теме.

Поскольку данная монография является учебным пособием, она предназначается в первую очередь для студентов филологических факультетов русской специальности. Кроме них книга представляет большой интерес и для стремлящихся познакомиться с русской диалектологией филологов и для всех, кто интересуется живой русской речью.

Книга является ценным и полезным учебным пособием, которое во многом содействует тому, что диалектология заняла подобающее ей место в высшем образовании . Главное достоинство труда заключается в том, что в него включены до сих пор мало изученные темы диалектологического синтаксиса и лексикологии.

Б. Дёрфи

Никитина Т. Г., *Так говорит молодёжь. Словарь молодёжного сленга. По материалам 70-90-х годов.* Фолио-пресс, Санкт-Петербург, 1998, 592 с. (издание второе, исправленное и дополненное)

С начала 90-х годов, вследствие политических и социальных изменений, произошло заметное преобразование и в лексиконе русского языка. Это в первую очередь, означает процесс увеличения количества заимствованных слов, главным образом английского происхождения.

Изменившийся общественный вкус и новая мода ведут к сознательному видоизменению языковых норм. Люди отталкиваются от традиций предшествующих десятилетий, стараются избегать слов бывшей эпохи, и часто предпочитают небрежное городское просторечие и жаргон. Раньше люди были приучены к осторожному выбору слов, и теперь они охотно перестали следить за своей речью. Именно эти крайности, плоды смешения стилистических пластов языка, слова, меняющие свою окраску, словесные игры, фразеологизмы, дисфемизмы и пр. способствовали составлению словаря.

Повседневный язык изменился в такой мере, что понимание слов в ряде случаев доставляет трудности даже носителям языка. В жизни любого языка эти передвижения считаются естественными, но в современном русском языке это происходит как-то неестественно, уж больно много в нём новых и заимствованных форм. Именно поэтому возникают трудности при чтении текста для иностранного учащегося, который не имеет необходимых знаний культурологического характера, и это может привести к очевидным коммуникативным неудачам. Наиболее полно все эти процессы отражает газетная и молодёжная речь.

Настоящий словарь может пополнить эти пробелы, и таким образом рассеять недоразумения. Хотя данная работа Никитиной содержит "лишь" молодёжный сленг, представленные слова и выражения явно передают нам дух эпохи. Молодёжь всегда предпочитала речевую свободу и не любила ограничения в использовании языковых средств.

Собрание материала словаря сленга началось ещё в 70-х годах. В словаре описывается лексикон с раннего периода появления молодёжного жаргона до 90-х годов. Второе издание расширение на основе материалов 1996-1998 годов. Работа составлена по верным лексикографическим источникам (как *Словарь разговорных выражений* В. П. Буланина и И. А. Бутелко из 1994 года, или же *Словарь московского арго* В. С. Елистратого из того же года), художественным произведениям (М. Ачеев, *Роман с кокаином. Паршивый народ*, 1990; Б. Росек, *Дневник наркоманки.* 1990), научным работам по социологии, психологии, медицине (А. С. Запесоцкий, А. П. Файн, *Эта непонятная молодёжь*: *Проблемы неформальных молодёжных объединений.* 1990), молодёжным газетам и журналам последнего времени (*Комсомольская правда*, *Бумеранг*, *Я – молодой*, *Пульс* и др.) и передачам радио и телевидения. Были сделаны записи живой речи молодёжи в разных городах. Год происхождения каждой записи даётся в скобках после определения слова. Подробный список источников дан на страницах 580-587, в конце книги. В

происхождения каждой записи даётся в скобках после определения слова. Подробный список источников дан на страницах 580-587, в конце книги. В этот список не вошли песни современных рок- и поп-исполнителей, но после цитаты обозначается источник в статье.

Книга разделена на следующие части: 1) Предисловие (3); 2) Указание пользования словарём (4, 5); 3) Список сокращений с графическими обозначениями (6-8); 4) Основная часть – словарные статьи (9-542); 5) Указатель синонимических рядов (543-579); и 6) Список источников (580 -587).

Принципом составления словаря являлась публикация тех слов, которые – по словам автора – "отражают не только лексикон, но и круг интересов определённых молодёжных группировок".

Главную роль в подобных работах играет само слово. Но слово и жизнь неотделимы. Лингвистические словари должны принимать во внимание и жизненные отношения слова, и это особенно характерно для сленговых словарей. В настоящей книге речь идёт именно о словах и жизненных отношениях.

В словаре систематично, соблюдая традиции русской лексикографии, представляется лексикон разных слоев молодёжи. Появляется словоупотребление удивительно многих группировок и объединений, например брейкеров, скейтбордистов, металлистов, кришнантов, панков, байкеров, проституток, наркоманов, а также спорстмен, фанатов, музыкантов, моряков, торговцев, бизнесменов, пользователей персональных компьютеров и пр. Приводятся примеры из школьного, студенческого, армейского жаргона, появляются криминальные и коммерческие структуры – перед нами целая гамма представителей молодёжи. Слова даются в переносном, ироническом, искаженном, шутливом, пренебрежительном и пр. значениях. В состав словаря вошли слова, не присутствующие в предыдущих толковых словарях, но получившие иное значение, новую трактовку, требующие разъяснения, потерпевшие структуральное, семантическое переосмысление. Так мы находим в словаре неофициальные, городские жаргоны, каламбуры, суперлативы, табуированные слова, вульгаризмы и т. п.

Автор уделяет внимание и на понятную структуру статей. Перед толкованием заголовочного слова даются грамматические и эмотивно-экспрессивные характеристики слова, и сфера его употребления, вместе с определённой синтаксической конструкцией. Благодаря тщательной работе автора мы получаем полное представление о морфологических категориях, о парадигме склонения или спряжения слова, помечаются несклоняемые и неспрягаемые формы, неизменяемые слова снабжаются частеречной характеристикой, и в ряде случаев рассматриваются фонетические и словообразовательные варианты слов. За толкованием слова следуют контексты-иллюстрации с указанием источника. Никитина обращает внимание и на синонимию в молодёжном жаргоне.

В наши дни издаются поразительно много словарей – традиционные и электронные. Словари собирают выражения, раньше несистематизированные, или же переоформленные. Возьмём для примера *Космический словарь*, *Уфологический словарь*, *Церковно-исторический словарь* или *Словарь московского арго*. Наряду с рассматриваемой книгой, Т. Г. Никитина опубликовала и другую подобную работу (*Толковый словарь языка совдепии*),

написанную вместе с В. М. Мокиенко в 1998 году. Достоинство и той, и другой книги в том, что они обе свежие, учитывая и то, что они могут быть пополнены новыми статьями и в будущем, так как процесс появления и распространения новых сленговых выражений ещё незакончен.

Довольно трудную задачу поставила Т. Г. Никитина перед собой, пытаясь дать полную картину молодёжного лексикона наших дней. Всё же, автор отлично справляется с поставленной задачей, читатели получают в руки требовательную, всестороннюю работу, предлагающую им помощь в разборке в джунглях нынешнего молодёжного языка.

Вряд ли нужно доказывать, как ценны подобные работы для переводчика. По рекомендации автора, книга "предназначается и для специалистов-лингвистов, социологов, психологов, а также широкого круга читателей, интересующихся языком и проблемами молодёжи".

Настоящая работа представляет собой вовсе не сухой словарь, а наоборот, перелистывая её, она оказывается действительно интересной книгой с наглядными и удачно выбранными примерами, возбуждая интерес читателя к новейшим словам и подстрекая любопытство и неспециалистов.

К. К. Ковач

Новые учебники по грамматике современного русского языка

Учебник, как один из книжных жанров, дает возможность подытожить те достигнутые результаты данной дисциплины, которые являются важными с точки зрения автора, и изложить их теоретический фон. В то же время его задача облегчить понимание и усвоение материала дидактическими средствами и найти идеальную систему, чтобы разобраться в нем.

В последние три года два похожих по содержанию учебника появлялись в географически отдаленных друг от друга странах. Цель обоих учебников – представить современную русскую грамматику обучащимся русскому как иностранному языку. Их основным принципом является дать самые современные, полезные знания, обращаясь к новым результатам исследований системы русского языка.

В последующем проследим содержание двух учебников с точки зрения используемых научных направлений и их методологического построения.

R. Comtet, *Grammaire du russe contemporain (Современная русская грамматика).* ISBN: 2-85816-313-8. Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 1997, pp. 495

Автор книги – профессор славянской кафедры в Тулузском университете, общеизвестный исследователь современного русского языка – опубликовал не

первую свою *Русскую грамматику*[4].

Новый учебник написан в соответствии с программой по современному русскому языку для филологических факультетов, адресован в первую очередь студентам вузов и преподавателям, специализирующимся на русском языке, но круг действительных адресатов гораздо шире. Учебник написан на французском языке, так строгое и в то же время простое описание может оказаться полезным и другим филологам, желающим познакомиться с внутренними механизмами русского языка. Множество примеров дается на русском языке, которые почти всегда сопровождаются переводом на французский.

В предисловии автор говорит о целях работы: описать основу лингвистического строя русского языка, приняв во внимание устную и письменную речи. Основной подход к описанию – фонологический и структуралистский, акцентируя в изучении каждого вопроса специфику русского языка.

Перед введением даются употребляемые им сокращения и знаки логических отношений. В введении определяется русский язык во время и в пространстве: говорится несколько слов о его истории, его месте среди индо-европейских и самих славянских языков, оформлении его диалектов и самого литературного языка.

Учебник состоит из трех главных частей: I. Графика, фонология и фонетика, II. Морфология и морфосинтаксис, III. Синтаксис фразы.

Первую главную часть Комте начинает с особенностей русской графики и орфографии, а потом выдвигает на первый план те признаки пунктуации, употребление которых отличается от французского (напр., точка с запятой встречается меньше в русском, в русском языке запятая употребляется перед союзами сравнительной степени, но не во французском *(он лучше говорит, чем сестра - il parle mieux que sa soeur)*.

Следующий раздел касается проблем международной транслитерации *(Хачатурян = Xaèaturjan)*, транскрипции с русского на французский *(Чехов = Tchekhov)* и с французского на русский *(Georges Sand = Жорж Санд)*. Автор подчеркивает их преимущество и обращает внимание на примеры, вызывающие колебания в применении правил *(Белинский = Bielinski ≅ Belinski; Рублев = Rublev; Огонек = Ogoniok)*, или же на примеры, оправданные традицией *(Москва = Moscou; Петр Великий = Pierre le Grand)*.

В самом начале раздела *Фонология и фонетика* дается определение фонетики *(изучает материальный элемент произношения, совокупность звуковых явлений, для которых фонологическая система служит источником)*. Автор различает сегментную фонологию *(изучает изолированные звуки, как самостоятельные единицы с функциональной точки зрения)*, и супрасегментную *(изучает, с той же точки зрения, отношение ударных и безударных фонетических единиц, ритм и интонацию или мелодию)* и определяется фонема *(наименьшая единица, не обладая самостоятельным значением, но обладющая смыслоразличительной функцией с помощью оппозиции)*. Как видно, Р. Комте опирается в своем определении фонемы на

---

[4] R. Comtet, *Grammaire russe.* Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 1987.

теории фонологии, высказанной представителями Пражского лингвистического круга и в дальнейшем – Московской фонологической школы. Видимо он старается избежать трактовки о новых – иногда спорных – фонологических направлениях на дидактическом основании.

Разъясняется понятие фонологической позиции и непроверяемой фонемы, для обозначения которой автор употребляет своеобразную транскрипцию, напр. в транскрипции слова *топор* употребляет знак° для обозначения фонемной твердости, а для передачи безударного гласного – этимологическое написание гласного в скобках */t°(o)p°or°/.* (В международной фонематической транскрипции это слово фигурирует как */tɑpor/).* Описываются артикуляционная база и виды артикуляции, типичные для русской речи. Потом дается краткая характеристика согласных и гласных фонем русского языка. Мягкость согласных не обозначается перед фонемой /e/, напр. */m°ne, um(e)ret/.* Это объясняется тем, что из парных согласных по твердости - мягкости появляется всегда мягкая пара в данном положении, исключениями являются только слова, иностранного происхождения *(дельта [dɛ:l'tə], бифштекс [b'ifštɛ:ks]),* и кроме оппозиции *постель [p∧st'é:l'] и пастель [p∧sté:l']*, нет другого случая, когда не действует смягчающее воздействие звука ‚e' на предыдущий согласный. Итоговые таблицы и примеры фонематической транскрипции помогают закреплению материала.

Различия между русскими и французскими звуками речи большие, поэтому дается фонетическая характерестика русских согласных и гласных в сопоставлении с французскими *(русские шипящие являются более твердыми чем французские, артикуляция йота мягкая, как и во французском).* Кратко разъясняются фонетические положения, явления ассимиляции, диссимиляции. Перечисляются проблемы, словами автора "incompatibilités - несоответствия" традиционных написаний, которые возникают снова при описании парадигм.

Оригинальным приемом автора является то, что раздел *Морфемика* – членение слов на морфемы – рассматривается в главе *Графика, фонология и фонетика,* что обусловлено тесной связью между морфемами и фонемами на стыке слов.

Перед вступительным словом к морфологии Комте считает важным говорить о двух явлениях, отсутствующих во французском, затрудняющие усвоение русского языка: чередование согласных (альтернации в результате славянской палатализации), и о явлении беглого гласного (альтернация /0/ ↔ /o/ /e/ /i/).

Центральной главой и по объему, и по важности учебника является *Морфология и морфосинтаксис,* в которой дается общая характеристика частей речи по русской лингвистической традиции структурализма. Описание употреблений временных и видовых форм глагола осуществляется по трудам французских авторов. Описание частей речи основывается на последовательном построении следующих структурных элементов: определение и типология данной части речи, первые и вторые грамматические категории, образование, морфологическое описание, парадигмы, примечания, проблема беглого гласного, особенности, чередование согласных в корнях, ударение, исключения.

В морфологическом описании сравнения с французским языком

отсутствуют, кроме нескольких замечаний, однако французский перевод помогает ориентации *(Я буду работать {весь день}. = Je vais travailler toute la journée. Я буду работать завтра. = Je travaillerai demain.)*

При анализе частей речи автор выдвигает на первый план морфосинтаксис. Он излагает правила оформлений словосочетаний, т.е. каким путем образует данная часть речи синтагму с другой частью речи, и какие функции они могут выполнять в предложении. Напр. синтаксис прилагательного, как субъектного предикатива: с глаголом повелительного наклонения употребляется краткая форма *(Будьте добры!)*, синтаксис исчисляемого внутри числительной синтагмы: 1000 и кратные склоняются в требуемом падеже, а существительное остается в родительном падеже *(его состояние равнялось семи миллионам рублей)*.

Третья часть – синтаксис, точнее *Синтаксис фразы*, но изучение синтаксиса, как это было отмечено нами, уже началось в предыдущих разделах. Глава начинается с анализа порядка слов, в котором автор подчеркивает, что в русском языке система падежных окончаний богаче, чем во французском, которая дает свободу в организации порядка слов. Однако, как утверждает автор, свобода относительная. Порядок слов имеет свои функции – синтаксическую *(Учитель – мой брат. Мой брат – учитель.)*, коммуникативную *(актуальное членение)*, экспрессивную *(Гости разошлись. /нейтр./, Разошлись гости. /экспр./)* и стилистическую. Следующий раздел содержит в себе типологию предложений и трансформаций по модальности.

В дальнейшем даются принципы классификации и типология простого и придаточного предложений. В основном характеристика традиционная, но автор осторожно прибегает к порождающей и трансформационной грамматике, когда представляется им система зависящих элементов с помощью графического изображения. Также указывается коротко на возможный подход к классификации глагольных управлений, учитывая валентность глаголов.

Множество примеров и их французский эквивалент помогают студентам в усвоении предлагаемого материала.

У Комте мы не находим самостоятельных разделов о лексикологии, семантике или о словообразовании, но на каждом уровне автор старался включить в анализ семантический компонент грамматики. Напр., при анализе глагольных приставок (см. XXXV. раздел) мы встретимся с вопросом их лексического действия, когда глагол – пишет Комте – *"может обладать более богатым значением благодаря приставке" (смотреть – рассмотреть, строить – перестроить)*. Кроме того третий подраздел посвящен семантике глагольных приставок. Можно найти и элементы фразеологии, в основном при изучении предлогов *(чай с молоком – du the au lait, он пошел в актеры - il s'est fait acteur)* (см. XLVII. раздел). Автор сам выделяет предложные обороты *(от имени директора – de la part du directeur)*, т.е. укоренившие обороты и говорит, что *"видение мира может быть разным во французском и русском языках" (ключ в двери – la clef est sur la porte)*.

В другом контексте можно найти подраздел о более употребительных префиксальных морфемах (глагольные приставки), так же о суффиксальных, (они связаны с образованием причастий, деепричастий, превосходной степени или притяжательного прилагательного). Обращает на себя внимание

Комте описывает нормы современного литературного русского языка, но часто дает нам примеры отклонений от норм. Слова часто сопроваждаются разными стилистическими пометами: просторечие *(по случаю дождя)*, разговорный *(во сколько?, Петр где?)*, возвышенный *(во имя отца)*, официальный *(в десять часов ноль минут)*.

В конце учебника находится библиография, имеющаяся две части. Первая часть содержит в себе литературу, опубликованную в бывшем СССР и России, а вторая – вне СССР и России.

Современный русский язык. Фонетика, Лексикология, Словообразование, Морфология, Синтаксис. 2-е изд[5]., исправленное и дополненное, под общ. ред. Л.А. Новикова. **ISBN 5-8114-0128-0.** Изд-во «Лань», Санкт-Петербург, 1999, 864 с.

Данный учебник является результатом сотрудничества коллектива авторов Л.А. Новиков, Л.Г. Зубкова, О.А. Крылова, В.И. Петрянкина, Е.И. Кедайтене, А.С. Феоктистова, И.Г. Милославский, Л.Ю. Максимов, М.А. Шелякин, В.В. Иванов, В.В. Лопатин, А.Н. Тихонов, Е.Н. Ширяев.

Научное знание языка основывается – по мнеиию авторов – *"на его сознательном владении, на понимании закономерностей его системной организации и функционирования"*, которое дает *"достаточное основание для того, чтобы учить языку других"*. Учебник предназначен для подготовки будущих преподавателей русского языка как иностранного и неродного и представляет собой теоретический курс, в котором дается – по желанию авторов – системно-функциональное описание современного русского языка.

Учебник состоит из пяти частей и охватывает все основные уровни русского языка: фонетику, лексикологию, словообразование, морфологию и синтаксис. Основной принцип описания, принятый авторами, раскрытие функционирования языковых единиц (позиционные и комбинаторные изменения звуков, синтагматика фонем, функция ударения и интонации, функции лексико-семантических классов слов, закономерности сочетаемости словообразовательных средств, коммуникативные аспекты предложения). Показ функционирования осуществляется на основе соотнесения их парадигматических и синтагматических характеристик, системы и функций, разграничения позиций дифференциации и нейтрализации, степени позиционной обусловленности единиц, раскрытия способов транспозиции форм.

Во всех разделах учебника авторы стремились дополнить семасиологический подход к описанию языка, т.е. от средств выражения к их значению (напр. значение форм времени, вида, падежа) ономасиологическим. В курсе показана возможность систематизации единиц и категорий языка по

---

[5] Первое издание вышло в четырех томах: *Фонетика.* (1985), *Лексикология.* (1987), *Словообразование. Морфология.* (1989) в Издательстве «Русский язык»
Синтаксис. (1997) в Издательстве Российского университета дружбы народов.

семасиологический подход к описанию языка, т.е. от средств выражения к их значению (напр. значение форм времени, вида, падежа) ономасиологическим. В курсе показана возможность систематизации единиц и категорий языка по смыслам, понятийным категориям в направлении от значения к средствам выражения (лексико-семантические группы, семантические поля, словообразовательные типы и гнезда, аспектуальность и темпоральность, элементы семантического синтаксиса).

В начале каждой части даются определения, разъясняются понятия, выделяются основные единицы данной дисциплины. Первая часть – *Фонетика* – раздел языкознания, изучающий звуковые единицы языка. В фонетике выделяются фонетический аспект с артикуляционно-акустической стороны (звуковая система, которая реально представлена в речи) и фонологический аспект с функциональной стороны (фонемная система, играющая роль в различении слов и словоформ). Авторы опираются на теорию Московской фонологической школы, выделяют пять гласных фонем, в разных фонологических позициях появляются их аллофоны.

Интересно отметить, что в соответствии с функциональным подходом к описанию отмечается, что в заимствованных словах и в аббревиатурах начали появляться сочетания твердого согласного с <е>. Ср.: пэр [пэр], купе [купэ], бек [бэк], КБ (кабэ) [к∧бэ], ВЭФ [вэф], мэр [мэр], Ромэн [р∧мэн], кафе [к∧фэ], ТЭЦ [тэц], бретель [б'р'и^{e}тэ·л'], патэ [п∧тэ], дека [дэкъ], модель [м∧дэ·л'], дельта [дэ·л'тъ], Додэ [д∧дэ], СЭВ [сэв], эсер [ɜ̆сэр], шоссе [ш∧с̆э], зет [зэт], НЭП [нэп], кашне [к∧шнэ], ЛЭП [лэп], Рэм [рэм], каре [к∧рэ], Кэт [кэт], ГЭС [гэс]. Авторы подводят итоги, что *"наличие подобных слов в языке и их достаточная употребительность дают возможность утверждать, что в современном русском языке запрет на сочетания твердых согласных с <е> снят. Это тем более очевидно, что этот закон издавна не действовал при сочетании <е> с шипящими <ш>, <ж> и аффрикатой <ц>, которые выступают как внутри, так и на стыке морфем. Поэтому в современном русском языке позиция твердых и мягких согласных перед <е> по существу оказывается такой же, что и позиция перед остальными гласными".*

Вторая часть – *Лексикология*, ее основной единицей является слово, элементарной – лексико-семантический вариант слова. В лексикологии слово рассматривается как единица словарного состава языка со свойственными ему предметными значениями и системой словоизменительных форм. Так как они всегда что-то обозначают, лексикология связана с семантикой – наукой о значении. Изучение значения в лексической семантике может вестись в двух направлениях. От формы слова к его значению – семасиология, и от плана содержания к плану выражения – ономасиология. Для разъяснения значения лексических единиц употребляется известный семантический треугольник: предмет – содержание знака – знак. В верхнем углу отделяются понятие и лексическое значение. В свободном словосочетании каждое слово реализует одно из своих лексических значений, значение этого словосочетания равняется сумме значений его составляющих. В устойчивом словосочетании лексическом значением обладает оборот в целом. В дальнейшем даются категориальные лексико-семантические отношения и классы единиц, внутренние свойства которых раскрываются в их функциях – семантических и стилистических.

Классификация лексики русского языка происходит с разных точек зрения: происхождения, активности-пассивности употребления и стиля. Отдельный раздел посвящен фразеологизмам, которые, кроме целостного значения, обладают еще рядом специфических черт. В последнем разделе описываются принципы выделения различных типов словарей и их классификации, разработанные Л. В. Щербой, и представляются основные словари русского языка.

Третья часть русского учебника – *Словообразование*, которое является важным звеном, связующим лексику с грамматикой, изучающее слова, между которыми существует двойная связь – общность предметного содержания и фонетического оформления. В начале главы описывается морфемный состав слова и даются принципы членения слов на морфы. Важным приемом является, что кроме теоретического значения (установить типы значимых частей слова и характер отношений между словами, имеющие общие значимые части) представляется и практическое значение, которое позволяет получать значение неизвестного слова из значений составляющих его частей, а также образовывать новое слово от имеющегося (перечисляются наиболее употребительные префиксальные и суффиксальные морфемы с точки зрения их значения и способности сочетаться с разными частями речи и семантические типы деривационных отношений).

Четвертая часть – *Морфология*, в которой изложенная традиционная система десяти частей речи (существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие, предлоги, союзы, частицы, междометие) не является в современной грамматике общепринятой. Границы между частями речи подвижны, широко распространены явления переходности частей речи, грамматической частеречной омонимии, которые тоже описываются в конце главы. Морфологическое описание каждой из знаменательных частей речи включает рассмотрение ее лексико-грамматических разрядов, морфологических категорий и парадигматики. Служебные части речи и междометия характеризуются с точки зрения их функций и структуры.

Пятая часть – *Синтаксис*, изучающая законы организации связной речи, способы соединения слов в речи, т.е. в процессе коммуникации. Основной синтаксической единицей является предложение, вторичной – словосочетание. Между членами сочинительных и подчинительных словосочетаний имеются смысловые отношения (объектные, определительные, обстоятельственные, комплетивные), которые могут выражаться согласованием, управлением и примыканием. В отличие от слова и словосочетания, предложение выполняет не номинативную, а коммуникативную функцию, т.е. служит не для названия, а для сообщения. Кроме этого оно обладает грамматическим значением предикативности и интонацией законченности.

Анализ как и простых, так и сложных предложений содержит три аспекта. Первый аспект – аспект конструктивно-синтаксической организации, в котором определяется структурная схема предложения. Этот аспект анализа основывается на синтаксической концепции Пражской лингвистической школы. Формула предложений, построенная чешскими лингвистами только на глагольных предложениях, была расширена Н. Ю. Шведовой на безглагольные предложения. Шведова предлагает делить предложения на однокомпонентные и двухкомпонентные. Второй – аспект коммуникативно-

начиная с В. Матезиуса – одного из лингвистов пражского лингвистического кружка – изучается синтаксисом. Эти два аспекта представляют собой план формально-синтаксической структуры предложения. Третий аспект организации предложения, назван семантико-синтаксическим – план неформальной синтаксической структуры. Неформальная семантика предложения определяется его конкретным содержанием (мысли человека об окружающей среде). Это – как нам кажется – представляет собой анализ предложения с точки зрения прагматики.

В конце курса находится систематическая литература к каждой главе отдельно. Названные труды, кроме нескольких, труды советских и русских исследователей, опубликовались в бывшем СССР, СНГ и России.

Не смотря на то, что задача учебников общая – описывать современный русский язык, и что они сходные по содержанию, но они разные по объему развернутых тем и по построению. Курс профессора Комте более практический. Традиционный подход к описанию позволяет студентам привести в осознанную систему ранее приобретенные знания. Вопреки этому русский курс, опубликованный в России, дает синтез теорий, достигнутых результатов. Оба учебника – в рамках используемых теоретических фонов – проявили свои возможности, осуществили свои цели.

К тому же, они предъявляют новые требования. Исходя из других теоретических оснований, система русского языка может быть исходным пунктом для новых общелингвистических описаний. Особенно в области синтаксиса открывается широкое поле перед раскрытием глубинной и поверхностной структуры методами порождающей грамматики, или распространением принципов грамматики по теории валентности и на русский язык.

Ю. Шовари

Лайош Гёнц: *Венгерский язык в Югославии (в Воеводине)*
Будапешт – Уйвидек 1999, 288 с.
Göncz Lajos: *A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban)*
Budapest – Újvidék, 1999.

Лайош Гёнц, профессор-лингвист Новисадского университета, в 1999 году издал книгу под заглавием *Венгерский язык в Югославии (в Воеводине).* Книга является вторым томом серии *Венгерский язык в Карпатском бассейне в конце XX века.* Автор в своем исследовании при помощи методов и средств современной лингвистики изучает язык венгров, оказавшихся после Трианонского соглашения в меньшинстве в сложившейся новой Югославии. Авторы других томов серии, как и Лайош Гёнц, в сотрудничестве с зарубежными венгерскими лингвистами выявляют языковые особенности венгерских национальных меньшинств, живущих в окружающих Венгрию странах: в Словакии, Украине, Румынии, Югославии, Словении, Австрии.

зарубежными венгерскими лингвистами выявляют языковые особенности венгерских национальных меньшинств, живущих в окружающих Венгрию странах: в Словакии, Украине, Румынии, Югославии, Словении, Австрии.

После введения автор в семи главах рассматривает общественные, политические, экономические, культурные и языковые особенности автохтонной в Воеводине венгерской народности. Постоянно меняющиеся обстоятельства сильно повлияли на социолингвистическую специфику этой территории, и книга показывает последствия этого воздействия. В первой тематической части дается анализ географических и демографических особенностей этого региона. Автор – между прочим – обращает внимание на то, что в 1991 году венгры составляли 3,3 % всего населения Югославии, и 16,86 % Воеводины. Большинство из них населяло Бачку (73,8%) и Банат (24,3%) и меньшая часть (1,9%) жила в Сремии. Остальные венгры составляли острова. Эти цифры и факты подчеркивают тезис автора, которым он утверждает, что географическое положение определяет степень и интенсивность взаимоотношений разных этнических группировок, и связь с родиной.

В дальнейшем дается исторический обзор жизни венгров в Воеводине с середины IX века вплоть до наших дней. Автор уделяет особое внимание этническим сдвигам в этом регионе после Трианонского соглашения. Вслед за этими вопросами исследователь раскрывает важнейшие элементы политики, экономики, культуры и религии, связанные с венгерской народностью. В итоге он доказывает, что Воеводина по всем вышеупомянутым вопросам уже много веков является неоднородной территорией, но все-таки между разными национальностями долгое время господствовали взаимопонимание, уважение друг к другу и терпимость. Но теперешняя политическая власть сильнее всех предыдущих по этническим, национальным, культурным и языковым вопросам превращала отношения в иерархические, в первую очередь в ущерб венгерского меньшинства. За прошедшие восемь десятилетий венгры в Воеводине оказались в более жалком положении даже по сравнению с другими национальностями Югославии. Это проявляется в ухудшении экономических, общественных, географических, территориально-административных, политических, культурно-языковых и психологических положений. Между двумя мировыми войнами, когда люди были еще под влиянием шока, вызванного Трианонским соглашением, литература приняла на себя ответственность в Воеводине за сохранение духовных ценностей венгров. Лучшие представители этой литературы старались выразить думы и чаяния людей, и при этом развивать родной язык так, чтобы в нем выражалась и привязанность к потерянной родине.

После окончания войны компартия Югославии на своих конгрессах провозгласила равенство всех наций и национальностей, живущих в рамках союзной державы. Но в 50-е годы эта теория была заменена новой, в основе которой лежало т.н. "совместное развитие культуры", и вместе с тем борьба против "националистических" стремлений венгров. Последние казались действительно обособленными от славянской среды, так как они сохранили свои национальные особенности и, конечно, свой язык. Чтобы остановить этот естественный процесс, сербы, в силу закона заставили все национальные общества соединяться под вышеупомянутым лозунгом совместного развития

культуры. В новых культурных объединениях они – как большинство – присвоили себе руководящую роль. Наряду с этим процессом венгров начали отстранять от административных функций, уменьшалось количество государственных служащих венгерской национальности, увеличилось чиисло безработных среди них, и все это негативно отразилось на демографических явлениях.

В области религии положение тоже безнадежное. В то время, когда, например, в Трансильвании церковь играет определяющую роль в борьбе за сохранение национальных особенностей венгров, то в Югославии такого стремления нет, точнее: у католической и реформматской церквей там нет определенной концепции по этому вопросу. А положение венгров постепенно ухудшается в первую очередь в экономике, но не менее в общественной области, и все это сопровождается усиливающейся ассимиляцией со стороны сербов.

Четвертая глава исследует взаимодействия соприкасающихся языков и этнических характеров, выдвигая на первый план генетические и типологические особенности венгров и сербов. Автор считает главными проблемами снижение численности населения в данной системе у венгров и неопределенность роли личности в этой разнородной среде. На основании проведенных тестов удалось установить, что большинство венгерского селения в Воеводине не хочет ни работать, ни учиться в Венгрии. Это – по мнению автора – указывает на эффективное психологическое воздействие на них.

Следующая тематическая часть посвящена социо- и психолингвистическим особенностям соприкасающихся языков, находящихся в тесных контактах между собой, но резко отличающихся друг от друга в функции. В силу этого можно наблюдать, что сербский язык в Воеводине на всех трех уровнях употребления (семейный и повседневный, общественный и деловой, публицистический и литературный) выполняет свои функции. Но венгерский, и все языки национальных меньшинств, находящиеся в подобном положении в Югославии, могут действовать только при более суженной, редуцированной обстановке. Из этого следует, что венгры в Воеводине, хотя считают себя членами венгерской нации, связываются в первую очередь со своим городом или деревней. В языковом отношении характерно для них двуязычие, но сербский все интенсивнее проникает в так называемый "высокий стиль", и вытесняет оттуда родной. Это в частности объясняется и тем, что овладение венгерским языком происходит исключительно в семейном кругу, в школе уже мало возможностей для усовершенствования родного языка. Сербский язык доминирует и в школах, и в жизни, и следствия этого нежелательны не только по отношению к венграм, но и другим национальностям Югославии. Исходя из этого Лайош Гёнц считает важным исследовать последствия обучения в школах в Воеводине на двух языках. Он анализирует, как влияет этот процесс на мышление детей, и делает вывод, что это не объязательно отрицательное явление. Все зависит оттого, на каком уровне происходит обучение. Если оно развивает личность учащихся, влияет на глубину мышления, то у этих детей появляется стремление к улучшению и другого языка. Гёнц обращает внимание и на то, что в национальном окружении – значит вне родины – ни учебный материал, ни методы не могут быть такими эффективными, как на родине, надо объязательно приспособить их к иным обстоятельствам. По его мнению

усилия надо направить на то, чтобы оба языка были способны к выражению оттенков речи в разных жизненных ситуациях. Автор с помощью анкет хотел узнать, считают ли себя состоявшимися в жизни те, кто в Воеводине говорит на венгерском языке. Цифры показывают, что в этом отношении есть серьезные проблемы.

Следующая часть книги занимается вопросом, как относится языкознание к проблематике языковых контактов. Автор крупным планом показывает состояние венгерского языка при помощи разных тестов и исследований в этой области и придет к выводу, ссылаясь и на работы Михая Агоштона, что люди в Воеводине, даже говорящие на венгерском разговорном языке, выражают себя в неразвитом, скудном, неопределенном стиле, при помощи иноязычных оборотов, выражений, слов. Ухудшение состояния языка выявляется в "зеркальном переводе", бессмысленных словоформах, неправильном порядке слов, грамматических ошибках и ошибочных управлениях. Все эти отклонения от стандарта являются последствиями непосредственных контактов языков, и они сильно определяют прагматический уровень венгерской речи в Воеводине. Тесты, на основании которых автор сделал эти выводы, были составлены с научной точностью, и концентрировали внимание на то, чем отличается язык венгров в Воеводине от венгерского стандарта.

Лайош Гёнц обращает внимание и на тот печальный факт, что все нежелательные влияния на языковую, этническую, культурную и религиозную сферу этого разнородного жизненного пространства вызывают реакцию спасаться, начиная от физического бегства (эмиграция), и кончая с языковым (принятие другого языка). Выход из этого положения можно найти только в том случае, если за признание языков разных национальностей можно будет бороться не только отказом от другого.

В приложении к книге представлены анкеты и тесты, которые были использованы автором в 1996 году, и на основании которых он изучал расхождения между употреблением разных языковых категорий в Воеводине и на родине.

Значение книги Лайоша Гёнца велико, поскольку он выработал другой подход к языку венгров в Воеводине, отличающийся от традиционной точки зрения сторонников культуры речи. Он показывает, как употребляют венгры свой родной язык в повседневной жизни при сильном преобладании сербского языка в условиях двуязычия. Венгры в Воеводине говорят не на том „едином и неразделимом" венгерском языке, отклонение от которого долгое время считалось – и отчасти и сегодня считается – ошибкой. Подход автора является щекотливым в том отношении, что его легко могут обвинять в „предательстве" по отношению к венгерскому языку, говоря, что, анализируя и показывая языковую полифонию в Воеводине, он не считает ошибкой отклонения от языкового стандарта. Этим подходом он помогает ассимиляции языка, подтверждая, что интерференции являются "всеобщим и естественным языковым фактом". Но если подходить к позиции автора эмоционально объективно, можно сказать, что исследование написано с социолингвистической вдохновенностью. Оно изучает живой язык, без отрыва его от тех, кто пользуется им, значит: показывает состояние разных языковых разновидностей венгерского языка, с целью оказать помощь более интенсивному развитию речи вне родины.

Воеводине. Изучая состояние венгерского языка, ученые долгое время могут ссылаться на результаты этой работы.

M. Fonalka

Hetesi István: Művek, kapcsolódások. Puskin és Turgenyev tanulmányok (Произведения и связи. Очерки по творчеству Пушкина и Тургенева). Pécs, 1999, 157 c.

2000-й год является значительной вехой в истории венгерской рецепции русской литературы. Ровно 175 лет прошло с тех пор как имя А. С. Пушкина впервые появилось в приложении к газете *Hazai tudósítások* (*Отечественные ведомости*).

После восстания декабристов в 1825-м году в венгерской печати увеличилось количество статей, отчетов о России. Возросший интерес к русской действительности наглядно иллюстрирует тот факт, что за один год издания газеты *Hazai tudósítások* в ней появилось 67 статей на русскую тему. (Раньше в этом органе публиковались известия о России только очень редко и случайно.) Имя И. С. Тургенева тоже присутствует в венгерской переводной литературе и литературной критике, т.е. в сознании образованного читателя почти 150 лет. В популяризации произведений Пушкина с первой четверти XIX-го века играл определяющую роль Ференц Толди (Toldy Ferenc – 1805-1873) и его ученик Габор Казинци (Kazinczy Gábor – 1818-1864). А произведения И. С. Тургенева с 1850-х годов представили такие выдающиеся личности венгерской литературы, как Янош Арань (Arany János – 1817-1882), один из величайших венгерских поэтов, публицист и писатель Пал Дюлаи (Gyulai Pál – 1826-1909) и замечательный прозаик, Дюла Круди (Krúdy Gyula – 1878-1933). До 1866 языком-посредником художественного перевода в большинстве случаев являлся немецкий, но, например Карой Берци (Bérczy Károly) и Имре Зилахи (Zilahy Imre), которые перевели *Евгения Онегина* Пушкина с немецкого на венгерский позже овладели русским языком в такой мере, что они могли переводить с оригинала.

За прошедшие 175 лет венгерская рецепция русской литературы произошла через огромные количественные и качественные изменения. В результате развития практики и теории художественного перевода, истории литературы и критики, сравнительного литературоведения, эстетики и поэтики рецепции она стала органической частью и обновляющимся источником литературоведения в Венгрии. Среди многочисленных статей, научных очерков, сборников статей, появившихся в венгерских и иностранных журналах и у венгерских издательств, занимают значительное место два сборника суммарного

в Венгрии. Среди многочисленных статей, научных очерков, сборников статей, появившихся в венгерских и иностранных журналах и у венгерских издательств, занимают значительное место два сборника суммарного характера: изданный в 1961-ом году трехтомник *Русско-венгерские литературные связи* под редакцией Габора Г. Кеменя (Kemény G. Gábor) и два первых тома сборника *Русские писатели глазами венгров* под редакцией Жужи Д. Зельдхейи (Zöldhelyi Zsuzsa) в 1983 и 1985 г.г.

Настоящий сборник статей печского ученого-русиста, появившийся в 1999, органически связан с исследованиями предшественников, касающихся истории рецепции и воздействия русской литературы в Венгрии. 10 очерков сборника убедительно репрезентируют научные достижения их автора.

Ряд работ открывают две статьи о Пушкине. Первая из них – *Канон и отклонение* – является сравнительным анализом поэм Байрона *Корсар* и Пушкина *Кавказский пленник*. Сравнение двух поэм Иштван Хетеши проводит на основе создания образов, оппозиции 'герой – героиня' и по анализу композиционной роли любовного конфликта. В начале своей статьи автор исходит из важной принципиально-теоретической позиции: "Сформировавшийся в восточных поэмах Байрона жанровый канон романтической поэмы [...] не каменеет, но в соответствии с гениальной интегрирующей способностью русского поэта начинает изменяньтся уже в первой южной поэме." Несколько позже автор статьи уточняет, что подразумевает под "изменением": "канонизируемые вслед за Байроном знаки [...] обозначают не простое принятие, но и диалог, и своеобразное переосмысление". В своем анализе автор пункт за пунктом доказывает этот важный теоретический тезис.

Вторая статья сборника анализирует "последнее законченное прозаическое поизведение" великого русского поэта, роман *Капитанская дочка*. Конечно, и в этом случае "идет речь о влиянии не механического, а конструктивно последованного" образца мировой литературы. Для Пушкина этот образец обозначают исторические романы начала XIX-го в. Но смотря на свойства его композиции, особенно на начало и концовку романа, *Капитанская дочка* является органическим продолжением пушкинского опыта, т.е. в этом ее структура похожа на структуру *Евгения Онегина*: "Как у того, что герой романа в стихах в первой главе оставляет Петербург, потом в конце своего пути возвращается туда же, в великосветское общество, есть семантическое значение, так же полно смысла возвращение Гринева, оставившего родовое имение. Но закрытие композиции не обозначает неизменность: и в мире, и в героях есть нечто постоянное, есть нечто изменяющееся навсегда" – пишет автор.

Последующие очерки сборника И. Хетеши по их теоретической позиции в дальнейшем подходят к изучаемым произведенем с точки зрения сравнительного литературоведения. Все пять очерков, посвященных творчеству Тургенева, обращают внимание на органическую связь, постоянный диалог, сходства и различия между "европеизмом" и "русским характером" в творчестве великого прозаика. В анализе романа Тургенева *Отцы и дети*, как предпосылку, И. Хетеши снова выдвигает спорную, но далеко не решенную проблему "лишнего человека". Автор статьи указывает на то, что *Онегин* Пушкина, *Герой нашего времени* Лермонтова, *Кто виноват?*

Герцена, *Обломов* Гончарова и *Рудин* Тургенева обозначают "русскую карьеру" "лишнего человека". По мнению Хетеши то, что их связывает и в то же время отделяет от английских (Байрон) и французских литературных образцов начала XIX-ого века (Б. Констан, Мюссе), потом от героев Стендаля и Бальзака, это то, что воплощающие русского "лишнего человека" герои "являются представителями дворянской культуры, которым эпоха в начале не дает разумную форму действия, а в последствии, углубляясь в себя, они окажутся неспособными к действию, даже и тогда, когда обстоятельства потребуют этого от них." В судьбах своих героев Тургенев изображает определенный кризис ценностей. Когда "интеллигент, представляющий традиционные дворянские ценности, по своим моральным, психическим и волевым качествам не выдерживает испытания практики, он неспособен сменить слова поступками, его гамлетовские рефлексии препятствуют решительному действию." Поэтому Тургенев обращается к новому типу героя. И. Хетеши дает основательный анализ мышления, поступков образа интеллигента Базарова, неудачи его возможностей, скрывающихся в человеческих связях. Смерть Базарова он называет "трагически величественной", его бунт он толкует как нарушение высшей гармонии жизни и природы.

Тесную творческую связь тургеневского творчества с европейской культурой, философией, литературой анализируют последующие три очерка сборника: *Гамлет и Тургенев*, *Жизненная струя как мотив и архетип в произведениях Тургенева* и *Европейские и национальные традиции в рассказе Тургенева "Вешние воды"*, И. Хетеши уже упомянул в своих работах, что "образ Гамлета интересует Тургенева почти с самого раннего периода его творчества." Писатель считает Гамлета архетипом, т.е. воплощением "общечеловеческой формы поведения". Так как Тургенев считает архетипом и Дон Кихота, свойства их характеров и борьбу он соединяет в образе своего героя Рудина.

Статья *Жизненная струя как мотив...* в основном занимается каждым важным этапом прозы Тургенева с ранных произведений до цикла *Стихотворения в прозе*. Теоретические основы статьи связаны с взглядами Фрея, Евы Димеши и В. Кайзера об архетипе и мифе. В результате обозрения творчества Тургенева И. Хетеши приходит к важным выводам. Он пишет: "Взгляды Тургенева о жизни, о природе не составляют философскую систему", но их многочисленные элементы уже с самого начала присутствуют в его произведениях. Они постепенно соеденяются в единое мнение, которое изменяется до последних произведений, и, в конце концов представляет собой единое мировоззрение писателя с европейским кругозором. "Мировоззрение писателя не апокалиптично: в природе, в жизни мира он предполагает гармонию. Эта гармония представляет собой универсальную силу, в которую вливаются все индивидуальные стремления или по доброй воле, или под влиянием воли природы, если необходимо, ценой трагедии."

В последней части своего сборника И. Хетеши анализирует живое влияние Тургенева на творчество венгерских писателей, таких, как Элек Гожду (Gozsdu Elek – 1849-1919), Дюла Ревицки, (Reviczky Gyula – 1855-1889) и Иштван Петелеи (Petelei István – 1852-1910). Это влияние отражается в "диалоге произведений", сюжетных и комиозиционных моментах, создании образов и

конфликтов, интертекстуальных ссылках, т.е. оно осуществляется и на уровне содержания, и на уровне поэтических элементов.

Книга Иштвана Хетеши со своей теоретической открытостью, импонирующей профессиональной основательностью, с хорошим стилем предназначена для широкого образованного круга читателей, интересующихся русской литературой. В то же время она является доказательством того, что у венгерской русистики, имеющей свои многодесятилетние традиции, есть свое мнение о русской литературе.

А. Й. Мати

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS

SLAVICA XXX, 269-300 2000 DEBRECEN

Index

Triginta Voluminis Annalis Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae

1961-2000

AGYAGÁSI, K. (Debrecen):

1991: An Old Russian Term in Chuvash - kĕneke - Borrowed from the Middle Russian 25:43-50.

1997/a: К этимологии русского диалектного слова *чебак* 'разновидность шапки' 28:209-214

1997/b: Aleksandr Vladimirovič Bondarko: Die Semantik des Verbalaspekts im Russischen 28:240-241.

1997/c: Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР 28:238-239.

1999: К истории славизма *deget* 'колесная мазоль' в венгерских диалектах 29:23-27.

2000: (–Hajnády Zoltán) Исследования по славяноведению на страницах ежегодника *Славика* 30:9-14.

ALLAIN, L. (Lille):

1981: Монархический принцип у Достоевского (К вопросу об отношении автора к герою как важнейшем компоненте структуры "образ автора") 18:123-130.

1984/a: *Герой нашего времени* в художественном восприятии Достоевского 20:65-74.

1984/b: Гуманизм Достоевского в свете антропологии 21:9-24.

1986/a: Обстоятельства утверждения у Ф. М. Достоевского 22 : 95-106.

1986/b: Тургенев и Шопенгауер. К постановлению вопроса 23 : 61-70.

1990: Литературное потомство тройки Гоголя: Пастернак и Гумилев 24:205-220.

ANGYAL, E. (Debrecen):
1961: А. Павел (1896-1946) 1:177-192.
1962: Paul Josef Šafárik als Mensch und Gelehrter 2:3-24.
1963/a: Slawistik und osteuropäische Literaturforschung 3:73-82.
1963/b: † Max Vasmer (1886-1962) 3:141-143.
1963/c: L. Sziklay: A szlovák irodalom története 3:173-174.
1964: Gabriel Kazinczy als Polonophile und Slawist 4:107-119.
1965/a: Romantik und Biedermeier in der Dichtung Ševčenkos 5:49-59.
1965/b: János Melich (1872-1963) 5:187-188.
1965/c: Tadeusz Lehr-Spławiński (1891-1965) 5:193-195.
1965/d: Adolf Stender-Petersen (1893-1963) 5:197-198.
1965/e: Andrej Mráz (1904-1964) 5:199-204.
1965/f: Zum sechzigsten Geburtstag Bratko Krefts 5:209-212.
1966/a: J. Matl: Südslavische Studien 6:193-196
1966/b: Die Slawischen Völker 6:196-197.
1966/c: Poeci polskiego baroku 6:221-223.
1967/a: Krstyn Pejkič, ein bulgarischer Schriftsteller der Barockzeit 7:129-135
1967/b: Nikolaj Kallinikovič Gudzij (1887-1965) 7:185-186.
1967/c: Josef Matl: Europa und die Slaven 7:205 -208.
1968: Johann Meliches Lebensbahn und Schaffen 8:7-23.
1969/a: Béla Sulán (1916-1968) 9:3-8.
1969/b: Dragoljub Pavlović (1903-1966) 9:173-174.
1969/c: Jozef Škultéty (1853-1948) 9:181-188.
БАЛЧЕВА, Э. (София):
1997: Проблемы поэтики современного болгарского романа 28:163-170.
BALLA, T. (Nyíregyháza):
1984: Достоевский и советская литература 21:161-276.
BALOGH I. (Nyíregyháza):
1995: Поэтика коллективной памяти в произведениях Ч. Айтматова 27:217-220.
BÁN I. (Debrecen):
1962: Csanda S.: A törökellenes és kuruc harcok költészetének magyar-szlovák kapcsolatai 2:296-297.
1963: R. Pražák: Mad'arská reformovaná inteligence v českém obrozren 3:175.
BAŃCZEROWSKI J. (Budapest):
1973: Kilka uwag o klasyfikacji słow języka i modelu jego funkcjonowania 12:17-26.
BÁRCZI G. (Budapest) :
1968: Hongrois *korc* < vfr. *cors* 8:25-28.
BÁRDOS A. (Debrecen):
1993: Морфологические алгоритмы и ЭВМ 26:43-52.

BARÓTI T. (Szeged):
1984: Петербургский мечтатель Достоевского и гоголевская традиция 21:205-218.
1986: О проблеме "лишнего человека" у И.С. Тургенева 23 : 367-386.
BARTA J. (Debrecen):
1969: Яношн Арань, его литературный круг и русская литература 9:105-114.
БЕЛЕЦКИЙ, А.А. (Київ):
1966: Глаголы существования и становления в новогреческом языке 6:31-34.
1970: Из наблюдения над морской лексикой венгерского языка 10:109-113.
БЕЛЕЦКИЙ, П.А (Київ):
1968: К вопросу о происхождении названия украинской народной картины "Козак-Мамай" 8:29-32.
БЕЛОДЕД, И.К. (Київ):
1977: Ленинское учение о развитии национальных языков и его воплощение в жизни народов СССР 14:5-16.
BENČIĆ, Ž. (Zagreb):
1995: Предварительные замечания о категории памяти в творчестве Осипа Мандельштама 27:189-196.
2000: Игровые аспекты русского авангарда 30:93-114.
BENKŐ L. (Budapest):
1968: Die Vergangenheit und die Gegenwart der ungarischen etymologischen Forschungen 8:33-44.
BIHARI J. - SALGA A. (Eger):
1979: А.З. Шакирова, научные основы методики обучения категориям вида и времени русского глагола в тюркоязычной школе 16:168-172.
БІЛОШТАН, Я.П. (Київ) :
1970: Комуністична ідейність – надійний компас літературознавця 10:133-139.
BITSKEY, I. (Debrecen):
1983: Litterature de la Renaissance á la lumiére des recherches soviétiques et hongroises 19:155-157.
BODNÁR, E. (Debrecen):
1990: Dilemmas der Entwicklung in Rußland in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die subjektiv-soziologische Methode von Michajlovskij 24:147-162.
1993: Reformbestrebungen in der russischen Regierungspolitik an der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert 26:75-84.
БОГОМОЛЕЦ, В.К. (Debrecen):
1965: М.Ю. Лермонтов в венгерском литературоведении 5:67-82.
1966: Романтический образ или образ романтика? 6:101-110.

БОРЕВ, Ю.Б. (Москва):
1986: Стилистический анализ *Медного всадника* 22:75-94.
BORÓK E. (Budapest):
1979: Die Verba des Sehens und Hörens 16:145-152.
BORSUKIEWICZ J. (Lublin):
1981: Г. Белицкий о закономерностях русского историко-литературного процесса 18 : 69-76.
CALVI, L. (Venezia):
2000: Some Remarks about Mychajlo Rosvyhuvs'kyj and His Works. About Rus' Literature in the Carpathian Area and the so-called "National" Affiliation 30:223-236.
CYMBORSKA-LEBODA M. (Lublin):
1981: De la poétique de l'espace dans la dramaturgie russe au début du XX^{e} siècle. ("Znaniéens") M. Gorki, L. Andreïev 17:127-136.
1990: Uwagi do badań nad symbolizmem rosyjskim 24:193-204.
ЧАГИШЕВА В. (Ленинград):
1965: Об одном из значений предлога *от* в русском языке 5:125-131.
CSANDA S. (Nitra):
1962: O epických textoch zbierky slovenských l'udových piesní Bélu Bartóka 2:247-256
CSAPLÁROS, I. (Budapest):
1961: *Мазурки Шопена* – рассказ Адольфа Франкенбурга 1:167-176.
1962: Gyula Sárosy – poeta węgierski doby Romantyzmu - miłosnik literatury i narodu polskiego 2:225-246.
1964: "Polak Węgier – dwa bratanki" 4:81-106.
1965: Vuk Karadžić und die ungarische Literatur 5:177-179.
1966: T.T. Jez's Novels and the Military Leader and poet, Miklós Zrínyi 6:111-125.
1971: Histoire de la Société Hongroise de Mickiewicz 11:135-152.
1984: Das Echo des Novemberaufstandes im Spiegel der damaligen öffentlichen Meinung in Ungarn 20:47-64.
1990: In memoriam Jerzy Śliziński (1920-1988) 24:253-254.
ЧАВДАРОВА Д. (Шумен):
1984: Мотив детства в раннем творчестве Достоевского 21:73-84.
CSEMICZKI-SOÓS, Á. (Budapest):
1967: К проблеме истории паннонских славян IX века (обзор) I. 7:149-167.
1969: К проблеме истории паннонских славян IX века II. Задунайская территория во время Прибины и Коцела 9:149-165.
CSEPELI, GY. (Budapest):
1984: The Social Psychology of "The Divided Self": Raskolnikov 21:113-122.
CSIRPÁK-ROZDINA, E. (Budapest):
1979: К истории текста *Египетских ночей* А.С. Пушкина 16 43-54.
CS. VARGA, I. (Debrecen-Budapest):
1979: Ласло Немет о Толстом 16:83-98.

1981: László Németh: "Die Falle" 17:137-150.
1983: Сергей Есенин (Певец родной земли) 19:97-118.
1984: Федор Достоевский и Ласло Немет 21:187-204.
1990: Сделать совесть законом, а закон совестью. Сергей Залыгин 24:245-252.
1999: Ласло Немет – "храмостроитель" 29:199-206.

DEMKO, T. (Debrecen):
1966: К венгерским переводам произведения Тургенева "Стихотворения в прозе" 6:167-172.

DEZSŐ, L. (Debrecen-Padova):
1962: О синтаксисе украинских грамот I. 2:59-84.
1963: Некоторые синтаксические вопросы машинного перевода с русского языка на венгерский 3:47-58.
1967: О синтаксисе украинских грамот II. 7:3-26.
1970: Морфология закарпатских урбариальных записей XVIII в. 10:83-98.
1973: Histoire du peuplement et histoire du dialecte 12:5-16.
1974: Синтаксис сложного предложения урбариальных записей XVIII в. 13:5-20.
1977: Исторические пласты лексики закарпатского украинского литературного языка XVI в. 14:43-60.
1979: О взглядах и стиле автора закарпатской Няговской Постиллы середины XVI в. 16:5-18.
1983: Вопросы обучения русской грамматике в свете проблематики преподавания иностранных языков в Венгрии 19:9-26.
1986: Украинское языкознание XVI-XVII вв. В.В. Німчук, Староукраїнська лексикографія в її зв'язках з російською та білоруською. Лаврентій Зизаній, Граматика словенська. Підготовка факсимільного видання та дослідження пам'ятника 22:161-163.
1990: Древнеболгарский, древнерусский и древнесербский литературный языки: проблемы их сравнительного и типологического изучения 24:9-26.

ДИМКОВ, Н. (Шумен):
1993: Георги С. Раковски и вестник "Българска дневница" 26:107-124.

ДЯЧЕНКО, О.С. (Київ):
1977: Тема дружби народів в українській літературі про Велику Вітчизняну війну 14:87-96.

DOMBROVSZKY J. (Debrecen):
1961: К вопросу о происхождении глагольных видов в славянских языках 1 : 7-30.
1962: La question d'origine des aspects verbaux slaves 2 : 25-36.
1965: Jacques Veyrenc: Les formes concurrentes du géreondif passé en russe 5:240-241.
1966: Стиль и система языка 6:149-161.

1967: Über den Ursprung und die Herausbildung des Aspekt-Tempus-Systems des slavischen Verbums 7:41-50.
1969: Le professuer André Mazon (1882-1967) 9:175-178.
1970: Langue "actuelle" et langue "inactuelle" 10:13-30.

DRAHOS, J. (Debrecen):
1962: Об образовании трех степеней наречий в современном русском языке 2:309-314.
1963: Употребление глаголов несовершенного и совершенного видов с обстоятельствами времени и образа действия 3:185-191.
1965: Употребление глаголов несовершенного и совершенного вида в инфинитиве 5:259-272.
1966: Видо-временные функции русских глаголов в изъявительном наклонении 6: 29-242.
1967: Замечания об употреблении русских глаголов несовершенного и совершенного вида с обстоятельствами времени 7:223-234.
1968: Деятельность Яноша Мелиха в области славяноведения 8:45-48.
1969/a: К вопросу "способов глагольного действия" (Aktionsarten) в русском языке 9:71-82.
1969/b: Петр Саввич Кузнецов (1899-1968) 9:179-180.
1970: О понятии и терминах способов глагольного действия 10:69-82
1971: К вопросу категории предельности/непредельности в глагольных действиях 11:31-42.
1973: К вопросу о временных значениях деепричастий 12:59-64.

ДУБИНА М.І (Київ):
1970: В.І.Ленін і питання літературної критики 10:123-131.

DUBROVSZKAJA-KIRÁLY N. (Debrecen):
1966: "Rzeczy Staropolskiego" Тадеуша Микульского 6:200-206.
1968: Труд Оскара Кольберга "Lud" и его место в польской фольклористике 8:49-59.
1969: Ossolineum 9:167-172.

ДЗЕНДЗЕЛІВСЬКИЙ Й.О. (Ужгород):
1968: Українські назви для "витоку, початку, вершини річки" 8:61-68.

ERDEI, F. (Debrecen):
1971: Русский язык и советское общество 11:183-188.
1973: D.S. Worth (ed.), Russian Derivational Dictionary 12:169-173.

ERDÉLYI, I. (Budapest) – OJTOZY ESZTER (Debrecen):
1965: Slavische Siedlungen in Ostungarn I. 5:226-229.

EKLER, A. (Debrecen):
1999: Сюжеты Марии Магдалины и их мотивы, а также их интерпретации в стихотворениях Иштвана Бака, Виктора Сосноры и Бориса Пастернака 29:207-226.

FASTING, S. (Bergen):
1979: A.P. Chekhov's Story: "The Kiss" (An analysis) 16:65-72.

FEKETE, L. (Budapest):
1968: Друг моего друга - мой друг 8:69-72.
ФЕДЧЕНКО, П.М. (Київ):
1965/a: Тарас Шевченко - великий певец дружбы народов 5:13-22.
1965/b: Акад. А.И. Белецкий (1884-1961) 5:205-207.
ФЕДОСОВ, В.А. (Владимир–Nyíregyháza):
1984: Названия головных уборов в русском и венгерском языках (О принципах сравнительно-типологического описания семантики языков) 20:27-34.
1995: Слово "слово" в русском языке 27:57-63.
1999: T. Molnár István, Звуки, фонемы, буквы 29:263-271.
2000: Некоторые основные вопросы лингвокультурологии 30: 237-243.
FERENCZY, GY. (Budapest):
1977: О роли именных конструкций в понимании русских текстов при чтении 15:11-18.
FERENCZY, I. (Debrecen):
1963: Die hussitische Überlieferung in der Volkstradition 3:115-130.
FODÓ, S. (Ungvár):
1971: С.Б. Бернштейн, В.М. Иллич-Свитыч, Г.П. Клепикова, Т.В. Усачева: Карпатский диалектологический атлас 11:193-196.
FOKOS–FUCHS, D.R. (Budapest):
1968: Ung. testvér 'Bruder od. Schwester (einer von den Geschwistern)' 8:73-77.
FONALKA, M. (Debrecen):
1990: Некоторые особенности "летописца Даниила Галицкого" 24:91-102.
1991/a: Следы половецкого эпоса в Галицкой летописи 25:107-112.
1991/b: I. Hetesi: Turgenyev. A hősök és a "randevú" az írói pálya első felében 25:284-286.
1993/a: Афоризмы в Галицко-волынской летописи 26:69-74.
1993/b: Мария Санчес Пуиг: Художественные средства на службе авторской идеи (на материале произведения А. Зиновьева "Зияющие высоты") 26:228-230
1997: Lendvai Endre: Közelkép a verbális humorról. Orosz-angol-magyar 28:245-246.
1999: С. Гурвич–Лищинер, Герцен и русская художественная культура 1860-х годов 29:274-276.
2000: Лайош Гёнц, *Венгерский язык в Югославии (в Воеводине).* Будапешт-Уйвидек, 1999, с. 288; Göncz Lajos, *A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban).* Budapest-Újvidék, 1999. 30:260-264.
FÓRIÁN, É. (Debrecen):
2000: Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения. (Под ред. Г.Н. Скляревской, Российская Академия Наук, Институт лингвистических исследований РАН. – Спб.;

Изд-во "Фолио-Пресс", 1998, ISBN 5-7827-0100-X , с. 700) 30:246-248.

FÖLDES, Cs. (Szeged):

1986: О межъязыковом сопоставлении фразеологических единиц на материале русского и венгерского языков 22:5-14.

FÖLDI, É. (Debrecen):

1981: Istota palatalizacji i faryngalizacji w języku polskim 17:59-62.

FÖLDVÁRI, S. (Eger):

1995: Старопечатные книги кириллического и глаголического шрифтов Эгерской архиепископской библиотеки 27:83-94.

1997/a: Rot Sándor – Шандор Рот (1921-1996) 28:225-226.

1997/b: Стефан Баторий и Восточная Европа его эпохи 28:227-228.

1997/c: Третий Международный Конгресс Украинистов 28:228.

FRANČIĆ, V. (Krakow):

1965: Vuk Stefanović Karanžić dans l'orbite des slavophiles polonais 5:165-176

1968: Recherches sur les noms collectifs serbocroates 8:79-84.

FRIED, I. (Budapest–Szeged):

1981: France Prešeren und die europäische Romantik 17:85-94.

1981: Romantik, serbische Volksdichtung, ungarische Literatur 18:97-104.

1983: Historizität und universales lyrisches Mitleid (Skizze) 19:51-56.

1984: Beitrag zur Frage des Klassizismus in den ostmitteleuropäischen Literaturen (Zum Charakter der Spracherneuerungen) 20:35-42.

1986: Jovan Jovanović Zmaj – unter komparativistischem Aspekt 22:133-140

FRÝDECKÝ, J. (Bratislava):

1965: Questions concerning the research into the oldest Croatian drama 5:181-185.

GAÁL B. M. (Szeged):

1983: О роли метаморфозы в рассказе Платонова "Мусорный ветер" 19:119-126.

GAÁL M.– BARÓTI T. (Szeged):

1984: К трактовке проблематики Достоевский–Гофман 21:219-228.

GEREBEN, Á. (Budapest):

1983: Functions of the Narrator in the Creator's and the Receiver's Dialogue (A Historical Outlook) 19:135-144.

1984: "Конармия" И. Бабеля в литературной критике 20-х годов 20:119-138.

1984: Почему казались гармоничным произведения Достоевского венгерскому читателю--интеллигенту начала XX века 21:247-260.

ГЛАДКИЙ А.В. (Калинин):

1981: Описание синтаксической структуры предложения с помощью систем синтаксических групп II. 17:5-38.

1981: Описание синтаксической структуры предложения с помощью систем синтаксических групп. Лингвистическая интерпретация (Предложение) 18:21-50.

ГОЛОТИНА, Г. (Debrecen):

1961: Архитектоника пьесы Бориса Романова "Воздушный пирог" 1:157-165.

1962: Инсценировка Сергеем Найденовым горьковского рассказа "Скуки ради" 2:219-224.

1963: Драматургия Сергея Найденова 900-х годов 3 : 105-114.

1965: Четыре русских перевода драмы Имре Мадача "Трагедия человека" 5:246-248.

1966: К проблеме героя в русской драматургии начала XX века 6:127-140.

GOLUB, X. (Budapest):

2000: Сочетание мотивов искусства и природы в ранних стихотворениях Осипа Мандельштама (1909-1911) 30:115-131.

GORETITY, J. (Debrecen):

1990: Роман Ф. Сологуба *Мелкий бес* как миф о пошлости 24:179-192.

1991: Антиутопия в XX-ом веке (Замятин и Оруэлл) 25:167-176.

GÖMÖRI, L.– T. MOLNÁR, I. (Nyíregyháza):

1977: Перенос в русских словах на ЭВМ 15:31-36.

ГРАЧЕВА, А. (Санкт-Петербург):

1999: От нелегальной литературы к отреченным книгам. Роман Алексея Ремизова "Пруд" 29: 171-188.

ГРИЦАЙ, М.С. (Київ):

1970: Интернациональные мотивы в украинской драматургии XVII-XVIII вв. 10 : 165-171.

ГРИГОРЯН, В.М. (Ереван):

1971: Пушкин в оценке русских поэтов конца 30-ых годов XIX века 11:47-70.

ГРИНБЕРГ, М.Ш.–УСПЕНСКИЙ Б.А. (Москва):

1990: Об отношениях Сумарокова к Ломоносову в 1740-х годах 24:113-124.

GARDE, P. (Aix-en-Provence):

1981: О трех сосуществующих морфологических системах русского языка 17:39-58.

ГУБАНОВ, А. (Чебоксары):

2000: Сопоставительное изучение семантической динамики обусловленности (на материале русского и чувашского языков) 30:27-40.

ГУРВИЧ–ЛИЩИНЕР, С. (Тель-Авив):

1999: Контакты еврейской культуры в творчестве Герцена и нити "обратной связи" 29:87-108.

GYÖRFFY, B. (Debrecen):
2000: Русская диалектология. (Под ред. В.В. Колесова, Высшая Школа, Москва, 1998, ISBN 5-06-003467-4. c. 207) 30:248-250.
HADAS, F. (Debrecen):
1962: О русско-венгерском грамматическом словаре 2:165-176.
1963/a: Э.А. Штейнфельдт: Словарь-минимум русского языка для II–IV. классов эстонских школ 3:170-172.
1963/b: Анализ уровня знаний студентов по русскому языку на первом курсе университета 3:192-204.
1968: Некоторые проблемы программированного обучения русскому языку 8:85-93.
1969: Zeitschrift für den Russischenterricht I–III. 9:189-194.
HAJNÁDY, Z. (Debrecen):
1981: О природе трагического и катарсиса эпических произведений Льва Толстого 17:111-126.
1983: Мотив "воскресения" в творчестве Льва Толстого 70-90-х годов 19:73-82.
1986: Художесвенная деталь – целостность миросозерцания 22:107-118.
1990: Старые и новые люди (Обломов и *Отцы и дети*) 24:125-146.
1991: Роман об ответственности человека (Люди избранники) 25:133-166.
1993: О литературной аргументации 26:131-142.
1995: Русская философия жизни 27:103-107.
1997: Идея русского универсализма 28:7-22.
1999/a: Пушкин – uomo universale. К вопросу imitatio и aemulatio 29:109-118.
1999/b: Ruzsa György: A régi orosz festészet kapcsolatai a kezdetektől a XVI. század végéig 29:272-273.
2000: Культура как память 30:73-92.
HAN, A. (Budapest):
1995: Проблема "реализации тропа" в статье Сергея Есенина *Ключи Марии* в свете теоретической поэтики 27:
ХАРЧУК, Р. (Київ):
1997: Ще про "дві літератури нашої доби" 28:179-184.
HAUPTOVÁ, Z. (Praha):
1961: Дебреценская рукопись церковно-славянских миней 1:85-94.
1966: Die Lautprobleme der ungarischen Lehnwörter im Slowakischen 6:3-21.
1968: Le nom de mačka 'le chat" chez les Slaves et les Hongrois 8:95-98.
HEGEDÜS L. (Debrcen):
1971: Молодежный журнал *Юность* 11:133-138.
1979: Семантическая емкость венгерского глагола "tesz" 16:23-32.
1986: Некоторые вопросы русской лексики в пособиях для венгров 22:121-130.
HELL,GY. (Budapest):
1962: О некоторых характерных чертах алгоритма машинного перевода русского языка на венгерский 2:151-164.

HENRY, P – WADDINGTON, P. (Glasgow):

1986: Turgenev in Scotland 23:111-132

HETESI I. (Pécs):

1986: Повесть Тургенева *Переписка* 23:265-276

1997: Золтан Хайнади: Культура как память. Главы из истории русской культуры 28:229-234.

HIDASI R. J. (Budapest):

1977: К вопросу о фонологических школах 15:5-10.

HIMA, G. (Debrecen):

1993: Die "reciproke" Textbeziehung zwischen Gogols Mantel und Dostojewskis *Arme Leute* (1) 26:97-106.

1997: Gogols als Vorläufer der neuen Sachlichkeit. Ein Vergleich mit Joseph Roth und Irmgard Keun 28:55-74.

1999: Kryptonymie oder Kryptomanie. Möglichkeiten einer quasi-etymologischen Beschreibung von Gogols und Dostoevskijs Erzähltexten 29:249-256

2000: Пушкин как подтекст русских оперных либретто 30:59-71.

HOPP, L. (Budapest):

1979: J. Szczepaniec: Drukarze Jego Królewskiej Mości w życiu literackim polskiego Oświecenia 16:167-

1981: Leszczyński – Session 17:205-207

1981: Sesja poświęcona Sobieskiemu 18:151-152.

1984: Literatura staropolska w kontekście europejskim (Związki i analogie). Pod red. Teresy Michałowskiej I Jana Ślaskiego. Studia porównawcze o literaturze staropolskiej (pod red. Teresy Michalowskiej i Jana Ślaskiego) 20:165-166.

1986: "Ród Sobieskich" et les traditions polono-hongroises 22:55-60.

1986: J. Czachowska: Rozwój bibliografii literackiej w Polsce 22:176-178.

1990: Sobieski i victoria wiedeńska. Pod red. Lecha Ludorowskiego 24:258-260.

HOPPÁL, M. (Budapest):

1977: Mythology as a System of Sign (Semiotic trends in Soviet comparative mythology) 14:181-196.

1984: Повествование и память (Рассказ Л.Н. Толстого в пересказе одного венгерского крестьянского сказителя) 20:151-164.

HRYCYK, K. (Lublin)

1977: Profesor Witold Doroszewski (1899-1976) 15:109-110.

HUNYADI, L. (Debrecen):

1981: Отрицание и конструкции с числительным в современном русском языке 18:51-56.

1984: (–Jagusztin, L.) Scando-Slavica 20:167-169.

1991: Конфигуративный/неконфигуративный характер русского языка: Инвариантная структура предложения 25:75-96.

1999: Quantification, Distributivity, Specificity and Prosody 29:9-22.

IGLÓI, E. (Debrecen):

1961: Древнерусский Хронограф Дебреценского университета 1:95-133.
1962: Metaphor-symbols in the old Russian Historical Tale about the "Troubled Times" 2:177-202.
1963: *Повесть временных лет* о венграх 3:83-104.
1964: Die ersten polnischen, ungarischen und russischen Berichte über die Entdeckung Amerikas 4:121-130.
1965: Auf der Spur der Ursachen "Der Zeit der Wirren" 5:155-163.
1966: Menschendarstellung der Anderen Erzählung 6:55-73.
1967: Avraamij Palícin's Selbstbildnis 7:117-128.
1968: Заметки о стиле *Сказания Авраамия Палицына* 8:99-107.
1969: Древняя русская литература в Венгрии 9:121-138.
1970: La légende de Moïse la Hongrois 10:151-164.
1977: *Путешествие из Петербурга в Москву* Радищева как первый русский реалистический роман 14:97-104.
1979: К вопросу о возникновении *Иного сказания*.16:27-34.
1981/a: Die Krisis der Providenz und die dramatische Funktion des pragmatischen Denkens in der Chronic (Временник) von Ivan Timofejev 17:71-84.
1981/b: Die Erscheinungs formen des Patriotismus in der Erzählung Avraamij Palicins 18:57-68.
1984: Вступление. 21:5-8.
1986: Slovo o pluku Igorově v první mad'arské verzi 22:33-44.
1990: Der Maitraum. Eine Statire von Marcin Bielski 24:103-112.

IMRE, L. (Debrecen):

1969: Ласло Арань и Лермонтов 9:115-120.
1971: М. Бабич и В. Брюсов 11:91-102.
1973: Мадач и Достоевский 12:65-90.
1977: *Петербург* Андрея Белого и русский символический роман 15:61-76.
1984: Русские литературные связи кружка Араня–Ченгери 20:75-104.
1991: L. Szilárd: A karneválelmélet (V. Ivanovtól M. Bahtyinig); L. Sargina: Az orosz szimbolizmus természetrajza 25:282-283.
1993: Шестов: Достоевский и Ницше 26:169-176.

JAGUSZTIN, L. (Debrecen):

1971: The Last War in Present Literature 11:103-112.
1973/a: World View and Moderness in Soviet and Other European Short Novels 12:105-122.
1973/b: Mácza János: Esztétika és forradalom (Aesthetics and Revolution) 12:184-186.
1974/a: "Arbeit" und "Kollektiv" im sowjetischen Kurzroman 13:139-146.
1974/b: *Художественное восприятие* (ред. Б.С. Мейлаха) 13:155-156.
1974/c: Ю.М. Лотман: Анализ стихотворного текста 13:156-157.
1977: Author and Message 15:77-86.
1979: Types of Conflict in Contemporary Soviet Short Novels 16:73-82.

1981/a: Idee–Information–Gattungsform in *Der weiße Dampfer*.17:191-198.
1981/b: В. Виноградов: Поэтика русской литературы 17:204-205.
1981: A Version of Mythopoetic Thinking: a Contribution (Ivanov: *Coloured Winds*) 18:137-146.
1983/a: "Экспрессема", суггестивность в советских поэмах о революции (Блок, Хлебников, Есенин) 19:127-134.
1983/b: И.Я. Чернухина: Очерк стилистики художественного текста 19:153-154.
1983/c: Е. Руднѐва: Пафос художественного произведения (Из истории проблемы) 19:157-160.
1984 a: In the Widening World of Parables of Aytmatov's Works 20:145-150.
1984/b: Идея и идеалы в Бесах Достоевского 21:153-160.
1986/a: Narration und Argumentation (B. Pilnják: *Das kahle Jahr*) 22:141-148.
1986/b: P. Henry: A Hamlet of his Time (Vsevolod Garshin, The Man, his Works and his Milieu) 22:165-167.
1986/c: Hamlet and Don Quijote as Turgenevian Archetypes 23:333-346.
1993: Эндре Иглои 70 лет 26:7-10.
1997: The Cultural Dependence of Arguments and Strategies of Argumentation 28:23-26.
1999: Das Leben als eine mehrwertige informative Daseinsform 119-132.

JÁNOSKA, S. (Debrecen):
1962: Л.А. Булаховский 1888-1961 (Хроника) 2:269-270.
1963/a: К вопросу о месте непродуктивных глаголов в современном русском языке 3:31-46.
1963/b: А.Е. Супрун: Старославянские числительные 3:165-167.
1965/a: Выдающаяся годовщина истории восточнославянской культуры 5:223-226.
1965/b: Eumen Szabó: Egyházi-szláv nyelvtan 5:239-240.
1967: Об этимологических пластах венгерского словарного состава 7:59-67.
1970: Придаточные предложения с союзными словами *кто*, *что* или *который* 10:57-68.
1971/a: Особые случаи употребления союзных слов *кто* и *что* 11:11-30.
1971/ b: Славянские числительные – Становление числительных как особой части речи 11:179-180.
1973: Синтаксическая функция формы сравнительной степени в предложениях с союзом *чем-тем* 12:43-58.

JÁSZAI, L. (Budapest):
1995: На грани словообразования и словоизменения (в связи с категорией вида) 27:27-38.

ЕЛКИН, В.Г. (Владимир):
1984: К методологии истолкования пушкинского текста (Фрагмент анализа *Капитанской дочки*) 20:43-46.

JÓNÁS, CS. E. (Nyíregyháza)

1991: Союзы как текстообразующие средства диалогической речи (Вопросы содержательно-логической интерпретации художественного перевода) 25:63-74.

ЙОВАНОВИЧ, М. (Београд):

1984: К вопросу о системе образов в *Братьях Карамазовых*. 21:25-34.

1986: Базаров и Маяковский 23:71-96.

JUHA, ENIKŐ (Debrecen):

1991: Zwígzki z kultura w biografii Cíurlíonisa 25:269-278.

1993: Próba wiznaczenie miejsca Cíurlíonisa w sztuce abstrakcyjnej 26:183-190.

КАГАН-КАНС, Э. (Bloomington):

1986: *Отцы и дети*: текст, рассказчик, читатель 23:37-52.

KÁDÁR, Z. (Debrecen):

1961: Токайский клад и его византийско-славянские связи 1:193-209.

1962/a: Б. Сёке 1913-1961 2:274-276.

1962/b: Szőke Béla: A honfoglaló és kora Árpád-kori magyarság régészeti emlékei 2:277-284.

1962/c: К. Кръстев–В. Захариев: Стара българска живопис 2:304-305.

1962/d: V. Tílkovský: Mánes 2:306-308.

1963/a: Находки славянского происхождения на новой археологической выставке венгерского Национального музея 3:156-157.

1963/b: Новейшие археологические исследования к вопросу венгерско-славянских связей X-XI. 3:161-164.

1966: Роль народных представлений в образовании "iconographia ecclesiae orientalis" 6:225-228.

1967: Примечания к книге Фр. Альтгайма *Geschichte der Hunnen* 7:214-215.

1969: Дмитрий Оболенский об историческом значении Кирилла и Мефодия в миссионировании славянства 9:195-197.

KÁLMÁN, B. (Debrecen):

1969: Collaboration russo-hongroise dans la linguísttíque finno-ougriense au cours du dix -neuvième siécle 9:83-90.

1983: W. Steinítz: Ostjakologische Arbeiten 19:149-150.

KALÓ, F. (Eger):

1986: Тургенев и Герцен 23:399-407.

KÁMÁN, E. (Budapest):

1974: Роль фольклора в преподавании русского языка как иностранного 13:53-58.

1981/a: О коллективизме. Из истории старых литературных споров революционных лет 17:151-166.

1981/b: K Kasper: Multinationale sowjetische Erzählung 1945-1975. 17:209-210.

1986: Облик Дон-Кихота в интерпретациях писателей XX века и тургеневская традиция 23:347-356.

КАПРАЛЬ, М. (Ужгород)
1999: Русинский – тринадцатый славянский литературный язык 29:257-261.
2000: Зависимость словообразовательной валентности наименований лиц от количества лексических значений 30:49-58.
KARANCSY, L. (Debrecen):
1961: К проблематике писательской манеры Достоевского 1:135-155.
1962: Csukás I.: Ady Endre a szlovák irodalomban 2:298-301.
1963: O. Sárkány: Magyar kulturális hatások Csehországban 1790-1848. 3:176-181.
1965: Lermontov und der Realismus 5:83-97.
1966: Die Funktion der Stimmungsmalerei in den Roman *Saschka Schegüljov* von Leonid Andrejew 6:75-*90*.
1967/a: Träume und Visionen in den Erzählungen von Leonid Andrejew 7:81-115.
1967/b: Harald Raab: Die Lyrik Puškins in Deutschland (1820-1870) 7:209-214.
1968: Psychologisches und Physiologisches in der Prosa von Leonid Andrejew 8:109-116.
1969: L'accueil d'Evtouchenko en Hongrie 9:91-103.
1970: Léonide Andréiev après la révolution de 1905.10:173-185.
1971/a: Léonide Andréiev après la révolution de 1905. 11:71-80.
1971/b: J.B. Woodward: Leonid Andreyev 11:201-206.
1973: Леонид Андреев о психологическом изображении 12:91-104.
1981/a: Самоанализ и психологическое изображение (К вопросу эволюции психологического метода Лермонтова) 17:95-110.
1981/b: Л.А. Иезуитова: Творчество Леонида Андреева 1892-1906. 17:202-203.
1981: Психологические мотивы в творчесве Гоголя 18:77-96.
1984: Роль рассказчика в психологической системе Достоевского 21:45-46.
1986: На начальном этапе развития психологизма (Наблюдения над художественным методом Пушкина) 22:61-74.
1986: Проблемы изучения тургеневского психологизма 23:145-152.
KARDOS, P. (Debrecen):
1962: Csukás I.: Ady Endre a szlovák irodalomban 2:298-301.
1969: L'accueil d'Evtouchenko en Hongrie 9:91-103.
КАРПЕНКО, М.А. (Київ):
1970: М. Горький и русский язык советской эпохи 10:99-108.
1977: Обобщенно-символическое слово- и фразоупотребление в горьковской речи и его резонанс в русском литературном языке 14:75-86.
KCHITSOVA, O. (Brno):
1986: Романтические поэмы И.С. Тургенева 23:213-226.
KECSKÉS, I. (New York):
2000: Second Language Acquisition Theory: How does Russian fit in? 30:15-25.

KIRÁLY, GY. (Budapest):
1984: К поэтике романа Достоевского 21:57-72.
KIRÁLY, NY. (Budapest):
1973: Культура польского Просвещения в историографии XVIII в. 12:180-181.
1974: Roman Kaleta: Oswieceni sentymentalni 13:75-100.
KISS, L. (Budapest):
1965: Die etymologischen Wörterbücher der ostslawischen Sprachen 5:103-123.
1966: Ungarisch *miskárol'* Verschneiden kastrieren' 6:23-29.
1977: Расщепление одного слова в древневенгерском языке и славянские параллели 14:61-66.
KISSNÉ KOVÁCS, K. (Debrecen):
2000: Никитина, Т.Г., *Так говорит молодежь. Словарь молодежного сленга.* По материалам 70-90-х годов. (Фолио-Пресс, Санкт-Петербург, 1998, сс. 592) 30:251-253.
KLAUDY, K. (Budapest):
1977: Альтернативы в построении учебного материала на переводческих курсах 15:19-24.
KLAUSZ I. (Budapest):
1997: Анализ стихотворения Бориса Пастернака *Наша гроза* 28:135-142.
KLAUSZER, J. (Debrecen):
1963/a: Вопросы математической лингвистики и МП на венгерских конференциях в 1962 г. 3:149-
1963/b: Der Unterricht der slawischen Sprachen in Ungarn 3:150-153.
KLUGE, R.-D. (Tübingen):
1986: Сектанство и проблема смерти в *Записках охотника* И.С. Тургенева 23:25-6-36.
KNOBLOCH, J. (Graz):
1968: Zur Entstehung der germanischen und baltoslawischen Benennung des Pfluges 8:117-120.
KOCHAŃCZYK, A. (Lublin):
1991: Triumf i klęska Witolda Gombrowicza 25:227-236.
KOMAPOB, B. (Pécs):
1993: "Недосказанность" сквозного действия в *Повестях Белкина.* 26:85-96.
1997: Восполняемая "недосказанность" пушкинской прозы на примерах *Пиковой дамы* и *Египетских ночей* 28:35-48.
KOSCHMIEDER, E. (München):
1968: Zum Verhältnis von Logik und Sprache 8:121-128.
KŐVESI, M. (Debrecen):
1962: Влияние русского языка на систему суффиксов коми-зырянского языка 2:37-46.
1965: Béla Kálmán: Die russischen Lehnwörter im Wogulischen. 5:242-246.

KOVÁCS, Á. (Budapest):
1977: Соотношение пространственно-временной и повествовательной структур в романе *Идиот* 15:37-54.
1984: Сюжетная функция "противопоставленных жестов" в романе *Бесы* 21:123-140.
1986: Искусство Тургенева: Синтез и многообразие жанровых структур 23:133-144.
KOVÁCS, CS. (Debrecen):
1981: A. Krautz: Sorbische bildende Künstler 17:208-209.
1983: I. Bartmińska–J. Bartmiński: Nazwiska obce w języku polskim 19:151-152.
1991: O konstruktywistach polskich (na tle budapeszteńskiej wystawy) 25:263-268.
1993: Udvari István: Ruszinok a XVIII. században (Ruthenen im 18. Jahrhundert) 26:233-236.
KOVÁCS, E. (Budapest):
1964: Uniwersytet Jagielloński a kultura węgierska 4:5-26.
KOVÁCS , F. (Budapest):
1968: Die Ausbildung der ungarischen juristischen Terminologie 8:129-133.
KOVÁCS, I. (Debrecen):
1962/a: Slowakische Elemente in den Ungarisch geführten Kammerbüchern von Nagyszombat (Trnava) aus dem XVI. und XVII. Jahrhundert 2:85-108.
1962/b: F. Trávníček 1883-1961. 2:271-273.
1962/c: V. Blanár: Zo slovenskej historickej lexikológie 2:293-295.
1963: Nouvelles de la vie de l'Institut 3:158-160.
1965/a: (–Sulán, B.) István Kniezsa 1898-1965. 5:189-192.
1965/b: Евгению Паулины 50 лет 5:213-215.
1965/c: (–Sulán, B.) Nouvelles de la vie de l'Institut 5:233-238.
1965/d: Slovník slovenského jazyka 5:248-252.
1967/a: Prof. Václav Vážný 1892-1966. 7:187-189.
1967/b: Anton Habovštiak: Oravské nárečia (Die Dialekte der Orava) 7:191-195.
1969: Bibliographie der Werke von Béla Sulán 9:8-13.
1971: K. Habovštiaková: Bernolákovo jazykovedné dielo 11:197-200.
KOVÁCS , M. (Debrecen):
1990: Конверзационное значение вопросительных высказываний 24:69-76.
KOVÁCS , Z. (Budapest):
1967: Hadrovics L.–Gáldi L.: Magyar-orosz szótár (Венгерско-русский словарь) 7:199-203.
KOVALOVSZKI, M. (Budapest):
1968: Die Sprache der Großstadt 8:135-138.
KRÉKITS, J. (Szeged):
1984: Die pantiven und totiven *po*-Ingressiva in der russischen Sprache 20:11-18.
КУДРЯВЦЕВА, Т.Ю. (Москва):
1995: К вопросу о просторечной и жаргонной лексике на страницах современной газеты. 27:65-71.

KUKUCSKA, Cs. (Debrecen):
1993: "Легенда о великом инквизиторе" 26:143-158.
1995: Древнерусские принципы изображения пространства у Достоевского 27:119-128.
1997: Герменевтическая модель романа-прозрения в *Братьях Карамазовых*. (Первая часть) 28:85-102.
1999: Герменевтическая модель романа-прозрения в *Братьях Карамазовых* (Вторая часть) 29:133-148.
КУЛИНИН, А.В. (Київ):
1977: К проблеме традиций и новаторства в творчестве В. Маяковского 14:131-142.
KOUPLEVSKI, M. (Rzeszów):
1986: Тургенев и народничество 23:227-246.
LAKÓ, O. (Budapest):
1968: Сравнительное изучение некоторых слов венгерского и хантыйского языков 8:139-143.
LEBLE, A. (Novisad):
1970: Prilog pitanju ekonomske baze "carstva" Zrinskih v XVI–XVII veku 10:209-226.
LENDVAI, E. (Pécs):
1997: Семантическая характеристика детского словотворчества 28:199-208.
ЛЕОНТЬЕВА, Н.Н.–НИКИТИНА С.Е. (Москва):
1969: Смысловые отношения, передаваемые русскими предлогами 9:15-63.
ЛЕПАХИН, В. (Pécs):
1999: Сретение Господне. Событие, праздник, икона, стихотворение И. Бродского 29:71-86.
ЛЭСЮВ, М. (Lublin):
1986: Антропология в *Записках охотника* Тургенева 23:247-264.
LÉVAI, B. (Debrecen):
1971: Журнал *Русская речь* 11:189-192.
1977/a: Конференция венгерских русистов в Дебрецене 15:113-117.
1977/b: Some Problems of Teaching at the University of Nebraska, Lincoln 15:118-120.
1979/a: Контрастивный семантический анализ локативных конструкций 16:19-26.
1979/b: Kontrastivna gramatika srpskohrvatskog i mađarskog jezika 16:165-166.
LIEBER, L. (Debrecen):
1974: Die künstlerische Wahrheit in Lev Tolstojs Trilogie Kindheit; Knabenjahre; Jugend 13:101-120.
1977: Die Welt der lebendig gewordenen Gegenstände in Puschkins Prosa (*Der Schuß*; *Der Postmeister*) *14*:117-130.

1977: Analyse der Erzählung von A.P. Tschechow: *Kummer* (Tragische Vernichtung der Werte) *15*:55-60.
1979: Die Ursprünglichkeit der Darstellung des Krieges in Lev Tolstojs Erzählungen von Sevastopol 16:55-64.
1984: Die Wiederholung in der Charakterdarstellung von Gogol und Čechov 20:105-118.
1986: Использование цветовых эффектов при раскрытии ценностного сознания героев Н.В. Гоголя и А.П. Чехова 22:119-132.
1991: Повествовательный аттитюд в повести Пушкина *Пиковая дама* 25:113-132.
1993: "La Société Sovietique d'aujurd' hui" La Revue Russe 1. 26:231-232.
1999: Переживание времени персонажами в пьесе Чехова *Три сестры* 29:149-170.

LIELI, P. (Debrecen):
1974: Ф.П. Филин: Происхождение русского, украинского и белорусского языков 13:147-148.
1981: Б. А. Успенский: Первая русская грамматика на родном языке 18:147-150.
1991/a: (–Pandúr, J.) К 80-летию Йожефа Домбровского 25:5-8.
1991/b: The Role of ŏ-Stems and Their Contamination with the ŭ-Stems in Codex Marianus 25:9-20.
1995: From Diglossia to bilingualism and back: Comparing the Change in linguistic situation in Russia and England 27:7-13.

ЛИ, ЫН ЯН (Seoul):
1999: Логико-лингвистический анализ смысла 'часть целого' 29:41-50.

ŁOCH, E. (Lublin):
1991: Koncepcje człowieka w prozie nowelistycznej Różewicza 25:215-226.

ЛОГИНОВСКАЯ, Е. (Bucarest):
1986: Повесть *Фауст* – опыт анализа 23:181-198.

ЛОТМАН, Ю. (Тарту):
1986: Проза Тургенева и сюжетное пространство русского романа XIX столетия 23:5-24.

LOVAS, R.T. (Budapest):
1968: Die Aufzählung im ungarischen Impressionismus 8:145-150.

LŐKÖS, I. (Eger–Debrecen):
1981: Впечатления о Венгрии в цикле *Глембаи* Мирослава Крлежи 17:167-182.
1983: Miroslav Krleža (1893-1981) 19:145-148.
1986: О восточно-среднеевропейском восприятии Тургенева 23:387-398.
1991: Krleža and Hungarian Literature 25:185-202.
1995: Bartol Kašić: Venefrida. Eine Tragödie. Text, Einleitung und Index von Darija Gabrić-Bogarić. Quellen und Beiträge zur kroatischen Kulturgeschichte. Hg von E. von Erdmann-Pandžić, Bamberg, 1991. 27:235-236.

LŐRINCZY, E.B. (Budapest):

1968: Einige Probleme der Einordnung der Dialektwörter in gemeinsame beziehunsweise besondere Wortartikel 8:151-153.

MACHEK, V. (Brno):

1968: Sl. *gospodь*, lat. ospes et lit. *viešpats* 8:155-158.

MAGNUSZEWSKI, J. (Warszawa):

1965: The Activity of the Institute of Polish Language and Culture for Foreigners at Warsaw University 5:231-233.

1968: Polonica in der sorbischen Zeitschrift "Lužičan" aus den Jahren 1860-1867. 8:159-163.

MAGYARÓDI, T. (Debrecen):

1983: Александр Блок и символистская критика 20-х годов 19:83-96.

1984: *Три речи в память Достоевского* Вл. Соловьева21:229-246.

1990: Живописные новации К. Малевича в контексте художественных и культурно-философских традиций России рубежа веков 24:163-178.

МАЙЕР, К.И. (Москва):

1986: Зоонимы как компоненты фразеологических единиц (Некоторые параллели русского, венгерского и немецкого языков) 22:15-22.

MALASH, M. (Київ):

1969: Олександр Білецький: Зібрання праць в п'яти томах. 9:199.

1969: Й-Я. Куп'янський: Літопис життя і творчості Михаила Кошобинського 9:200.

MANFRÉDI, G. (Debrecen):

1999: К интерпретации Логоса в русском религиозном мышлении и философии 29:227-242.

МАРКОВИЧ, В.М. (Ленинград):

1981: Трагическое в сюжете романа И.С. Тургенева *Накануне* 18:105-122.

1991: Z. Hajnády: Az orosz regény 25:179-281.

MARÓTI, ZS. (Budapest):

1995: Поэт-пророк и Апокалипсис (Анализ поэмы Есенина *Инония*) 27:183-187.

МАСАЛЬСКИЙ, В.И. (Київ):

1968: К вопросу об изучении особенностей художественного слова писателя 8:165-168.

1970: В. І. Ленін і слово 10:5-12.

MÁTHÉ, L. (Debrecen):

1966: Syntaktische Funktionen des altslawischen Infinitivs und Supins auf Grund des Codex Marianus 6:35-44.

MATICSÁK, S. (Debrecen):

1999: The relationship between Proper Names and Toponymus in Russian Nomenclature in Mordvinland 29:29-40.

MATYI, A. JOÓNÉ (Debrecen):

1971: L' experiénce de la deuxiéme guerre mondiale dans quelques ouvrages de I. Naguibíne 11:113-120.

1973: Размышление о поэтическом мире Нагибина 12:182-183.
1981: О некоторых особенностях рассказов Нагибина 17:183-190.
1981: Изображение пространственно-временных отношений в рассказе Ю. Нагибина *Эхо* 18:131-136.
1991: Правда жизни и правдва искусства (к анализу *Алых* парусов А. Грина) 25:177-184.
1999: Lőkös István, *A Kaptoltól a Ludovikáig* 29:277-278.
2000: Hetesi István: Művek, kapcsolódások. Puskin és Turgenyev tanulmányok (Произведения и связи. Очерки по творчеству Пушкина и Тургенева). Pécs, 1999, pp 157. 30:264-267.

MELEGA, I. (Київ):
1993: Шевченко в Угорщині 26:125-130.

МЕЛЬНИК С. (Київ):
1999/a: Ангеліна Гедеш, *Розділи з історії української літератури* 29:279-280.
1999/b: Нові книги з україністики 29:281-284.
2000: На шляху до нового українсько-угорського словника 30:244-246.

MENYHÁRT, L. (Debrecen):
1967: Slavjanskaja istoriografija (Die slawische Geschichtsschreibung) Sbor 7:217-220.
1969: Венгерская политическая общественность и Россия в 1875-1878 гг. 9:139-147.
1986/a: M. Kun: Útban az anarchia felé: Mihail Bakunyin politikai pályaképe és eszmei fejlődése az 1860-as évek közepén 22:167-168.
1986/b: Японская периодика об истории Восточной Европы 22:168-174.

MEZŐSI, M. (Budapest):
1995: A Love-Affair and Its Political Perspective; The Genre of Pushkin's Chronical Play 27:97-101.
1997: The inserted narratives in *Boris Godunov* 28:49-54.

МИХАЙЛОВ, А.И. (Санкт-Петербург):
1995: Клюев о Есенине 27:129-147.
1997: К истории одной дружбы (Н.А. Клюев и А.Н. Яр-Кравченко По материалам частного архива) 28:103-116.

MIJATEV, P. (Sofia):
1968/a: János Melich, Mitglied der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften. 8:169-170.
1968/b: Ivan Schischmanov und seine Beziehungen zu den ungarischen Gelehrten (1888-1928) 8.171-179.

MIKRUT, L. (Lublin):
1986: Григорий Данилевский и Иван Тургенев (Из истории литературных отношений) 23:357-366.
1993: Русский исторический роман второй половины XIX века (к постановке проблемы) 26:159-168.
1995: Охитничьи очерки Григория Данилевского 27:109-117.

Минц, З. (Тарту):
1986: Место "тургеневской культуры" в "картине мира" молодого Чехова 23:97-110.
Misley, P. (Debrecen–Budapest):
1965/a: Fünfzig Jahre *Osteuropa-Studien* 5:230-231.
1965/b: Einige Probleme des Programmunterrichts 5:277-280.
1966/a: Семантические разновидности некоторых терминов родства в русском и украинском языках 6:45-54.
1966/b: Й.О. Дзендзелівський: Практичний словник семантичних діалектизмів Закарпаття 6:197-198.
1966/c: Словник староукраїнської мови 6:198-200.
1971/a: Ivan Petrovič Kotljarevski (1769-1838) 11:175-178.
1971/b: Матеріали до вивчення історії української літератури 11:207-208.
1974: Роль Києво-Могилянської колегії в основленні російської літератури кінця XVII ст. 13:59-74.
Molnár, D. I. (Debrecen):
1966/a: P. Smoczyński: Slowiańskie imiona pospolite i własne z podstawowym "ch" w czesci sufiksalnej 6:206-207.
1966/b: Gertha Hüttl Worth: Foreign Words in Russian 6:207-209.
1966/c: Nowy Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego 6:209-213.
1967: Bibliografia onomastyki polskiej do roku 1959 włącznie 7:197.
1974/a: Jiři Jiráček: Интернациональные суффиксы существительных в современном русском языке 13:149-150.
1974/b: Bazyli Białokozowicz: Z dziejów wzajemnych polsko-rosyjskich związkow literackich w XIX wieku 13:151-154.
1977/a: Die Gestalt von István Báthory in der polnischen Literatur der ersten Hälfte des 20-sten Jahrhunderts. 15:87-96.
1977/b: Драма Михаила Булгакова и Я. Ивашкевича о Пушкине 14:155-166.
1979: Die ungarische Romangestalt Igor Newerly 16:127-132.
1995: J. Ślaski: Wokół literatury włoskiej, węgierskiej i polskiej w epoce renesansu; L. Hopp, J. Ślaski: A magyar-lengyel múltszemlélet előzményei; L. Hopp: Az "antemurale" és "conformitas" humanista eszméje a magyar-lengyel hagyományban 27:237-240.
Molnár, N. (Nyíregyháza):
1983: A Trilingual Cyrillic Book in Nyíregyháza 19:149.
Molnár T. I. (Debrecen):
1995: К грамматике фоносемантики в венгерском языке 27:15-25.
Мончева, Л. (Шумен):
1984: Древнерусская литература и творчество Достоевского 21:103-112.
Moór, E. (Szeged):
1962: Der Backofen und Brot bei Slawen und Ungarn 2:47-58.
Мораняк-Бамбурач, Н. (Сараево):
1995: "Грамматика памяти" и конституирование текстуального смысла 27:221-234.

МУШКЕТИК, Л. (Київ):
1995: Український матеріал в Угорському лексиконі світової літератури 27:241-244.
1997/a: Деякі лексичні питання перекладу з угорської на українську мову 28:171-178.
1997/b: Эржебет Ч. Йонаш: Венгерский Чехов (анализ переводов драм Чехова) 28:247-250.
NAGY, M. (Debrecen):
1983: Die auf den Ikonen "dargestellte" Zeit (Geschichlichkeit und Überzeitlichkeit) 19:39-50.
NAGY, L. K. (Debrecen):
1991: Burzenie literackich mitów narodowych w powieściach J. i. Szczepańskiego 25:237-344.
2000: Czytelniczy sukces polskiej martyrologicznej prozy łagrowej. Reinterpretacja intertekstualna 30:153-170.
НАНОВСКИ, Д. (Budapest):
1977: Особенности речи стиля нерусских, выступающих на русском языке 15:25-30.
NASALSKA, A. (Lublin):
1991: Stanisława Vincenza dialog z ojczyzną 25:203-214.
НЕДЗВЕЦКИЙ, В. (Москва):
1986: Конфликт И.С. Тургенева и И.А. Гончарова как историко-литературная проблема 23:315-332.
NÉMETH, E.. (Budapest):
1966: Bemerkungen zu dem letzten Werke von Béla Szöke über die archäologischen Denkmäler des Ungartums der Landnahme- und frühen Arpadenzeit (A honfoglalás- és kora Árpád-kori magyarság régészeti emlékei). Budapest, 1962. 6:215-220.
NÉMETH, GY. (Budapest):
1968: Венгерские элементы в лексике видинского говора турецкого языка 8:181-184.
NÉMETH, Z. (Nyíregyháza):
1974: Редуцированные гласные и дифтонги в ньиредьхазском (тирпацко-словацком) диалекте 13:21-26.
NIEDERHAUSER, E. (Budapest):
1962: La société russe dans la premiè re motié du XIX[e] siècle, vue par des voyageurs honogrois 2:203-218.
1964: Báthory dans l'historiographoe polonaise et hongroise 4:27-43.
1965: Ševčenko et la mouvement ukrainíen de renaissance nationale 5:39-48.
1967: Les slavophiles et les autres peuples slaves 7:137-148.
1970: La russe dans l'opinion pubíque française 1815-1848. 10:197-208.
1973: La question de l'índépendance nationale dans les mouvements de renaissance nationale chez les peuples slaves 12:149-160.
1977: Les humières en Europe Orientale et les débuts des mouvements nationaux 14:167-180.

НІКІТІНА, Ф. А. (Київ):
1970: Аналогія як систематизуючий фактор у розвитку споріднених мов 10:31-36.
NYAKAS, T. (Budapest):
1997: Борис Пастернак: Определение творчества (анализ стихотворения) 28:143-152.
OJTOZY, ESZTER (Debrecen):
1962: М.К. Каргер: Древний Киев (Критика и библиография) 2:285-287.
1971: Slawische Bücher in den Sammlungen der Universität in Debrecen bis 1850. I. Mitteilung 11:163-170.
1973: Slawische Bücher in den Sammlungen der Universität in Debrecen bis 1850. II. Mitteilung 12:161-168.
1974: Іван Панькевич: Матеріали до історії мови південно-карпатських українців 13:158-160.
1981: Украинские книги кирилловской печати XVI-XVIII вв. Каталог изданий, хранящихся в Государственной Библиотеке имени В.И. Ленина 18:152-154.
1984: И.В. Ноздеева – Н.Д. Кашкарова – М.М, Леренман: Каталог книг кириллической печати XV-XVIIвв. Научной Библиотеки Московского Университета 20:170-172.
1986: Я. Запаско – Я. Ісаєвич: Каталог стародруків, виданих на Україні. Книга перша (1574-1700) 22:175-176:
1990: (–Дзендзелевский, И.А.) Марияновчанской вариант грамматики Арсения Коцака 24:27-44.
1990: Günter Wytrzens: Die slawischen und Slavica betreffenden Drucke der Wiener Mechitaristen. Ein Beitrag zum Wiener Druck – und zur österreichischen Kulturgeschichte 24:255-257.
1993: Sindik, Nadežda M. – Grozdanović-Palić, Miroslava – Mano-Zisi, Katerina: Opis rukopisa iz starih štampanih Knjiga Biblioteke Srpske Pravoslavne Eparhije u Sentendreji 26:237-238.
OLÁH, T. (Budapest):
1981: The Dialogue as a Communicative Skill: A Contrastive Approach 17:63-70.
ONASCH, K. (Halle):
1984: F.M. Dostoevskij (Konfession. Religion, Humanität) 21:85-102.
ONDRUS, P. (Bratislava):
1966: Возникновение стеклоплавительных гут в горах Матры 6:173-179.
1968: Les formes pronominales niekol'ki (quelques) et niekol'ko (plusieurs) en slovaque 8:185-188.
ONDRUS, S. (Debrecen):
1961: Славянские этимологии 1:31-42.
ОПЕЛЬБАУМ, Е.В. (Львів):
1965: Из опыта программирования лабораторных занятий по иностранному языку в неязыковом вузе 5:273-273.

ORŁOWSKI, J. (Lublin):
1971: Ferencz Renyi – bohater zapomnianego polskiego wiersza 11:131-134.
1974: Ференц Лист в письмах А.К. Толстого 13:121-124.
1983: Mickiewicz – Daszkiewicz – Karolina Jaenisch – Pawłowa 19:63-72.
1995: *Роза Мира* Даниила Андреева и традиции русской утопической мысли 27:197-204.
ORŁOWSKA, A. (Budapest):
1997: Миф России в творчестве Михаила Хераскова (поэма *Владимир*) 28:27-34.
PAIS, D. (Budapest):
1968: Divék и аруме 8:189-194.
ПАЛАМАРЧУК, О.Л. (Київ):
1995: Відтворення української національно характеристичної лексики в інословянських художніх перекладах 27:73-78.
PANDUR, J. (Debrecen):
1962: П. Дижеков, Български фолклор 2:302-303.
1967: Българско народно творчество в дванадесет тома 7:221-222.
1971: *Известия на Этнографский Институт и Музей* VII (1964), 193-228, 233-63; VIII (1965) 31-35, 125-33. 11:208-209.
1983: Среднобългарски черти в Мариапоченския Сборник 19:5-8.
PAPP, F. (Debrecen):
1961: Трансформационный анализ русских присубстантивных конструкций с зависимой частью – существительным 1:55-83.
1962: О морфологической системе глагольных основ в современном русском литературном языке 2:127-150.
1963/a: Некоторые вопросы изучения устной и письменной разновидностей языка 3:21-30.
1963/b: A.V. Isačenko: Die russische Sprache der Gegenwart 3:168-169.
1967: О некоторых количественных характеристиках словарного состава 7:51-58.
1968: Русская орфография в венгерской школе 8:195-204.
1969: Совместные иследования в области автоматической обработки русских и венгерских текстов 9:65-69.
1970: Программа образования повелительного наклонения стандартных русских глаголов на ЭЦВМ ODRA 1013. 10:37-56.
1971/a: Конференция о славянском слове 11:171-174.
1971/b: Russian Derivational Dictionary 11:181-182.
1973/a: Окончательная редакция текстовых единиц, длиннее предложений или квази-правильность речи лиц, освоивших иностранный язык 12:27-42.
1973/b: Два аспекта анализа художественной культуры повести Ч. Айтматова *После сказки (Белый пароход)* 12:141-148.
1973/c: Edward Stankiewicz and Dean S. Worth: A Selected Bibliography of Slavic Linguistics Vol. II. 12:177-179.

1977: Некоторые количественные показатели венгерских и русских текстов на уровне фонем 14:67-74.

PARÓCZAI, J. (Nyíregyháza):

1993: Герои Чехова в зеркале их наименований 26:177-182.

PAZDRO, G. (Warszawa):

1983: Peszt a ukraińskie obrodzenie narodowe w Galicji 19:57-62.

ПЕНЧИЧ, С. (Nish):

1986: Семантические направления эпилога в романах И.С. Тургенева 23:199-212.

ПЕТРОВ, И. (Шумен):

1984: Достоевский и творчество Анны Ахматовой 21:161-170.

PILARSKÝ, J. (Debrecen):

1990: Zur Interpretation einer ungarisch-rumänisch-slawischen lautgeschichtlichten Isoglosse 24:57-68.

1991: Harmonisierungstendenzen auf der Silben-/Wortebene im Konnex der eurasichen Arealkonvergenz 25:21-42.

1993: К переходу e→o с позиций ареальной конвергенции. 26:27-32.

1995: Славянский компонент дакорумынского и вопрос о статусе т. наз. молдавского языка (лимба молдовеняскэ) 27:39-55.

1997: Der Westrand des eurasischen Sprachbundes 28:215-224.

PLISIECKI, J. (Lublin):

1991: Polski film fabularny po roku 1980. 25:255-262.

PLUCHTE, P.P. (Київ):

1965: T.G. Chevtchenko – createur de la langue littéraire ukrainienne actuelle 5:3-12.

POGÁNY, B. (Debrecen):

1995: Обучение русскому языку в Дебрецене и области Хайду-Бихар 27:79-81.

1999: Новые учебные программы по русскому языку и учебники русского языка в Венгерской Республике 29:243-248.

PORCSALMY, É. (Debrecen):

1977: I. Konferencja naucznia języka polskiego na Węgrzech 15:111-112.

1997: D. Molnár István: A magyarság a modern lengyel irodalomban 28:235-237.

ПОЗНЯК, Т. (Wroclaw):

1984: Категория "страха" и "стыда" в мировоззрении Достоевского 21:35-44.

RÁCZ, I. (Debrecen):

1964: Couches militaires issues de la paysanneire libre en Europe orientale du XV^{e} siècle au XVII^{e} 4:45-69.

REICHMANN, A. (Debrecen):

1997: Профанированные *Священные цвета. Сер(ебрян)ый голубь* Андрея Белого. 28:117-134.

REYCHMAN, J. (Warszawa):

1968: Pols. (gwar.) sichla < turec. *čygla? 8:205-208.

РОТ, А.М. (Ужгород–Budapest)
1967: К вопросу о древнейших венгерско-восточнославянских контактах 7:27-39.
1968: Древнерусские элементы в лексике венгерского языка и вопросы абсолютной хронологии некоторых фонетических изменений в восточнославянском языковом ареале 8:209-222.
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, М.В. (Ленинград):
1990: Мотив "града Китежа" в поэзии Всеволода Рождественского 24:233-244.
RYSZKIEWICZ, M. (Lublin):
2000: Świadecywo epoki. O koncepcji literatury Stefana Kisielewskiego. 30:171-192.
SALGA, A. (Debrecen):
1984: Категория залога в русском языке 20:5-10.
1986: О.П. Рассудова: Употребление видов глагола в современном русском языке 22:164-165.
1991: Notes on Sándor Bonkáló's Work of Rusyn (Ruthenian) Philology 25:51-62.
1993: A Contribution to the Passive Russian 26:33-42.
1995: Rusyn books 27:245-246.
SANKÓ, GY. (Debrecen):
1991: Игровые компоненты в языковых обучающих программах на микрокомпьютере 25:97-106.
SAWRYMOWICZ, E. (Warszawa):
1964: Kartka z dziejów przyjaźni węgiersko-polskiej 4:139-153.
SCHALLER, H. (München):
1981/a: G. Birhfellner: Glagolitische und kyrillische Handschriften in Österreich 17:199-200.
1981/b: I. Mączyński: Lexikon latino-polonicum. 17:200-201.
SCHMIDT, W. (Regensburg):
1999: Даниил Андреев (1906-1959): пути исканий 29:189-198.
SEBESTYÉN, I. (Budapest):
1968: Об одном уральском слове 8:223-225.
1979: Изображение процесса поэтического творчества в рамках видения (видение – как жанр романтического вдохновения) 16:35-42.
SEIDLER, G.L. (Lublin):
1964: Refleksje nad naszym Milenium 4:155-159.
СЕМЧИНСКИЙ, С.В. (Київ):
1970: Элементы венгерского происхождения в *Дакайском словаре* Ивана Вагилевича 10:115-121.
1977: Семантичні запозичення слов'янського походження в народних говірках східнороманських мов14:31-42.
SENGA, T. (Budapest):
1990: Ungarisch-bulgarische Beziehungen nach dem Mongolensturm 24:77-90.

SIMA, F. (Bratislava):
1968: Etymology of the Hungarian Dialectal Words dërik and dudu 8:227-230.
SIPCZY, GY. (Budapest):
1963: Вопросы программирования русских предложных оборотов 3:59-72.
SKORUPKA, S. (Warszawa):
1966: Ce que l'on enttend par idiomatisme 6:163-166.
ЭТИРОВ, П.–ХРИСТОВ, М. (София):
2000: Некоторые типологические особенности кореферентных целей в венгерском и болгарском языках 30:41-47.
SÓVÁRI, J. (Debrecen):
2000: Новые учебники по грамматике современного русского языка 30:253-260.
SÜTŐ, Á. (Debrecen):
1979: Analyse confrontantive des proverbes hongrois et russes sur le théme de l'amitíe 16:153-164.
SPRAWKA, A. (Lublin):
1993: Nowe książki Węgierskiego Instytutu Kultury 26:225-227.
STACHOWSKI, S.
1968: Die Turzismen in dem *Slavenoserbskij Leksikon* aus dem J. 1790. 8:231-236.
СТАНГЕ-ЖИРОВОВА, Н. (Bruxelles):
1993: К анализу одной бинарной модели в системе русской народной культуры 26:53-60.
STEFFEN, A. (London):
1968: Ślady toponimicznej absorpcji w nazwach ruskich gradów 9 rozdziału *De administrando imperio* 8:237-238.
1971: Greckie ślady w toponomastyce Rusi 11:43-46.
СУХАНЕК, Л. (Kraków):
1986: И. Тургенев и И. Гончаров, или о плагиате 23:305-314.
SULÁN, B. (Debrecen):
1961: Дало ли венгерское -ó славянское -ов? 1:43-54.
1962: К псевдо-турецкому этимологическому истолкованию некоторых слов чешского словаря 2:109-126.
1963/a: Zu einigen Fragen des Bilinguismus. 3:3-19.
1963/b: К семидесятилетию со дня рождения Богуслава Гавранка 3:144.
1963/c: O. Sárkány: A magyar irodalmi romantika cseh visszhangja 3:182-184.
1964: Über die ältesten ungarischen Lehnwörter des Polnischen 4:131-137.
SZABÓ, T. (Budapest):
1997: Волшебная сказка и повесть Достоевского *Хозяйка* 28:75-84.
SZEGŐ, GY. (Cluj):
1974: A Possible Relation between Old Germanic and Old Russian Folkloric Verse Metres 13:27-52.

SZELP, E. (Debrecen):
1983: Sprachliche Vergleichung der Wörter und der sprichwörtlichen Redensarten 19:35-38.
SZILÁRD, L. (Budapest):
1984: От *Бесов* к *Петербургу* 21:141-152.
SZŐKE, K. (Szeged):
1997: Стихотворения Степана Пехотного (Смена масок переводчика и поэта) 28:153-162.
ШАРГИНА, Л. (Budapest):
1986: Традиции русского романа в венгерской прозе XX века (Лев Толстой и Ласло Немет) 22:149-154.
ШАХОВА, К.А. (Київ):
1970: Угорська література на Україні 10:187-195.
1977: Йожеф Этвеш и Н.В. Гоголь (О некоторых типологически сходных чертах романа Й. Этвеша *Деревенский нотариус* и поэмы Н.В. Гоголя *Мертвые души*) 14:105-116.
SVAIGER, P. – MÁTÉ, J. (Cluj):
1971: К вопросу о структурном описании предложения в русском языке 11:5-16.
ШЛИТСКАЯ-ЯНОШКА, Н. (Debrecen):
1973: В.И. Масальский: Преподавание русского языка в школе (Принципы и методы) 12:174-176.
1974: Ритмико-метрическая структура стихотворения Я. Смелякова *Если я заболею* 13:139-146.
ШУКИН, В. (Kraków):
1986: К эволюции жанра усадебной повести в русской литературе XIX века (Тургенев и Чехов) 23:277-304.
ŚLIZIŃSKI, J. (Warszawa):
1965:/a Sześćdziesięciolecie Zdzisława Stiebera 5:207-209.
1965:/b Sześćdziesięciolecie Karola Krejćego 5:212-213.
ŠPILEVAJA-TÖRÖK, I. (Debrecen):
1963: Август Шенова (По поводу 125-летию со дня рождения) 3:154-155.
1965/a: Иван Мажуранич и хорватское возрождение 5:216-218.
1965/b: Vuk Stefanovič Karadžić 5:218-223.
ЩЕЛОКОВА, С.Ф. (Київ):
1977: К вопросу об эстетических взглядах К. Паустовского (30-е годы) 14:143-154.
TAKÁCS M., L. (Debrecen):
1984: Стихотворения Ласло Надя на украинском и русском языках (Анализ художественных переводов) 20:139-144.
1986: Последние стихотворения Миклоша Радноти и их украинские переводы 22:155-160.
1993: Памяти Якова Исааковича Штернберга (1924-1992) – In memoriam Váradi-Sternberg János 26:221-224.

ТАМБОВЦЕВА, А.Г. – ШАХНАРОВИЧ, А.М. (Москва):
1983: Словообразовательный компонент языковой способности 19:27-34.
TARDY, L. (Budapest):
1966: Le voyage de Barsky en Hongrie, en 1724. 6:181-191.
TIKOS, L. (Massachussets):
1995: Поэтический язык Есенина в языковых направлениях начала 20-х годов 27:149-159.
TÓTH, E. (Debrecen):
1965: Taras Ševčenko als Maler und Grafiker 5:61-66.
TYL, Z. – TYLOVÁ, M. (Praha):
1963: Bibliographie vybraných tištěných prací akademika B. Havránka za léta 1918-1962. 3:145-148.
UDVARI, I. (Nyíregyháza):
1990: Refleksje o języku okólnika i utworów drukowanych J. De Camel (1641-1705) 24:45-56.
1993: Карпаторуська церковна офіційна писемність у першій третині XVIII століття 26:11-26.
1997:/a Языковое отражение русинско- (карпато-украинско) венгерского сожительсва (на основе тома: *Госундрагош*) 28:185-198.
1997:/b Hollós Attila: Az orosz szókincs magyar elemei 28:242-244.
1999: Данные к этнографическому творчеству Гиадора Стрипского (1875-1946) 29:51-70.
2000: Єпископ Андрій Бачинский (1732-1772-1809) – Видатний представник русинського просвітництваю Про життя і діяльність єпископа Андрія Бачинського 30:193-221.
UZONYI, P. (Debrecen–Budapest):
1979: Zur Problematik der Lautsymbolik vom sprachgeschichtlichen Aspekt aus 16:139-144.
1984: К полному словообразовательному синтезу 20:19-26.
UJVÁRI, Z. (Debrecen):
1961: К вопросу о венгерской и словацкой "игре в мосты" 1:211-219.
1962: Ungarische Angaben über Jánošik, den Volkshelden der Slowaken 2:257-268.
1963: Une coutume des Slaves du Sud: la "dodola" 3:131-140.
1965: Über die slawischen ethnographischen Forschungen in Ungarn 5:252-257.
1967: Un masque d'animal d'rigine slave dans les coutumes populaires de la Hongrie Orientale 7:169-183.
1968: Melides ethnographische Studien 8:239-245.
1971: Les rapports slaves des coutumes populaires hongroises et l'histoire du peuplement 11:153-162.
ВАРХОЛ, Н. (Svidnik):
1986: (–Й. Вархол) Матвій Корвін та "погань-дівча" в усній народній творчості уличсько-ублянської долины 22:45-54.

1993: Дерево в народній уявірусинів східної словаччини 26:61-68.
VÉCSEI, A. (Nyíregyháza):
1979: Композиция расказов В. Шукшина 16:99-114.
VÉGVÁRI, S. (Debrecen–Pécs):
1990: Некоторые проблемы цикла рассказов И.Э. Бабеля о I-ой мировой войне *На поле чести* 24:221-232
VERČ, I. (Triest):
1984: Пильняк и Достоевский 21:171-186.
VERESS, J. (Debrecen–Budapest):
1962: Tanulmányok a magyar-orosz irodalmi kapcsolatok köréből 2:288-292.
1965: Экранизация произведений Лермонтова 5:99-102.
1966: Начало творческого пути Чехова.6:91-100.
1967: Ilja Ehrenburg erinnert sich 7:69-80.
1971: Andreï Roublev 11:81-90.
1973: Lev Tolstoj Werke in Film 12:123-140.
1977: Sowjetische "literarische" Filmtypen 15:97-108.
1979: Die Wirkung des sowjetischen Stummfilmes auf die Filmkunst der Welt 16:115-126.
VEYRENC, J. (Paris):
1965: Un probléme de formes concurrentes dans l'économie de l'aspect verbal en russe: imperfectifs premiers et imperfectifs seconds 5:133-153.
1968: Expansion syntaxique et classement des préverbes 8:245-249.
VILÁGHY, J. (Pécs):
1993: Библейские образы поздней лирики Пастернака 26:191-220.
1995: Символика лирического текста (А. Блок *Вхожу я в темные храмы*) 27:205-216.
WOLSKI, K. (Przemyśl):
1964: Vestiges des anciens rapports de population et d'économie polono-hongrois dans le bassin du San 4:71-80.
WOŹNIAKIEWICZ, M – DZIADOSZ (Lublin):
1991: Literacki renesans Tyrmanda 25:245-254.
ЗАРИЦЬКИЙ, Н.С. (Київ):
1977: Зіставне вивчення лексики інослов'янської мови в українсько-російському мовному середовищі 14:17-30.
ЗАСЛАВСКИЙ, И.Я. (Київ):
1965: О поэтическом мастерстве Лермонтова 5:23-37.
ZOGRAB, I. (Wellington):
1986: Turgenev as presented in the pages of *Grazhdanin* during F.M. Dostoyevsky's editorship (from January 1873 to April 1874). An attempt at attribution 23:153-180.
ZÖLDHELYI, ZS. (Budapest):
1966: Французский источник М. Йокаи о России 6:141-147.
1986: Кавалер де Грие русской провинции 23:53-60.

ZWOLIŃSKI, PRZ. (Warszawa):
1968: Die altpolnische Phonetik in der französischen und italienischen Grammatik des Fr. Mesgnien 8:251-254.
ЖУК, Н.И. (Київ):
1970: Тема дружбы народов в творчестве Леси Украинки 10:141-150.
ЖУРАВЛЕВ, В.К. – НЕРОЗНАКЪ, В.П. (Москва):
1981: Проблемы реконструкции прfязыкового состояния 18:5-20.
YOUNG, J. (Manchester):
2000: Dovlatov's *Sanctuary* and Pushkin 30:133-151.

Содержание

К. Адягаши – З. Хайнади: Исследования по славяноведению на страницах 30-и томов ежегодника *Славика* (1961-2000) 9

I. Kecskés: Second Language Acquisition Theory: How Does Russian Fit In? 15

А. Р. Губанов: Сопоставительное изучение семантической динамики обусловленности (на материале русского и чувашского языков) 27

П. Сотиров – М. Христов: Некоторые типологические особенности кореферентных цепей в венгерском и болгарском языках 41

М. Капраль: Зависимость словообразовательной валентности наименований лиц от количества лексических значений 49

Г. Хима: Пушкин как подтекст русских оперных либретто 59

З. Хайнади: Культура как память 73

Ж. Бенчич: Игровые аспекты русского авангарда 93

Кс. Голуб: Сочетание мотивов искусства и природы в ранних стихотворениях Осипа Мандельштама (1909-1911) 115

J. Young: Dovlatov's *Sanctuary* and Pushkin 133

L. K. Nagy: Czytelniczy sukces polskiej martyrologicznej prozy łagrowej Reinterpretacja intertekstualna 153

M. Ryszkiewicz: Świadectwo epoki O koncepcji literatury Stefana Kisielewskiego 171

І. Удварі: Єпископ Андрий Бачинский (1732–(1772–1809)) Видатний представник русинського просвітництва Про життя і діяльність єпископа Андрія Бачинського 193

L. Calvi: Some Remarks on Mychajlo Rosvyhuvs'kyj and His Works (About Rus' Literature in the Carpathian Area and the so-called "national" affiliation) 223

В. А. Федосов: Основные вопросы русской лингвокультурологии 237

С. Мельник: На шляху до нового українсько-угорського словника 244

Е. Фориан: *Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения.* Под ред. Г. Н. Скляревской. Российская Академия Наук, Институт лингвистических исследований РАН. – СПб.; Изд–во «Фолио–Пресс», 1998, 700 с.; ISBN 5–7827–0100–X 246

Б. Дёрфи: *Русская диалектология.* Под ред. В. В. Колесова Высшая школа. Москва, 1998, ISBN 5-06-003467-4. 207 с. 248

К. К. Ковач: Никитина Т. Г., *Так говорит молодёжь. Словарь молодёжного сленга. По материалам 70-90-х годов.* Фолио-пресс, Санкт-Петербург, 1998, 592 с. (издание второе, исправленное и дополненное) 251

Ю. Шовари: Новые учебники по грамматике современного русского языка 253

М. Fonalka: Лайош Гёнц: *Венгерский язык в Югославии (в Воеводине)* Будапешт – Уйвидек 1999, 288 с. Göncz Lajos: *A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban)* Budapest – Újvidék, 1999. 260

А. Й. Мати: Hetesi István: Művek, kapcsolódások. Puskin és Turgenyev tanulmányok (Произведения и связи. Очерки по творчеству Пушкина и Тургенева). Pécs, 1999, 157c. 264

Index Triginta Voluminis Annalis Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae 1961-2000 *(K. Agyagási – Cs. Kukucska)* 269

INFORMATION FOR OUR CONTRIBUTORS

Slavica is a refereed journal which provides an international forum for original papers in the field of Slavic (Russian, Polish, Ukrainian, Bulgarian, Slovakian, Czech, Serbian and Croatian) literature, philology, history and methodology. Manuscripts for publication, books for review and editorial correspondence should be sent to

Zoltán Hajnády
Editor-in-chief
Institute of Slavic Studies
Lajos Kossuth University
H-4010 Debrecen Pf.: 53.
Fax: (36) 52-412-336
E-mail: HajnadyZ@tigris.klte.hu

Manuscripts should be written in one of the Slavic languages or in English, German or French, stylistically revised by a vernacular instructor with a signed statement of the author about it. Manuscripts will be reviewed by the board of editors for publication and also sent to two outside reviewers according to the special field of the paper. A copy of the publishing agreement will be sent to the authors of papers accepted by two reviewers and the board of editors for publication. Manuscripts will be printed only after receiving the signed copy of the agreement.

Manuscript form: Final copies should be submitted on A4 size paper, with the page setup (top: 2.3; bottom: 8.3; left: 2.8; right: 5; gutter: 0.5; header; 1.25; footer: 7.5 cm), printed on one side only and with a single pagination on each side. They should be submitted in two copies and also on a small (3.5) floppy disk in Word for Windows '95, 6.0. Manuscripts should be printed with large characters (11 points). Papers not solicited for will be returned.

Text: The total length of the text (including references, possible illustrations, tables, etc.) should not exceed 15 typewritten pages. The first page should contain the title of the paper, the author's name and affiliation (city, state, institute) and the abstract.

Abstract: Manuscripts of articles should be accompanied by an abstract of about 15 lines written in English summarizing the conceptual content and the new results of the article.

Key-words: The authors are kindly asked for 6 to 8 key-words (also in English) added to their articles before the references.

Footnotes: All footnotes must be placed on the same page as the text and numbered continuously with Arabic numerals.

References: Full citation of literature referred to should be given in an alphabetically arranged list at the end of the article under the heading: References/Литература. Use the same character size for references as for the text. In the references use full names of journals. In the text they should be cited by the names of the authors and the year of publication. In case of publications of the same year use letters.

Reference to books:

В. Розанов, *Мысли о литературе.* Москва, 1989, 501.

Reference to articles published in books:
С. Шварцбанд, *О поэтических "динамических структурах" («Пророк» и «Когда за городом задумчив я брожу...»).* In: Пушкинский сборник. Вып. 1, Иерусалим, 1997, 95-96.
Reference to articles in journals:
В.Л. Лекторский, *Идеалы и реальность гуманизма.* Вопросы философии, 1992, вып. 6, 166--994.
or: P. Király, *Die slawischen Mundarten in Ungarn und die ungarländischen Druckwerke in slawischen Sprachen.* Studia Slavica 19, 1973, 148-164.
Transcription: The authors should use the International Slavic Transliteration (IST). Please try to avoid using characters that are not found in Windows '95 Times New Roman CE, Times New Roman Cyr or Old Church Slavonic fonts. If using special fonts is unavoidable, please enclose a floppy disk containing the necessary fonts.
Proofs: The author will receive the first proof. Please read it carefully and return it by air mail to the editor within one week.
Offprints: Authors will receive 10 bound offprints.
Address of the author: We publish the mailing and also e-mailing address of the authors as they are given in the publishing agreement.

PAPP FERENC AKADÉMIKUS
70. SZÜLETÉSNAPJÁRA

Barátok, pályatársak, tanítványok
tanulmányai, visszaemlékezései

Készült a Debreceni Egyetem BTK Orosz Nyelvészeti Tanszékén
Szerkesztette: T. Molnár István és Klaudy Kinga
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000
Terjedelem: 360 lap

A kötet szerzői:

A. Molnár Ferenc, Bakonyi István, Barota Mária, Bársony Olga, Bibok Károly, Cs. Jónás Erzsébet, Dezső László, Drahos József, É. Kiss Katalin, Fedoszov Viktor Alekszandrovics, Fenyvesi István, Gósy Mária, Hajnády Zoltán, Hell György, Hidasi Judit, Hoffmann István, Hollósy Béla, Hunyadi László, Jagusztin László, Jánoska Sándor, Jászay László, Káprály Mihály, Kertész András, Klaudy Kinga, Kontra Miklós, Kornyáné Szoboszlay Ágnes, Korponay Béla, Krékits József, Kugler Katalin, Laczik Mária, Lendvai Endre, Lengyel Zsolt, Lepahin Valerij, Lévai Béla, Menyhárt Krisztina, Mihalovics Árpád, Miklódy Éva, Navracsics Judit, Németh Lenke, P. Csige Katalin, Pacsai Imre, Pete István, Péter Mihály, Pogány Béla, Prószéky Gábor, Répási Györgyné, Szerencsi Katalin, Székely Gábor, Szépe György, T. Molnár István, Tatár Béla, Tóth József, Tóth László, Udvari István, Uzonyi Pál, Végvári Valentyina, Virágos Zsolt, Zsigmond Anikó.

Megrendelhető az alábbi címen, telefonon vagy e-mail-en:

Sziget Egyetemi Könyvesbolt
H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Telefon: (52) 316–428
E-mail: sziget@tigris.klte.hu

A kötet ára: 1120 Ft